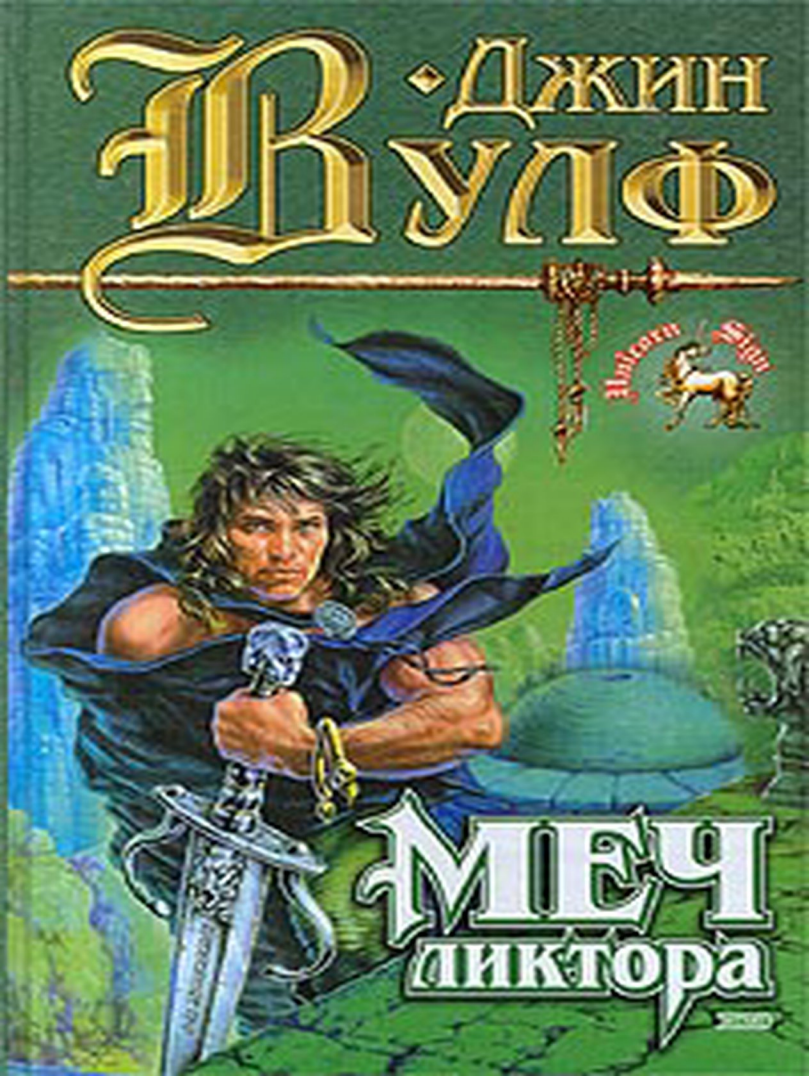
Джин Вулф



Меч диктора

Меч ликтора

Джин Вулф

Аннотация
1. ХОЗЯИН ДОМА ЦЕПЕЙ
2. НАД ВОДОПАДОМ
3. У ЛАЧУГИ НИЩЕГО
4. В БАШНЕ ВИНКУЛЫ
5. КИРИАКА
6. БИБЛИОТЕКА ЦИТАДЕЛИ
7. СОБЛАЗНЫ
8. НА СКАЛЕ
9. САЛАМАНДРА
10. СВИНЕЦ
11. ДЕСНИЦА ПРОШЛОГО
12. ВНИЗ ПО ВОДОСТОКУ
13. В ГОРАХ
14. В ДОМЕ ВДОВЫ
15. ОН НАСТИГ ТЕБЯ!
16. АЛЬЗАБО
17. МЕЧ ЛИКТОРА
18. ДВА СЕВЕРЬЯНА
19. СКАЗКА О МАЛЬЧИКЕ ПО ПРОЗВИЩУ ЛЯГУШОНОК
Часть первая. Юное Лето и ее сын

Часть вторая. Лягушонок находит новую мать
Часть третья. Золото Черного Убийцы
Часть четвертая. Рыбкина борозда
20. КОЛДОВСКОЙ КРУГ
21. ПОЕДИНОК МАГОВ
22. У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ
23. ПРОКЛЯТЫЙ ГОРОД
24. ТРУП
25. ТИФОН И ПЬЯТОН
26. ОЧИ МИРА
27. НА ГОРНЫХ ТРОПАХ
28. УЖИН У СТАРЕЙШИНЫ
29. ЛОДКА СТАРЕЙШИНЫ
30. НАТРИЙ
31. ОЗЕРНЫЕ ЛЮДИ
32. НА ПУТИ К ЗАМКУ
33. ОССИПАГО, БАРБАТУС И ФАМУЛИМУС
34. МАСКИ
35. СИГНАЛ
36. БОЙ ВО ДВОРЕ ЗАМКА
37. «ТЕРМИНУС ЭСТ»
38. КОГОТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАМЕТКА О ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Аннотация

Как утверждает Джин Вулф, рукопись этой книги неведомым образом попала к нему из далекого будущего, и он — не автор ее, а лишь переводчик. Читателю, в чьих руках она окажется, предоставляется уникальная возможность пройти бок о бок с ее главным героем трудный и опасный путь, пережив неповторимые приключения. Здесь Северьян, бывший подмастерье гильдии палачей, странствует во времени и пространстве. Среди петляющих улочек Тракса, на горных тропах или в самом пеклебоя будьте внимательны — ведь любая, с первого взгляда незначительная деталь может послужить ключом к разгадке одной из тайн, что разбросаны по всему тексту. И когда ваши дороги наконец разойдутся, вы еще долго будете глядеть вслед удаляющейся фигуре, гадая, тот ли это Северьян, что казался такимзнакомым вам и самому себе…

1. ХОЗЯИН ДОМА ЦЕПЕЙ

— Я едва сдерживалась, Северьян, — вздохнула Доркас и встала под струи воды в каменной парной, — на мужской половине, наверное, есть такая же; впрочем, я не знаю. И всякий раз, стоило мне шагнуть наружу, я слышала, что они обо мне говорят. Называют тебя гнусным мясником — я даже повторять не хочу, как еще.

— Ничего удивительного, — ответил я. — В городе целый месяц не было ни одного приезжего, ты первая; пошли толки — этого и следовало ожидать. Кое-кому из женщин известно, кто ты такая, и они будут только рады посудачить и рассказать пару баек. Сам я давно привык, а ты по дороге сюда наверняка не раз слышала, как меня величают; я, во всяком случае, слышал.

— Ты прав, — призналась она и уселась на внутренний выступ бойницы. Внизу простирался город, и огни многочисленных лавочек и мастерских уже заливали Ацисову долину желтым, как лепестки нарцисса, светом; однако Доркас, казалось, ничего этого не замечала.

— Теперь ты понимаешь, почему устав гильдии

запрещает мне жениться, но я уже повторял тебе множество раз, что готов нарушить его ради тебя — только пожелай.

— Иными словами, мне было бы лучше жить где-нибудь в Другом месте, а сюда приходить только раз или два в неделю. Или ждать, пока ты сам ко мне наведаешься.

— Именно так все обычно и устраиваются. Рано или поздно тем женщинам, которые сегодня распускали о нас сплетни, станет ясно, что их сыновья, мужья или они сами в один прекрасный день могут оказаться в моей власти.

— Но ведь дело совсем не в этом, неужели ты не понимаешь? Дело в том, что… — Доркас осеклась и, поскольку я тоже молчал, вскочила и принялась мерить шагами комнату, скрестив на груди руки. Я никогда не видел ее такой и почувствовал раздражение.

— Так в чем же? — спросил я.

— Прежде это действительно были сплетни. А теперь — правда.

— Я упражнялся в своем искусстве всякий раз, как находилась работа. Нанимался в городские и сельские органы правосудия. Несколько раз ты наблюдала за мной из окна — никогда не любила стоять в толпе, хотя я и не вправе упрекать тебя

в этом.

— Я не наблюдала.

— Но я помню, что видел тебя.

— Я не смотрела. В тот момент, когда все свершалось, я не смотрела. Ты бывал так поглощен своим занятием, что не мог видеть, отходила ли я от окна или закрывала глаза. Когда ты первым вспрыгивал на эшафот — вот тогда я действительно смотрела и махала тебе рукой. Ты был таким гордым, стоял прямой, как твой меч, — ты был очень хорош. Ты был честен. Помню, как однажды рядом с тобой стояли какой-то судейский служащий, иеромонах и осужденный; и только у тебя было честное лицо.

— Ты не могла его видеть. Я наверняка был в маске.

— Северьян, мне не обязательно было видеть его. Я ведь так хорошо его знаю.

— Разве я с тех пор изменился?

— Нет, — неохотно ответила она. — Но я побывала в подземелье. Видела в галереях людей, закованных в цепи. И сегодня вечером, когда мы уляжемся спать в нашу мягкую постель, они будут там, внизу, под нами. Сколько, говоришь, их было, когда ты водил меня туда?

— Около тысячи шестисот. Неужели ты ис-

кренне веришь, что эти шестнадцать сотен гуляли бы на свободе, если бы меня здесь не было? Вспомни, когда мы сюда прибыли, они уже сидели там.

Доркас избегала моего взгляда.

— Это похоже на общую могилу, — пробормотала она. Я заметил, что плечи ее дрожат.

— Так и есть, — сказал я. — Архон мог бы выпустить их, но кто воскресит тех, кого они погубили? Ты, верно, никогда никого не теряла? Она не ответила.

— Спроси жен, матерей, сестер тех людей, кого наши теперешние узники отправили гнить на кладбище, следует ли Абдиесу их отпустить?

— Я могу спросить только саму себя, — сказала Доркас и задула свечу.

Тракс кривым кинжалом вонзается в самое сердце горной страны. Он лежит в тесном ущелье, что занимает Ацисова долина, и простирается до самого Замка Копья. Арена, пантеон и прочие общественные постройки занимают всю ровную местность между замком и крепостной стеной (называемой Капулюс), замыкающей узкую часть долины. Жилые дома города облепили крутые горные склоны по обе стороны, многие просто высечены в скалах, за что Тракс получил одно из

своих прозвищ: Град Без Окон.

Благополучием своим он обязан тому, что расположен в верховье судоходной части реки. В Тракс все товары, направляемые на север от Ациса (причем немалая их часть уже преодолела девять десятых Гьолла, прежде чем достичь устья речушки, из которой Гьолл скорее всего и берет начало), должны быть выгружены; дальнейшее путешествие, если таковое необходимо, им предстоит проделать на спинах вьючных животных. И наоборот, если вожди горных племен и местные землевладельцы пожелают отправить зерно и шерсть на юг, им придется свезти свой товар в Тракс и погрузить на корабль, потому что выше по течению река с ревом ударяется в выгнутый гребень склона, увенчанного Замком Копья.

Отправление правосудия заботило местного архона более других дел, что, вероятно, типично для районов, где сильная городская власть навязывает свои законы окрестным землям. Чтобы утвердить свою волю над теми, кто находился вне городских укреплений и мог ей воспротивиться, в его распоряжении было семь эскадронов димархиев, каждый — под предводительством особого командира. Суд созывался ежемесячно, в новолуние, и распускался, когда луна достигала

полного диска. Заседания открывались со второй утренней стражей и заканчивали работу лишь после того, как все намеченные на день процессы бывали рассмотрены. Мне как главному исполнителю приговоров архона предписывалось посещать эти заседания, дабы он мог быть уверен, что установленные им наказания не будут ни смягчены, ни усугублены по воле тех, кому в противном случае поручалось бы передавать их мне; кроме того, я должен был присматривать за всей, до последней мелочи, внутренней жизнью Винкулы, где содержались узники. Возложенная на меня ответственность в некоторой степени сопоставима с той, что в нашей Цитадели приходится нести мастеру Гурло, и в первые недели моего пребывания в Траксе она чрезвычайно тяготила меня.

Мастер Гурло любил повторять, что идеальных по расположению тюрем не существует. Подобно большинству мудрых мыслей, изреченных в назидание юношеству, эта сентенция столь же неоспорима, сколь и бесполезна. Все побеги можно свести лишь к трем разновидностям: украдкой, с применением насилия или же благодаря подкупу охранников. Удаленное расположение тюрем серьезно затрудняет побег украдкой и по этой

причине представляется предпочтительным тем, кто долго размышлял над данным вопросом.

Сколь ни прискорбно, пустыни, вершины гор и отдаленные острова особенно благоприятствуют насильственному побегу — если товарищи узников затеют осаду, то получить своевременное известие об их предприятии довольно трудно, всякая же попытка усилить тюремные гарнизоны почти неосуществима; буде же узники поднимут бунт, возможность подвести войска прежде, чем исход дела решится, весьма сомнительна.

Густонаселенная и надежно охраняемая местность служит для крепости хорошей защитой от подобных осложнений, однако здесь возникает иная, возможно, еще более серьезная опасность. Узнику уже не требуются сотни товарищей — достаточно одного или двух; и это не должны быть непременно воины — справится даже уборщица или уличный торговец, достало бы только ума и решимости. И далее: стоит узнику покинуть стены тюрьмы, он немедленно смешивается с безликой толпой, и его поимка становится делом уже не охотников с собаками, но сыщиков и осведомителей.

В нашем случае и думать было нельзя строить тюрьму особняком, в удалении от города. Даже ес-

ли приставить к ней достаточно войска, помимо собственно охраны, для отражения атак автохтонов, зоантропов и культелариев, что рыщут за городской чертой, не говоря уж о вооруженных свитах мелких экзультантов (которым никогда нельзя доверять), и тогда было бы невозможно обеспечивать безопасность караванов с провиантом, не прибегая к помощи армии. Посему Винкула Тракса по необходимости расположена в черте города, а именно — посередине его западной горной стены, в полулиге от Капулюса.

Она построена в духе древних времен, и я всегда полагал, что ее первоначальный замысел отвечал нынешнему содержанию; однако существует легенда, согласно которой здесь когда-то была гробница, и лишь несколько веков назад она была расширена и перестроена в соответствии со своим новым назначением. Наблюдателю, расположившемуся на более просторном, восточном, валу, она кажется выступающей из скалы четырехгранной башней в четыре этажа с плоской зубчатой крышей, упирающейся в стену горы. Эта доступная взору часть сооружения, которую многие иноземцы принимают за целое, на деле есть ничтожная и по величине, и по значению доля. В бытность мою ликтором в ней размеща-

лись только хозяйственные службы, казармы стражников и мое жилище.

Узников помещали в выдолбленную в скале наклонную шахту. Содержали их не в отдельных отсеках, подобных тем, что ждали наших клиентов в подземелье на моей родине, и не в общей камере, в какую я сам был заключен в Обители Абсолюта. Здесь узникам надевали толстые железные ошейники и приковывали цепями вдоль стен шахты таким образом, чтобы по центру оставалось достаточное пространство и двое стражников могли разойтись, не опасаясь, что у них выхватят ключи.

Шахта тянулась примерно на пятьсот шагов в длину и могла вместить более тысячи узников. Вода подавалась из резервуара, выдолбленного в камне на вершине скалы, а нечистоты удалялись путем опорожнения того же резервуара, когда количество воды в нем становилось угрожающим. Труба, пробитая в нижней оконечности шахты, доставляла сточные воды в канал у подножия скалы, который сквозь отверстие в Капулюсе выносил их в Ацис далеко за городом.

Примыкающая к скале четырехгранная башня и сама шахта, должно быть, и составляли первоначальную основу Винкулы. Впоследствии ее

структура была дополнена хитроумной сетью переплетающихся галерей и параллельных шахт, появившихся в результате безуспешных попыток освободить узников через ходы, прорытые из жилых домов на склоне горы, которые были соединены со встречными туннелями, пробитыми для предотвращения подобных авантюр; ныне все они приспособлены для размещения наших постояльцев.

Наличие этих ответвлений, плохо спланированных, а зачастую и вовсе не имевших никакого плана, доставляло мне лишнюю головную боль, поэтому в числе первых моих предприятий было уничтожение лишних и бесполезных проходов, для чего их засыпали смесью речного камня, песка, воды, извести и гравия, что вкупе с расширением и соединением оставшихся переходов обещало придать структуре определенную целесообразность. Однако, несмотря на необходимость таких работ, продвигались они крайне медленно, поскольку к ним могло быть единовременно привлечено лишь несколько сотен узников, которые к тому же по большей части были больны и немощны.

Когда мы с Доркас прибыли в Тракс, первые несколько недель работа поглощала все мое

время без остатка. Доркас обследовала город, что было важно для нас обоих, я же со своей стороны настоятельно просил ее собрать сведения о Пелеринах. Весь долгий путь из Нессуса меня угнетала мысль, что Коготь Миротворца до сих пор находится при мне. Теперь же, когда путешествие было окончено, он сделался бременем почти невыносимым, ибо я мог оставить попытки отыскать следы Пелерин по пути, более не надеясь, что следую направлению, которое может привести меня к ним. Если ночь застигала нас в дороге и звезды сияли над моей головой, я прятал камень за голенище сапога, когда же выпадала редкая удача заночевать под крышей, засовывал его в носок. Теперь я обнаружил, что вовсе не могу без него спать: всякий раз, просыпаясь среди ночи, я должен был удостовериться, что он все еще со мной. Доркас сшила из оленьей кожи мешочек, чтобы я мог хранить в нем камень, и я носил его на шее день и ночь. В те первые недели я много раз видел во сне этот камень, зависший надо мной и объятый пламенем, подобно храму, из которого был взят, и, пробудившись, находил его свечение столь ярким, что оно легким ореолом пробивалось сквозь тонкую кожу. Каждую ночь я раз или два просыпался, лежа на спине с

мешочком на груди, и он казался таким тяжелым (хотя я по-прежнему мог без усилий поднять его одной рукою), что я боялся быть раздавленным насмерть.

Доркас помогала мне чем могла и по мере сил утешала меня; и все же я видел, что резкая перемена в наших отношениях от нее не укрылась и причиняла ей беспокойство куда более сильное, нежели мне. Как подсказывает мне опыт, подобные перемены всегда неприятны — уже хотя бы потому, что таят в себе вероятность дальнейших перемен. Во время совместного путешествия (а скитались мы, то поспешая, то позволяя себе отдых, с того самого дня в Саду Непробудного Сна, когда Доркас помогла мне, нахлебавшемуся воды и полумертвому, выкарабкаться на поросшую осокой плавучую тропинку) мы были равноправными товарищами и лигу за лигой преодолевали пешком или каждый в своем седле. Пусть мои мускулы служили порой защитой для Доркас, зато у нее я всегда находил моральную поддержку, ибо лишь немногие могли долго оставаться беспристрастными к ее непорочной красоте или пребывать в страхе перед моим родом занятий — ведь, глядя на меня, нельзя было не видеть также и ее. Она была моей советчицей в беде и

товарищем в бесприютной пустыне.

Когда же мы наконец достигли Тракса и я вручил архону письмо мастера Палаэмона, всему этому настал неминуемый конец. Мне, облаченному в свои угольно-черные одеяния, толпа уже была не страшна — это я был страшен ей, я, верховное лицо самой грозной ветви государственной власти. Теперь Доркас жила в Винкуле, в выделенных мне покоях, не как равная, но, по выражению Кумена, в качестве любовницы. Ее советы уже не могли быть мне полезны — по крайней мере, большинство их, — поскольку затруднения, столь угнетавшие меня, были связаны с законами и управлением, в коей стихии я за многие годы привык сражаться и о которой она не имела представления; более того, у меня почти не оставалось ни времени, ни сил разъяснять ей мои трудности, чтобы мы могли поговорить по душам.

И вот, пока я выстаивал при дворе архона одно присутствие за другим, Доркас привыкла бродить по городу, и мы, всю вторую половину весны не разлучавшиеся ни на миг, с наступлением лета едва виделись: делили вечернюю трапезу и, утомленные, забирались в постель, чтобы тут же уснуть в объятиях друг друга.

Наконец воссияла полная луна. С какой радостью я смотрел на нее с верхушки башни — зеленую, как изумруд, в обрамлении лесов, и круглую, точно ободок чашки! Я еще не был свободен, поскольку мелкие хозяйственные и следственные дела, накопившиеся за время заседаний у архона, еще ждали моих распоряжений; но теперь я наконец-то мог посвятить им себя всецело, что было равнозначно обретению свободы. На следующий же день я пригласил Доркас с собой на обход подземелий Винкулы.

Я допустил ошибку. Смрад и страдания узников довели ее до дурноты. Вечером того же дня, о чем я уже упоминал, она пошла в общественные бани (неожиданный с ее стороны поступок: ведь она так боялась воды, что мылась всегда частями, окуная губку в миску, где воды было не больше, чем супа в тарелке), желая избавиться от пропитавшего кожу и волосы запаха шахты. Там она и услыхала, как служительницы судачат о ней.

2. НАД ВОДОПАДОМ

Наутро, прежде чем покинуть башню, Доркас обрезала волосы, да так коротко, что теперь напоминала мальчишку; в кольцо, которым они прежде были схвачены, она вдела белый пион. Я же до наступления дня разбирал бумаги, а потом, позаимствовав у начальника стражи плащ, какой носят горожане, вышел в надежде на случайную встречу с ней.

В коричневой книге, с которой я не расстаюсь, говорится, что нет ощущения более необычного, чем то, которое испытываешь, бродя по городу, не похожему ни на один из виденных ранее, — ибо это означает открывать в собственной душе новые, неожиданные закоулки. Мне, однако, довелось изведать нечто еще более странное: я бродил по городу, в котором уже прожил некоторое время, так и не узнав о нем ничего.

Я не имел представления, где находятся бани, о которых говорила Доркас, хотя из слышанных мельком разговоров в суде подозревал, что они действительно существуют. Не знал я, и где находится базар, куда она ходила покупать наряды

и косметические средства; к тому же базаров в городе могло быть и несколько. Короче говоря, Тракс оставался мне совершенно неизвестным — я знал лишь панораму, открывавшуюся из бойницы, да несколько улиц, ведущих от Винкулы к палатам архона. Возможно, я был излишне самоуверен, полагая, что не потеряюсь в городе, столь уступающем Нессусу размерами; тем не менее, шагая по извилистым улицам, в беспорядке разбегавшимся по склону горы и нелепо плутающим между домами-пещерами и домами — ласточкиными гнездами, я то и дело поглядывал, виден ли еще знакомый четырехгранник с крепостными воротами и черной хоругвью.

В Нессусе богачи живут в северной части города, где воды Гьолла чище, а бедняки — в южной, где река уже сильно засорена. Здесь, в Тракс, этого обычая больше не придерживались: бег Ациса так стремителен, что экскременты, сбрасывавшиеся выше по течению (где не набралось бы и тысячной доли жителей, населяющих северную оконечность Гьолла), не наносили реке ощутимого вреда; кроме того, для богатых домов и городских фонтанов воду забирали над порогом и доставляли по специальным каналам, так что река сама по себе не имела особого значения;

исключение составляли производственные цехи и общественные бани, где требовалось большое количество воды.

В Тракссе, таким образом, о состоятельности горожанина можно было судить по расположению его жилища — у подножия горы или на ее вершине. Самые богатые селились у ее основания, поближе к реке, откуда до торговых рядов и присутственных учреждений было рукой подать, а небольшая аллея вела прямо на набережную, где они могли нанять каик, и рабы возили их на прогулку вдоль города. Те, у кого денег было поменьше, строили дома повыше; жители среднего достатка — еще выше, и так далее, до самых крепостных стен на вершине горы, где лепились лачуги самых последних бедняков — зачастую просто логова из глины и соломы, забраться в которые можно было лишь по длинной приставной лестнице.

Я намеревался в свое время осмотреть и эти убогие хибары, но в этот раз решил не удаляться от реки и пройти по торговым кварталам. На их узких улочках царила такая толчея, что мне показалось, будто в городе праздник, или же война, представлявшаяся мне в Нессусе такой далекой, но ощущавшаяся тем живее, чем дальше мы с

Доркас продвигались на север, пригнала сюда потоки беженцев.

Нессус так огромен, что о нем говорят, будто на одного жителя там приходится по пять зданий. О Тракссе, несомненно, можно сказать обратное, и в тот день мне порой думалось, что под каждой крышей обитает человек пятьдесят. Нессус к тому же — город-космополит, но, хотя иноземцы на его улицах встречаются на каждом шагу, попадаются даже прибывшие из иных миров какогены, для коренных жителей они именно иноземцы, далеко оторвавшиеся от родных краев. Здесь же улицы пестрели выходцами из самых разнообразных народов, но это говорило лишь о разнообразии населявших горы племен. Когда я, к примеру, видел человека в шапке из птичьего оперения со свисающими на уши крыльями, или же прохожего, одетого в косматую шкуру, или вдруг мужчину с татуировкой на лице, я мог не сомневаться, что, завернув за угол, столкнусь с сотней таких же дикарей.

Эти люди были эклектики, потомки южных переселенцев, перемешавшихся с коренастыми темнокожими автохтонами и отчасти воспринявших их уклад, к которому добавились обычаи амфитрионов, обитавших еще дальше на север,

и иных, еще менее известных народов, кочевых торговцев и мелких племен.

Многие эклектики питают пристрастие к изогнутым кинжалам, или, как здесь иногда говорят, «свернутым набок»: клинок состоит из двух относительно прямых лезвий и резко уходит вбок у самого острия. Считается, что кинжал такой формы легко прокалывает сердце, если вонзить его под грудную кость; лезвия скреплены посередине осью и заточены с обеих сторон чрезвычайно остро. Рукоять, как правило, костяная, ножен нет вовсе. (Я так подробно описываю эти кинжалы потому, что они составляют, пожалуй, самую характерную особенность здешних мест, к тому же именно им Тракс обязан другим своим прозвищем: Город Кривых Кинжалов. Общие очертания города также напоминают лезвие подобного кинжала: изгиб ущелья словно повторяет изгиб клинка, река Ацис осью прорезает Тракс посередине, а Капулюс играет роль основания рукояти.)

Один из смотрителей Медвежьей Башни сказал мне как-то, что если скрестить боевого пса с волчицей, то получится опасный, свирепый и непокорный зверь, равного которому не сыскать. Мы привыкли считать лесных и горных зверей

дикими и, как о дикарях, думать о людях, едва оторвавшихся от земли и пришедших в города. На самом же деле некоторых домашних животных отличает еще более лютая злоба — как было бы для нас очевидно, не будь мы столь привычны к ней, — и это несмотря на то что они прекрасно понимают человеческую речь и порой сами способны воспроизводить отдельные слова; так же и в душах мужчин и женщин, чьи предки жили в больших и малых городах еще на заре человечества, гнездится еще худшая скверна. Водалус, в чьих жилах текла чистая кровь тысяч экзультантов — экзархов, этнархов и старейшин, — был способен на жестокость, немыслимую у автохтонов, заполонивших улицы Тракса и не знавших иной одежды, кроме гуанаковых плащей.

Подобно псам, рожденным волчицей (видеть которых мне не приходилось, поскольку они слишком злобны, а потому бесполезны), эти эклектики в результате столь разнокровного родства наследовали исключительную жестокость и необузданность: они становились либо угрюмыми, вероломными и вздорными союзниками, либо свирепыми, хитрыми и мстительными врагами. Во всяком случае, именно так мои подчиненные в Винкуле расписывали мне эк-

лектиков, а ведь последние составляли более половины наших узников.

Ни разу не случалось, чтобы я, встретив мужчину, чья Речь, платье или обычай выдавали в нем иноземца, не задумывался о том, каковы должны быть женщины его народа. Родство всегда существует, поскольку их взрастила единая культура, как дерево едино для листьев, доступных взору, и плодов, спрятанных в его листве. Однако наблюдатель, осмеливающийся предсказывать наружность и вкус плодов на том лишь основании, что видел (на расстоянии) несколько покрытых листьями веток, должен многое знать и о листьях, и о плодах, если не хочет сделаться посмешищем.

Воинственных мужчин порой рождают слабые женщины, но у них могут быть сестры, готовые сравняться с ними в силе и превосходящие их по твердости характера. И вот я, пробиваясь сквозь толпу, в которой почти не замечал иных людей, кроме эклектиков и траксийцев (не сильно, по моему мнению, отличавшихся от жителей Нессуса, разве только меньшей изысканностью манер и одежды), поймал себя на том, что мечтаю о темноглазых, смуглых женщинах, женщинах, чьи гладкие блестящие волосы так же густы,

как гривы пегих лошадей, на которых ездят их братья; женщинах, чьи лица одновременно и суровы, и нежны; женщинах, способных яростно сопротивляться и мгновенно уступать; женщинах, которых можно только завоевать и никогда — купить, если на свете еще встречаются такие женщины.

Покинув их объятия, я двинулся в своем воображении туда, где, как я предполагал, находились их жилища — низкие уединенные хижины подле источников, бьющих из каменных расщелин, укромные юрты среди высокогорных пастбищ. Вскоре я почувствовал, что пьянею при мысли о горах, как когда-то пьянел при мысли о море, еще до того, как мастер Палаэмон сообщил мне точное расположение Тракса. Сколь они величественны, эти бесстрастные идолы Урса, вырезанные неведомыми умельцами во времена, древность которых не подвластна разумению; и по сей день они возносят над миром гордые головы, увенчанные блистающими снежными митрами, тиарами и диадемами, глядят на него глазами огромными, как города, и плечи их, словно мантиями, укутаны лесами.

Так я, переодетый горожанином, пробирался по улицам, кишащим людьми и густо пропахшим

экскрементами и дешевой стряпней, в то время как мысли мои полнились видениями камня и хрустальных потоков, подобных драгоценным ожерельям.

Теклу, думал я, должно быть, увозили к самым подножиям этих вершин — без сомнения, для того, чтобы спасти от жары в какое-нибудь особенно знойное лето; ведь многие картины, рождавшиеся в моем сознании (казалось бы, сами по себе), могли явиться лишь ребенку. Я видел цветущие цикламены и созерцал их девственно чистые лепестки с непосредственностью, которой взрослому никогда не достичь, если он не опустится на колени; видел пропасти, наводящие такой леденящий ужас, словно само их существование было противно законам природы; видел горные пики столь немыслимой вышины, что казалось, они вовсе не имеют вершин, и мир вечно пребывал в падении с неких недоступных человеческому воображению Небес, которые благодаря этим горам удерживают его в своей власти.

Наконец, пройдя почти весь город насквозь, я приблизился к Замку Копья. Я подождал, пока привратники установят мою личность, после чего мне было позволено взойти на главную башню — как когда-то я поднялся на нашу Башню

Сообразности перед расставанием с мастером Палаэмоном.

Тогда я желал попрощаться с единственным известным мне городом и стоял на самой высокой башне Цитадели, которая, в свою очередь, располагалась на самом возвышенном участке Нессуса. Подо мной, насколько хватал глаз, простирался город, а Гьолл зеленел подобно липкому следу, оставленному на карте слизняком; и даже Стена виднелась где-то на горизонте. Тогда я испытал ни с чем не сравнимое высшее блаженство.

Теперешнее мое впечатление было совершенно иным. Я стоял прямо над Ацисом, который скачками несся прямо на меня по скалистым уступам в два, а то и в три раза выше самого высокого дерева. У основания замка он разбивался белоснежной, искрящейся на солнце пеной и исчезал подо мной, чтобы явиться с другой стороны серебряной лентой, — такой спокойный в плавном своем течении, что напомнил мне о кукольных деревеньках в ящике, который я получил когда-то (это во мне говорила Текла) на день рождения.

И все-таки меня не покидало ощущение, будто я стою на дне огромной чаши. Со всех сторон высились каменные стены, и, когда я глядел на

них, в иные минуты казалось, что некий чародей разрушил законы гравитации, перемножив таинственные числа, и мир повернулся под прямым углом к себе прежнему, а эти высоты были на самом деле его поверхностью.

Одна стража сменялась другой, а я все смотрел на горные стены, наблюдал за тонкими, как паутина, нитями водопадов, устремлявших вниз свои гремящие воды, чтобы в порыве слепой страсти слиться с Ацисом; я смотрел на заплутавшие среди скал облака, которые кротко прижимались к их неподатливым краям, словно напуганные, встревоженные овцы на каменном пастбище.

Наконец великолепие вершин и мои горные грезы утомили меня или скорее одурманили; у меня закружилась голова, и, даже закрывая глаза, я продолжал видеть эти безжалостные пики. Я понял, что отныне обречен каждую ночь падать во сне в эти пропасти и, царапая в кровь пальцы, карабкаться по бесконечным скалам.

Я ощутил искреннее желание увидеть город и повернулся; зрелище крепостной башни Винкулы, казавшейся отсюда пристроенным к скале маленьким безобидным кубиком, крапинкой среди мощных каменных валов, успокоило меня. Я разглядывал линии центральных улиц,

задавшись целью (игра помогала мне очнуться от долгого созерцания гор) отыскать те, по которым я шел к замку, и рассмотреть в новой перспективе здания и базарные площади, виденные мною по дороге. Взглядом я отыскал базары — их, обнаружил я, было в городе два, по одному на каждом берегу реки; знакомые объекты, которые я привык видеть из бойницы в Винкуле, — арена, пантеон, палаты архона смотрелись отсюда совсем по-другому. Когда я со своей новой, выгодной позиции обозначил для себя все, что видел на улицах, и убедился, что уяснил для себя пространственное отношение места, в котором находился, к известному мне плану города, я принялся изучать мелкие улочки: следовал глазами по их запутанным лабиринтам, вьющимся до самых горных вершин, вглядывался в узкие аллеи — темные полосы между рядами домов.

Наконец они вывели меня назад, к набережной Ациса, и я принялся рассматривать пристань: склады, пирамиды бочек, ящиков и тюков, ожидающих погрузки на борт какого-нибудь судна. Здесь река текла спокойно и только у границы с пирсом слегка пенилась. Цвет воды был густо-синий, и, подобно таким же синим бликам на снегу в морозный вечер, она скользила, зябко из-

виваясь в мнимом смирении; однако поспешное движение каиков и груженых фелюг свидетельствовало о стремительных потоках, таившихся под безмятежной поверхностью, и команды гребцов размахивали веслами, как фехтовальщики рапирами, сражаясь с водоворотами, а суда, подобно крабам, упрямо разворачивались поперек реки.

Когда я осмотрел ниже по течению все, что было доступно взору, я перегнулся через парапет, чтобы взглянуть на верхний участок реки и на верфь, находившуюся не далее сотни шагов от крепостных ворот. Наблюдая за портовыми рабочими, разгружавшими речную баржу, я заметил неподвижно сидящее неподалеку от них белокурое хрупкое существо. Я было подумал, что это ребенок, — рядом с мощными, почти нагими телами грузчиков оно казалось таким маленьким; но нет, это была Доркас. Она сидела у самой кромки воды, закрыв лицо руками.

3. У ЛАЧУГИ НИЩЕГО

Приблизившись к Доркас, я тщетно попытался заставить ее произнести хотя бы слово. Не оттого, что она на меня сердилась, хотя поначалу я именно так и думал. Молчание сошло на нее, как недуг; имея язык и губы, она утратила волю к речи и само желание говорить — так некоторые болезни лишают нас стремления к удовольствиям и даже способности сочувствовать радостям других. Я не коснулся ее лица, не попытался перехватить ее взгляд: это был взгляд в никуда; она сидела, то тупо уставившись в землю под ногами, но не видя (я был уверен) даже ее, то пряча лицо в ладони. В такой позе я и нашел Доркас.

Я хотел заговорить с ней, надеясь — как оказалось, напрасно, — что смогу найти слова, которые приведут ее в чувство. Но не мог же я утешать ее прямо на верфи, под взглядами портовых грузчиков? А куда ее вести? Я не мог придумать. На узкой улочке, уводящей вверх по склону восточного берега реки, я заметил вывеску какого-то постоялого двора. В тесной общей зале сидели постояльцы и ели, но за несколько аэсов

я мог снять комнатушку на этаже, где кровать составляла единственный предмет обстановки, а на оставшемся пространстве едва можно было разойтись; потолок же висел так низко, что в одном из углов я даже не мог позволить себе выпрямиться. Хозяйка решила, что нам нужна комната для свидания, — мысль, с ее стороны, вполне естественная. Видя отчаяние Доркас, она подумала также, что я имею над ней какую-то власть либо купил ее у сутенера. Женщина ласково-снисходительно улыбнулась ей (Доркас не воспринимала ровным счетом ничего), а мне послала осуждающий взгляд.

Я закрыл дверь на засов и уложил Доркас на кровать, потом сел рядом и попытался склонить ее к разговору: спрашивал, что с ней и чем я могу помочь ее несчастью. Поняв, что все мои потуги тщетны, я заговорил о себе; возможно, думал я, она уклоняется от объяснений из-за ужаса, пережитого в подземельях Винкулы.

— Все презирают нас, — говорил я. — Стоит ли поэтому удивляться, что и ты презираешь меня? Не то удивительно, что ты возненавидела меня именно теперь, а то, что так долго медлила, прежде чем воспылала чувством, владеющим остальными. Но я люблю тебя и потому намерен

отстаивать честь моей гильдии, а следовательно, и свою честь; надеюсь, впоследствии ты не будешь терзаться мыслью, что когда-то любила палача, пусть даже сейчас твоя любовь ко мне и угасла.

— В нас нет жестокости, — продолжал я. — Само по себе ремесло не приносит нам радости, наша единственная забота — исполнять его хорошо, то есть быстро и в соответствии с законом, не менее, но и не более того. Мы подчиняемся судьям, которые существуют лишь потому, что народ так желает. Находятся люди, которые утверждают, будто мы не должны делать того, что делаем, да и никто не должен этого делать. Они считают, что хладнокровно творимая казнь есть худшее преступление, чем любое злодейство, совершенное нашими узниками. Их убеждения по-своему справедливы, но такая справедливость приведет Содружество к гибели. Никто не будет чувствовать себя в безопасности, да никто и не будет в безопасности, и придет день, когда люди восстанут — сначала против воров и убийц, затем против всякого, кто оскорбит их представления о приличиях, и, наконец, просто против чужестранцев и отверженных. Тогда они вернутся к прежним ужасам, когда людей забивали на-

смерть камнями и сжигали на кострах и каждый стремился попрать ближнего своего из страха, что завтра он будет заподозрен в симпатиях к тем несчастным, которых казнят сегодня.

Есть и другие: они говорят, что лишь некоторые из тех, что попадают к нам, заслуживают самой суровой кары; приговор же, назначенный остальным, не следует приводить в исполнение. Возможно, это и правда и одни наши узники более виновны, нежели другие; правда и то, что многие из них вообще не совершали преступлений — ни тех, в которых их обвиняют, ни каких-либо иных. Но те, кто так утверждает, на деле ставят себя над судьями, назначенными Автархом, хотя не имеют ни юридической подготовки, ни законного права привлекать свидетелей. Они требуют, чтобы мы не подчинялись настоящим судьям, а слушались бы именно их. Однако они не способны доказать, что более достойны нашего повиновения.

Но и это еще не все; по мнению третьих, узников не следует ни пытать, ни казнить, но нужно привлекать к работам на благо Содружества, а именно: рытью каналов, строительству сторожевых башен и тому подобному. Но деньги, которые уйдут на плату охранникам и изготовление цепей, могли бы пойти на хлеб для честных ра-

ботников. Так почему же люди с чистой совестью должны голодать ради того, чтобы сохранить жизнь убийцам и уберечь от пыток воров? Более того, эти убийцы и воры, не уважающие закон и не ждущие награды за труды, без кнута работать не будут. А что такое кнут, как не пытка, получившая другое название?

И, наконец, существует группа людей, которые убеждены, что узников следует в течение долгого времени, возможно — пожизненно, содержать со всеми удобствами и отменить пытки. Но с удобствами и без пыток узники живут долго, а ведь каждый орихальк, потраченный на них, мог бы получить лучшее применение. Я мало знаю о войне, однако этого достаточно, чтобы понимать, какие огромные средства тратятся на покупку оружия и вербовку солдат. Война идет на севере, в горах, и мы воюем, словно находясь за сотнею стен. Но что, если она достигнет долины? Удастся ли сдержать натиск асциан, если у них появится возможность маневра? И чем кормить Нессус, если стада попадут в их руки?

Итак, если осужденных не содержать с удобствами и не пытать, что для них остается? Если же установить для них одинаковую казнь, то в сознании людей сотрется разница между нищей

воровкой и матерью, отравившей собственного Ребенка, подобно Морвенне из Сальтуса. Ты бы хотела этого? В мирные времена многих преступников можно просто изгнать; но изгнать их сейчас означает предоставить асцианам армию шпионов, которых обучат, снабдят деньгами и зашлют обратно к нам. И вскоре никому нельзя будет доверять, даже тем, кто говорит на одном с нами языке. Ты бы хотела этого?

Доркас лежала так тихо, что я было подумал, не спит ли она. Но ее глаза, огромные, небесной синевы глаза, были открыты, и, когда я склонился над ней, они ожили и посмотрели на меня, как смотрели бы, наверное, на расходящиеся по воде круги.

— Ну, хорошо, — сказал я, — пусть мы злодеи, если тебе угодно так думать. Но мы необходимы. Даже Небесная власть пользуется услугами дьяволов.

Ее глаза наполнились слезами, но я не мог знать наверняка, что их вызвало: стыд за причиняемую мне боль или мое назойливое присутствие. В надежде вернуть ее былые чувства ко мне я заговорил о наших скитаниях на пути в Тракс: напомнил о нашей встрече на поляне после побега из пределов Обители Абсолюта, о беседе в

великолепных садах, прогулке среди цветущих деревьев в ожидании представления доктора Талоса; напомнил о том, как мы сидели на старой скамье, и о словах, сказанных друг другу.

Мне показалось, что ее скорбь начала понемногу рассеиваться, пока я не упомянул о фонтане, из разбитой чаши которого просачивалась тонкой струйкой вода, по воле неизвестного садовника вилась между деревьями, даря им свою влагу, и, иссякнув, терялась в грунте; на ее лицо, несмотря на дневной свет, легли тени, неожиданно напомнившие тех странных существ, которые преследовали Иону и меня в кедровых зарослях. Теперь Доркас не смотрела на меня и спустя некоторое время уже крепко спала.

Стараясь не шуметь, я поднялся, отодвинул засов и спустился по винтовой лестнице. Хозяйка по-прежнему суетилась в общей зале, но постояльцы уже разошлись. Я объяснил ей, что женщина, которую я привел, больна, отдал плату за комнату на несколько дней вперед и обещал вернуться, на случай если возникнут новые расходы. Я попросил хозяйку иногда заглядывать к Доркас и кормить ее, если та согласится принимать пищу.

— Ах, да для нас просто счастье заполучить

жильца в комнату, — защебетала хозяйка. — Но если твоя милая больна, то «Утиное гнездышко» не самое подходящее для нее место. Подыскал бы ты что-нибудь другое, а еще лучше — забирай-ка ее домой.

— Боюсь, она заболела именно оттого, что жила в моем доме. Не стало бы ей по возвращении хуже — во всяком случае, рисковать я не хочу.

— Бедняжка! — Женщина покачала головой. — Такая красивая, такая молоденькая — совсем дитя. Сколько ей лет? Я ответил, что не знаю.

— Ну что ж, поднимусь к ней и покормлю супом, когда она согласится поесть. — Хозяйка взглянула на меня, словно желая сказать, что чем скорее я уберусь, тем быстрее наступит выздоровление. — Но предупреждаю: держать ее здесь взаперти ради тебя я не стану. Она вольна уйти, когда захочет.

Покинув постоялый двор, я вознамерился вернуться в Винкулу кратчайшим путем, но ошибся, предположив, что, поскольку улочка, на которой стояло «Утиное гнездышко», вела прямо на юг, я скорее приду на место, если пройду по ней дальше и пересеку Ацис ниже по течению, чем если буду возвращаться по прежней дороге мимо крепостной стены Замка Копья.

Будь я лучше знаком с особенностями Тракса, улочке не удалось бы меня обмануть. Ведь все его улицы, которые, извиваясь, расползлись по горным склонам, на самом деле ведут только в двух направлениях: снизу вверх и сверху вниз. Поэтому, чтобы добраться от одного висящего на скале дома к другому (если только они не соседние и не расположены непосредственно один над другим), необходимо спуститься в центр города на набережную и подняться обратно. Очень скоро я очутился высоко на восточном берегу, в то время как Винкула находилась столь же высоко на западном, и надежда добраться до нее была так же мала, как и в ту минуту, когда я покинул постоялый двор.

Признаюсь, это открытие не слишком меня огорчило. В Винкуле меня ждала работа, делать которую не было ни малейшего желания, потому что все мысли были заняты Доркас. Я надеялся, что на ходу мне будет легче развеять отчаяние, и отправился петлять вверх по улице, коль скоро я все равно по ней шел, чтобы, дойдя до вершины, взглянуть на Винкулу и Замок Копья и, предъявив местной охране идентифицирующий меня знак, спуститься вдоль крепостной стены к Капулюсу, дабы перейти реку в самом нижнем ее участке.

Я сражался с этой улицей около полустражи, пока не выяснилось, что дальше идти некуда. Улица обрывалась пропастью высотою в три или четыре чейна и скорее всего кончалась еще раньше, потому что теперь я шел по тропинке в несколько десятков шагов в длину, которой, по-видимому, пользовались лишь обитатели убогой лачуги из глины и хвороста. Я остановился перед ней.

Удостоверившись, что обойти пропасть никак нельзя, и не видя вокруг ни одной дороги, ведущей к вершине скалы, я собрался было с отвращением повернуть назад, как вдруг из лачуги показался ребенок и бочком двинулся ко мне, пугаясь и храбрясь одновременно и не спуская с меня правого глаза; приблизившись, он протянул маленькую очень грязную ручонку, как это делают все нищие попрошайки. Не будь я столь подавлен, я, возможно, и посмеялся бы над несчастным оборвышем, таким робким и таким назойливым; но в ту минуту я бросил в перепачканную землей ладошку несколько аэсов.

Малыш осмелел.

— Моя сестра больна, сьер, — сказал он. — Очень, очень больна. — По голосу я определил, что это мальчик; когда, обратившись ко мне, он

повернул голову, я увидел на его левом глазу опухоль, отчего глаз был накрепко закрыт; гной струйкой сочился из него и пересыхал на щеке.
— Очень, очень больна, сьер.

— Понимаю.

— Нет, сьер, так ты не поймешь. Но, если хочешь, загляни в дверь. Ты ее не потревожишь.

Вдруг появился мужчина в потертом кожаном фартуке, какой носят каменщики, и закричал:

— Что здесь происходит, Йадер? Что ему нужно?

С этими словами он начал взбираться к нам по тропинке.

Мальчик, как и следовало ожидать, насмерть перепугался и не произнес ни звука. Тогда заговорил я:

— Я хотел узнать, как быстрее пройти в нижнюю часть города.

Каменщик не ответил; он остановился в четырех шагах от меня и скрестил на груди руки с мускулами покрепче тех камней, с которыми они привыкли работать. Он был рассержен и явно не доверял мне, хотя я и не мог понять, почему. Может быть, мой акцент выдавал во мне южанина, а может, ему просто не понравилась моя одежда, которая, не будучи ни вычурной, ни

богатой, все же указывала на мое более высокое общественное положение.

— Я нарушил границы твоих владений? — осведомился я. — Ты — хозяин этой земли?

Ответа не последовало. Каким бы ни было его мнение на мой счет, разговаривать со мной он не собирался. Мои слова, обращенные к нему, с тем же результатом могли быть адресованы к зверю, причем не к разумному животному, а к скоту, понимающему лишь язык кнута. В его же глазах зверем был я, поскольку моя речь оборачивалась для него бессмысленным потоком звуков.

Я не раз замечал, что в книгах не встречаются безвыходные положения подобного рода; авторы с таким рвением гонят вперед сюжет (лишенный зачастую гибкости, напоминающий в своем упрямом движении базарную телегу со скрипучими, но беспрестанно вращающимися колесами, знающими лишь грязь проселочных дорог и не ведающими о деревенских красотах и очаровании городов), что не остается места ни для недоразумений, ни для пауз. Книжный злодей, приставивший нож к горлу жертвы, всегда рад побеседовать с нею по душам, и разговор будет длиться столько, сколько достанет терпения у жертвы и желания у автора. Любовники

в страстных объятиях друг друга просто счастливы отложить соитие, если не вовсе от него отказаться.

В жизни все иначе. Я вперил неподвижный взгляд в каменщика, а он — в меня. Я чувствовал, что, пожалуй, мог бы убить его, но не был уверен в этом: во-первых, выглядел он неправдоподобным силачом, а во-вторых, я опасался, не прячет ли он какого-нибудь оружия и не скрываются ли в соседних лачугах его товарищи. Мне показалось, что он собрался плюнуть на тропинку между нами; если бы он сделал это, я накинул бы ему на голову свой плащ и задушил. Однако этого не случилось. Еще несколько мгновений мы сверлили друг Друга взглядами, но тут мальчик, в полном неведении о происходящем, снова обратился ко мне:

— Можешь заглянуть в дверь, сьер. Ты не потревожишь сестру.

Он даже осмелился слегка потянуть меня за рукав, желая доказать, что не солгал, и не отдавая себе отчета в том, что его собственный вид с лихвой оправдывал просьбы о подаянии.

— Я и так верю тебе, — сказал я и тут же пожалел о нанесенном ему оскорблении: он мог подумать, что я не хочу проверить его правоту

именно в силу своего недоверия. Тогда я нагнулся и заглянул в хижину, но поначалу яркий солнечный свет мешал мне разглядеть что-либо в темном помещении.

Солнце стояло в зените, и я чувствовал его лучи на своем затылке; опасался я и каменщика, к которому теперь стоял спиной, и он мог безнаказанно напасть на меня.

Несмотря на малые размеры, лачуга внутри оказалась опрятной. У стены напротив двери на соломе лежала девушка. Ее состояние было уже безнадежно: больной в такой стадии больше не вызывает сострадания, но становится страшен. Голый череп был плотно обтянут тонкой, прозрачной кожей. Губы не закрывали зубов даже во сне; лихорадка косой прошлась по ее голове, оставив от волос лишь редкие жесткие клочки.

Я оперся о глиняный косяк и выпрямился.

— Ну вот, сьер, ты же видишь, моя сестра очень больна, — снова сказал мальчик, протягивая руку.

Да, я видел; эта картина и сейчас стоит у меня перед глазами, но тогда впечатление еще не охватило меня всего. В ту минуту мною владела лишь мысль о Когте, и мне казалось, будто он не просто оттягивает мне шею, но впивается мне

в грудь, словно костяшки невидимого кулака. Я вспомнил мертвого улана, который ожил, стоило мне приложить Коготь к его губам; казалось, это было в далеком прошлом. Я вспомнил обезьяночеловека с культей вместо руки, вспомнил, как исчезали ожоги Ионы, когда я проводил по ним Камнем. Я не дотрагивался до него и даже не пытался применять лишь с тех пор, как он оказался бессилен спасти Иоленту.

Я так долго держал в секрете его силу, что не решился воспользоваться им снова. Возможно, я и коснулся бы им умирающей девушки, если бы рядом не стоял ее брат; я бы коснулся и его пораженного глаза, не наблюдай за мной угрюмый каменщик. Но я ничего этого не сделал; тяжело дыша из-за сдавившей грудь тяжести, я повернулся и двинулся вниз, не разбирая дороги. Я услышал, как каменщик плюнул мне вслед и его слюна тяжело шлепнулась на голые камни; но что это был за звук, я понял, лишь добравшись до Винкулы, где разум и чувства мало-помалу возвратились ко мне.

4. В БАШНЕ ВИНКУЛЫ

— Тебя ожидают, ликтор, — предупредил караульный и, когда я ответил всего лишь коротким кивком, прибавил: — Будет лучше, если ты прежде переоденешься.

Не было нужды спрашивать, что за гость ко мне пожаловал: только присутствие архона могло быть причиной столь почтительно-вкрадчивого голоса.

В жилую часть моих апартаментов можно было легко пройти, минуя рабочий кабинет, где я занимался делами Винкулы и хранил документы. Я сорвал чужой плащ и облачился в свои угольно-черные одежды, а мысли мои тем временем занимал вопрос: зачем архону, который прежде никогда ко мне не приходил и которого по этой причине я редко видел вне стен его палат, понадобилось являться сюда, причем одному, ибо никаких признаков свиты я не замечал?

Эти размышления оказали мне добрую услугу, освободив ненадолго от иного рода мыслей. В спальне стояло огромное, покрытое тонким слоем серебра стекло, служившее куда луч-

шим зеркалом, чем привычные мне маленькие пластинки из отшлифованного металла. Я остановился перед ним, чтобы окинуть себя взглядом, и вдруг обнаружил небрежно написанные мелом четыре строчки из песенки, что когда-то пела мне Доркас:

Рожок Урса, ты поешь небесам.
Там покойней душе, зелень гуще.
Спой же здесь, где милее леса.
Унеси меня в опавшую пущу!

В кабинете стояло несколько больших кресел, и я ожидал найти архона расположившимся в одном из них (хотя я вполне допускал, что он мог позволить себе порыться в моих бумагах: при желании он имел на это полное право). Однако он стоял у бойницы и смотрел на принадлежавший ему город подобно тому, как я недавно смотрел на него с крепостных высот Замка Копья. Сцепленные за спиною руки словно жили своей, обособленной жизнью: игра пальцев выдавала напряженные раздумья архона. Спустя некоторое время он обернулся и заметил меня.

— А, вот и ты, мастер Палач. Я и не слышал, как ты вошел.

— Я всего-навсего подмастерье, архон.

Он улыбнулся и сел на выступ спиной к щели

бойницы. Черты его лица были грубы — большие глаза с нависшими темными веками, крючковатый нос, — но мужественности в них не ощущалось; такое лицо могло принадлежать уродливой женщине.

— Я облек тебя всею полнотой власти в этом городе, а ты считаешь себя лишь подмастерьем?

— Возвысить меня могут только мастера моей гильдии.

— И тем не менее представленное тобою письмо, тот факт, что именно тебя они прислали сюда, наконец, сама твоя деятельность здесь со дня появления — все говорит о твоем превосходстве над другими подмастерьями. Во всяком случае, никто не догадается о твоем ранге, если ты будешь держаться с достоинством, подобающим твоему положению. Сколько мастеров в твоей гильдии?

— Я и сам хотел бы это знать, архон. Если никто не был возвышен после моего ухода, то всего двое.

— Я напишу им и испрошу для тебя возвышения in absentia.

— Благодарю, архон.

— Не благодари. — Он отвернулся словно в замешательстве и устремил взгляд в бойницу. — Полагаю, что через месяц мы получим ответ.

— Они не удостоят меня возвышения. Но мастеру Палаэмону будет приятно узнать, что ты мною так доволен. Он резко развернулся и взглянул на меня в упор.

— Нам вовсе не обязательно придерживаться этикета, Северьян, — вас ведь так зовут, не правда ли? А мое имя Абдиес, и я не вижу причин, почему бы тебе не называть меня так, когда мы одни.

Я молча кивнул. Он снова повернулся к бойнице.

— Какое низкое отверстие! Я осматривал его, ожидая тебя: оно расположено почти на уровне моих колен. А ведь из него так просто выпасть.

— Только человеку столь же высокого роста, как ты, Абдиес.

— А не назначались ли в прошлом такие казни — когда приговоренного выбрасывали из высокого окна или сталкивали в пропасть?

— Да, применялись оба эти способа.

— Не тобою, разумеется. — Он снова повернулся ко мне.

— Я вообще не припоминаю, чтобы так казнили в наше время, Абдиес. Я рубил головы — на плахе и на стуле. Это все, что я делал.

— Но ты не стал бы возражать, если бы при иных обстоятельствах тебе пришлось воспользо-

ваться ими? Если бы тебе поручили?

— Я здесь для того, чтобы приводить в исполнение приговоры архона.

— В одни времена, Северьян, публичные казни полезны для общества. В другие они приносят лишь вред, провоцируя народ на бунт.

— Я понимаю тебя, Абдиес, — сказал я. Мне не раз случалось замечать, как в глазах ребенка таятся его будущие взрослые заботы. Так и теперь на лице архонта залегла тень его грядущей вины (о чем сам он, возможно, не подозревал).

— Вечером я жду у себя в палатах гостей. Надеюсь увидеть среди них и тебя, Северьян. Я поклонился.

— Среди различного рода государственных должностей существует одна — а именно моя, — исполнителям которой традиционно запрещается появляться в обществе.

— И ты полагаешь, что это неправильно; что ж, вполне естественно. Сегодня вечером, если это действительно тебя оскорбляет, мы и займемся восстановлением справедливости.

— Представители нашей гильдии никогда не жалуются на несправедливость закона. Напротив, мы гордимся своим особым положением. И сегодня вечером другие гости будут вправе

возмутиться твоим поступком.

На губах архона мелькнула кривая усмешка.

— Их возмущение меня не волнует. Вот, возьми, это тебя вразумит.

Он вытянул вперед руку, и я увидел, что его пальцы сжимают — с осторожностью, словно он боялся выронить, — кружочек жесткой бумаги, не больше хризоса, с тиснеными золотом и изукрашенными виньетками письменами; я слышал о таких из рассказов Теклы (ее образ всплыл в моей памяти, стоило мне прикоснуться к кружку), но видеть их мне не приходилось.

— Благодарю тебя, архон. Сегодня вечером, ты сказал? Я постараюсь найти подобающие случаю одежды.

— Приходи как есть. Я устраиваю бал-маскарад; твоя одежда послужит тебе костюмом. — Он поднялся и расправил плечи с видом человека, исполнившего утомительную и неприятную обязанность. — Минуту назад мы обсуждали некоторые, не столь трудоемкие, приемы исполнения твоей работы. Было бы весьма уместно, если бы ты захватил с собой необходимые приспособления.

Я все понял. Кроме рук, мне не понадобится ничего — так я ему и сказал; затем, чувствуя, что

уже успел нарушить долг хозяина дома, пригласил его отобедать.

— Не утруждай себя, — сказал он. — Если бы ты знал, сколько я вынужден есть и пить, чтобы только соблюсти приличия, ты бы понял, сколь драгоценно для меня общество человека, чьи гостеприимные предложения ни к чему меня не обязывают. Надеюсь, твое братство не пытает людей пищей вместо пытки голодом?

— Это называется насильственным кормлением, архон.

— Когда-нибудь непременно расскажешь. Я уже понял, что успехи гильдии намного опережают мое воображение. По древности твой род занятий, полагаю, уступает лишь охоте. Однако мне пора. Итак, вечером мы тебя увидим?

— Уже вечереет, архон.

— В таком случае приходи к окончанию следующей стражи. Он вышел. Лишь когда за ним закрылась дверь, я ощутил легкий аромат мускуса, которым была пропитана его одежда.

Я повертел в руках бумажный кружок; на обороте были изображены маски — скопление обманчивых личин, — среди которых я узнал рот с торчащими из него клыками, ужаснувший меня в саду Автарха, когда какогены показали свои ис-

тинные «лица», а также морду обезьяночеловека из заброшенной шахты на окраине Сальтуса.

Скитания по городским улицам и работа (я встал рано и успел переделать многое из намеченного на день) сильно утомили меня; поэтому, прежде чем уйти, я скинул одежду и вымылся, поел холодного мяса и фруктов и выпил пряного чая, какой готовят здесь, на севере. Стоит какой-нибудь неприятности глубоко взволновать меня, она живет в моем сознании независимо от того, помню я о ней или нет. Так и теперь: мысль о Доркас, оставшейся в тесной, с низким потолком комнатушке на постоялом дворе, и воспоминание об умирающей на охапке соломы девушке занимали меня настолько, что я почти ничего не видел и не слышал. Думаю, именно по этой причине я и не заметил начальника караула и не осознавал, пока он не вошел, что сижу у камина и ломаю в пальцах щепки для растопки. Он осведомился, не собираюсь ли я снова уходить, и, поскольку он нес ответственность за все работы в Винкуле в мое отсутствие, я сообщил ему, что должен выйти, но не знаю, когда вернусь. Потом поблагодарил его за плащ и сказал, что он может забрать его, поскольку мне плащ больше не нужен.

— Он всегда в твоем распоряжении, ликтор. Но меня заботит другое. Я бы посоветовал, когда ты в следующий раз соберешься в город, взять с собой пару наших стражников.

— Благодарю. Но в городе достаточно полиции, и мне ничто не угрожает.

Начальник караула откашлялся.

— Дело в престиже Винкулы, ликтор. Ты наш начальник, и при тебе должна быть свита.

Я видел, что он лжет; но я видел также, что эта ложь — для моего же блага, поэтому ответил:

— Я подумаю, тем более что, насколько мне известно, у тебя всегда найдется пара надежных людей. Он тут же просиял.

— Однако при них не должно быть оружия. Я направляюсь в палаты архона и не хочу оскорбить его, явившись в сопровождении охраны.

Он что-то забормотал, и я с напускной яростью швырнул на пол щепку так, что она разлетелась на кусочки.

— Что ты себе позволяешь? Если, по-твоему, я в опасности, изволь объясниться внятно.

— Ничего особенного, ликтор. Лично тебе ничего не угрожает. Только…

— Только — что?

Я знал, что теперь он все скажет, поэтому по-

дошел к буфету и налил два бокала виноградной наливки.

— В городе совершено несколько убийств. Три — сегодняшней ночью и два — вчерашней. Спасибо, ликтор. Твое здоровье.

— Твое. Но ведь убийства — обычная вещь, не правда ли? Эклектики всегда резали друг друга.

— Тех людей сожгли, ликтор. Я почти ничего об этом не знаю, и, кажется, не знает никто. Возможно, тебе известно больше.

Лицо начальника караула было непроницаемым, будто камень, однако я заметил, как он метнул взгляд к нерастопленному камину и, увидев груду изломанных щепок (грубых и жестких, но я, пока он не вошел, совершенно не чувствовал этого, как и Абдиес долго не сознавал, что размышляет о собственной смерти, когда я наблюдал за ним из дверей), решил, что архон сообщил мне какую-то страшную тайну, хотя я всего лишь предавался воспоминаниям об отчаянии Доркас, которое смешалось в моей памяти со страданиями умирающей нищенки.

— Я тут привел пару надежных ребят, ликтор; они у входа. Готовы следовать за тобой везде и будут ждать тебя до тех пор, пока ты не пожелаешь вернуться.

Я похвалил его, и он тут же направился к двери; мне так и не удалось ни выяснить, ни догадаться, сообщил ли он мне все, что знал. Однако его крепкие плечи, морщинистая шея и быстрый шаг были красноречивее его непроницаемого взгляда.

Моей охраной оказались двое здоровяков, избранных именно благодаря своим мускулам. Поигрывая огромными железными дубинками, они сопровождали меня по лабиринту города; когда я, положив на плечо «Терминус Эст», шагал по широким улицам, они шли рядом, на улицах поуже — становились спереди и сзади. На берегу Ациса я их отпустил, а чтобы они скорее оставили меня, разрешил использовать остаток вечера по своему усмотрению; потом нанял маленький узкий каик (его пестро расписанный балдахин уже не представлял для меня никакого интереса, поскольку последняя дневная стража была окончена) и приказал везти меня вверх по реке к палатам архона.

Я впервые отправлялся в плавание по Ацису. Усевшись на корму между владельцем каика, исполнявшим обязанности рулевого, и четырьмя гребцами, я глянул на чистую ледяную воду, несущуюся так близко, что при желании я мог

бы погрузить в нее обе руки, и удивился, как это утлое деревянное суденышко, которое из бойницы Винкулы напоминает скачущее насекомое, посмеет вступить в борьбу с течением. Рулевой отдал команду, и мы отчалили, придерживаясь для верности берега; лодочка прыгала по воде, как брошенный по волнам камень. Удары четырех пар весел были так быстры и слаженны, а каик так узок, покорен и легок, что казалось, мы летели над водой, а не плыли по ней. На корме, на штевне, покачивался пятигранный фонарь лилового стекла; в тот самый момент, когда я в своем неведении испугался, что мы вот-вот вклинимся между двумя лодками, разобьемся и течение отнесет нас, тонущих, к Капулюсу, кормчий оставил румпель висеть на крыже и зажег фитиль.

Он, конечно же, знал, что делал, а я ошибался. Как только дверца фонаря скрыла масляно-желтое пламя, осветившее путь лиловыми лучами, водоворот подхватил нас, закружил и выбросил вперед шагов на сто; гребцы тем временем сложили весла, и мы очутились в небольшом заливе, спокойном, как мельничный пруд, наполовину заполненном безвкусно разукрашенными прогулочными лодками. Прямо из воды поднималась

лестница, очень похожая на ту, с которой я мальчишкой прыгал в Гьолл, только гораздо грязнее; она вела к изысканным воротам палат архона, освещенным ослепительным светом факелов.

Я часто смотрел на эти палаты из бойницы Винкулы и потому знал, что передо мной не полуподземное сооружение, построенное по образцу Обители Абсолюта, как можно было бы предположить при иных обстоятельствах. Не походили они и на нашу мрачную Цитадель — очевидно, и сам архон, и его предшественники считали такие мощные крепости, как Замок Копья и Капулюс, соединенные протянувшейся вдоль горных гребней двойной стеной со сторожевыми башнями, верным залогом безопасности города. Вместо крепостных валов палаты окружала обычная изгородь, назначение которой сводилось к тому, чтобы скрыть их от любопытных взглядов и остановить случайных воров. Разбросанные в изящном беспорядке уютные постройки с позолоченными куполами ласкали взор приятной расцветкой; из моей бойницы они казались раскатившимися по узорному ковру самоцветами.

У филигранного литья ворот стояли стражники — пешие кавалеристы в стальных латах и шлемах, вооруженные сверкающими пиками;

однако они производили впечатление статистов из любительского театра — этакие грубоватые добряки, в отсутствие зорких патрулей наслаждающиеся передышкой от постоянных боев. Я предъявил им свой разрисованный кружок, но они просто скользнули по нему взглядом и кивком пропустили меня в палаты.

5. КИРИАКА

Я прибыл в числе первых. Чаще гостей на глаза попадались слуги, которые сновали туда-сюда, словно только сейчас начали приготовления и намерены завершить их в кратчайший срок. Они возжигали развешанные по верхушкам деревьев светильники из гнутого хрусталя со сверкающими венцами, приносили яства и напитки, расставляли и переставляли их, уносили обратно в один из купольных павильонов — причем каждое из перечисленных действий исполнялось специальным слугой и лишь иногда одним и тем же: последнее, несомненно, потому, что двое других были слишком заняты иными обязанностями.

Некоторое время я бродил по саду и любовался цветами, окутанными густыми сумерками уходящего дня. Потом, заметив среди колонн одной из беседок людей в маскарадных костюмах, направился к ним.

Однажды я уже описывал собрания подобного рода в Обители Абсолюта. Здешнее же общество, будучи провинциальным, напоминало скорее

детей, потехи ради нарядившихся в старые родительские платья; я видел мужчин и женщин, одетых автохтонами, с размалеванными кирпичной и белой краской лицами; видел даже настоящего автохтона в своем же собственном одеянии, ничем, таким образом, не отличавшегося от прочих; я собрался было посмеяться над ним, но вовремя понял, что, пусть знаем об этом только мы двое, его костюм оригинальнее прочих — костюм переодетого траксийца. Среди всех этих автохтонов, ряженых и неподдельных, попадались личности еще причудливей: офицеры, одетые женщинами, и женщины, одетые солдатами; эклектики, столь же фальшивые, сколь и автохтоны, гимнософисты, аблегаты и их прислужники, отшельники, призраки, зоантропы — полулюди-полузвери, деоданды и ремонтады в живописном тряпье и с нарочито бешеным раскрасом глаз.

Я поймал себя на мысли, что, появись здесь сейчас Новое Солнце (сама Дневная Звезда), подобно тому как в давние времена оно явилось нам и получило имя Миротворец, его приход показался бы странным и неуместным, — а оно всегда предпочитало являться в наименее подобающих местах, чтобы посмотреть на людей свежим взглядом,

на что мы сами уже не способны; и если бы оно, появившись здесь, обрекло своим божественным словом всех этих людей (неизвестных мне и не знающих меня) вечно играть их нынешние роли, повелев автохтонам сидеть над дымными кострами в горных каменных хижинах, настоящим автохтонам остаться горожанами на маскараде, женщинам с мечами в руках сражаться с врагами Содружества, офицерам склоняться над шитьем и вздыхать, глядя в северные окна на безлюдные дороги, деодандам изрыгать в пустыне свои мерзкие проклятия, ремонтадам сжечь свои жилища и устремиться в горы, — я один остался бы неизменным, подобно тому как скорость света, говорят, нельзя изменить путем математических преобразований.

Пока я усмехался своим мыслям под защитой маски, спрятанный в мягком кожаном мешочке Коготь вонзился мне в грудную кость, словно напоминая, что Миротворец действительно существовал и я носил при себе частицу его могущества. И в этот миг, взглянув поверх голов — простоволосых, в перьях и шлемах, — я увидел одну из Пелерин.

Я опрометью бросился к ней, расталкивая всех, кто не желал уступать мне дорогу. (Таких ока-

залось немного, ибо, пусть ни один из гостей не догадывался, что я есть именно тот, за кого себя выдаю, меня из-за роста принимали за экзультанта, хотя ни одного настоящего экзультанта поблизости не было.)

Ее возраст я определить не мог; тонкое благородное лицо, полускрытое узким домино, казалось нездешним, как у верховной жрицы, пропустившей меня и Агию в шатровый храм, после того как мы разрушили алтарь. Бокал с вином, который она держала в руке, явно не вызывал у нее интереса, и, когда я опустился перед ней на колени, она тут же поставила его на стол и протянула мне пальцы для поцелуя.

— Исповедуйте меня, Домницелла, — взмолился я, — ибо я повинен перед тобой и твоими сестрами в тягчайшем злодеянии.

— Смерть есть зло для всех нас, — отвечала она.

— Но я не Смерть. — Я поднял на нее глаза, и первое сомнение поразило меня.

Сквозь шум толпы я услышал, как она со свистом вздохнула.

— Нет?

— Нет, Домницелла. — И хотя я уже усомнился в ней, я испугался, что она обратится в бегство,

и поймал ее за ремешок, стягивавший талию. — Прости меня, Домницелла, но правда ли, что ты принадлежишь Ордену?

Она молча покачала головой и упала без чувств.

Для узников нашей темницы обморок обычное дело, поэтому распознать обман мне ничего не стоит. Притворщик намеренно закрывает глаза и держит их плотно сомкнутыми. При настоящем же обмороке жертва, будь то мужчина или женщина, сначала теряет контроль над глазами, и взгляд некоторое время бессмысленно блуждает; иногда жертва закатывает глаза. Веки при этом почти никогда не закрываются совсем, поскольку это вызвано не волей, но расслаблением мускулов. Обычно между верхним и нижним веком остается узкое полукружье склеры — что я и увидал, когда эта женщина упала.

Мужчины помогли мне перенести ее в альков, после чего началась нелепая болтовня о тепловом ударе и неврозе; ни то, ни другое не соответствовало действительности. Некоторое время все мои попытки разогнать зевак были тщетны; однако, когда интерес к происшествию поиссяк, удержать их рядом, пожелай я этого, было бы столь же затруднительно. Пока женщина в красном

приходила в себя, я успел узнать от другой женщины, примерно одних с нею лет и наряженной в детское платье, что это была супруга армигера, жила она на вилле неподалеку от Тракса, а ее муж отбыл по какому-то дену в Нессус. Я вернулся к столу, взял ее бокал с напитком красного цвета и поднес к ее губам.

— Не надо, — еле слышно проговорила она, — я не хочу… Это сангари, я терпеть его не могу. Я выбрала его только ради цвета — он подходит к моему костюму.

— Почему ты потеряла сознание? Потому что я принял тебя за посвященную?

— Нет. Я догадалась, кто ты, — ответила она, и мы оба умолкли; она все еще полулежала на кушетке, куда с моей помощью ее перенесли; я опустился к ее ногам.

Я снова вызвал в памяти минуту, когда стоял перед ней на коленях; как я уже упоминал, мой мозг обладает способностью воспроизводить любой момент моей жизни. Наконец я вынужден был заговорить:

— Как тебе это удалось?

— Будь на твоем месте другой человек — обычный ряженый, — он бы ответил, что он действительно Смерть, — именно потому, что такова его

маска. Неделю назад, когда мой муж выдвигал против одного из наших пеонов обвинение в воровстве, я присутствовала на суде архона и видела тебя. Ты стоял немного в стороне, положив руки на ножны меча, который сейчас с тобой, и когда я услыхала твой ответ, когда ты поцеловал мои пальцы, я узнала тебя и подумала… О, я даже не знаю, что подумала тогда! Наверное, что ты опустился (передо мной на колени, потому что решил убить меня. Когда я видела тебя в суде, ты показался мне человеком, снисходительным к своим жертвам, особенно к женщинам. — Я опустился перед тобой на колени единственно из-за страстного желания найти Пелерин, и мне показалось, что твои одежды, подобно моим, не являются лишь маскарадным костюмом.

— Но это действительно так. То есть я не вправе носить их при иных обстоятельствах, но и не заказывала прислуге. Это настоящие одежды. — Она помолчала. — Но ведь я даже не знаю твоего имени.

— Северьян. А тебя зовут Кириака — одна из женщин назвала тебя так, пока мы хлопотали над тобой. Позволь мне, однако, задать один вопрос: откуда у тебя эти одежды и где сейчас Пелерины? Конечно, если последнее тебе известно.

— Надеюсь, ты любопытствуешь не по долгу службы. — Она мельком, но пристально посмотрела мне в глаза, потом тряхнула головой. — Нет, это личный интерес. Видишь ли, я была послушницей, они воспитали меня. Мы странствовали по всему континенту, и наблюдать за цветами и деревьями, мимо которых мы проходили, было для меня чудесней всяких уроков ботаники. Я до сих пор вспоминаю те времена, и мне порой кажется, что мы за неделю пересекали материк из конца в конец, хотя на самом деле так, разумеется, не могло быть. Я готовилась принять окончательный обет; за год до посвящения они шьют одежду, чтобы ее можно было примерить и подогнать и чтобы она была на виду всякий раз, как разбираешь вещи. Сходные чувства, наверное, испытывает девочка, примеряя свадебное платье, доставшееся от матери, и зная, что и ей придется выходить замуж в этом наряде, — если она вообще выйдет замуж. Только носить эту одежду мне не пришлось, и, уходя домой после долгого ожидания момента, когда мы окажемся достаточно близко от дома и мне не нужны будут провожатые, я забрала ее с собой.

Я совсем забыла о ней, — продолжала она, — и, лишь получив приглашение архона, вспомнила и

решила надеть. Я горжусь своей фигурой, и одежды пришлось лишь слегка распустить. По-моему, они мне идут, и лицо у меня, как у Пелерины, только глаза другие. По правде говоря, я никогда не могла похвастаться глазами; надеялась, что они изменятся, когда я приму обет или спустя некоторое время. У нашей наставницы был такой вид: она могла сидеть за шитьем, но, глядя на нее, легко было представить, что она пронзает взглядом Урс до самых его пределов, где обитают ушедшие, смотрит сквозь старые, потрепанные полы и стенки шатра — все видит насквозь. Нет, я не знаю, где сейчас Пелерины; сомневаюсь, что и они это знают, кроме, возможно, самой Матери.

— Но ведь у тебя среди них должны остаться подруги, — сказал я. — Разве никто из послушниц, готовившихся к посвящению вместе с тобой, не остался в Ордене?

Кириака пожала плечами.

— Никто из них ни разу не писал мне. Я и вправду ничего не знаю.

— Как ты себя чувствуешь? Вполне ли ты оправилась, чтобы вернуться и потанцевать? — В нашу беседку стали просачиваться звуки музыки.

Она не повернула головы, но ее глаза, еще ми-

нуту назад устремленные в лабиринты времени, проведенного среди Пелерин, искоса посмотрели в мою сторону.

— Ты действительно хочешь вернуться?

— Честно говоря, нет. Мне всегда неловко среди людей, если эти люди не мои друзья.

— Как, у тебя есть друзья? — с неподдельным изумлением воскликнула она.

— Не здесь… хотя нет, здесь у меня есть один друг. В Нессусе я оставил братьев по гильдии.

— Понимаю. — Она поколебалась. — Нам нет причин возвращаться к гостям. Праздник будет продолжаться всю ночь напролет, а на рассвете, если архону будет угодно веселиться дальше, слуги опустят шторы или даже растянут над садом темную сетку. Мы можем оставаться здесь сколько пожелаем, а если нам захочется чего-нибудь съесть или выпить, просто кликнем слугу. Если же кто-нибудь, с кем бы нам хотелось побеседовать, будет проходить мимо, мы подзовем его и развлечемся.

— Боюсь, что наскучу тебе еще задолго до рассвета, — сказал я.

— Тебе не удастся, поскольку я не дам тебе много говорить — это я возьму на себя, а ты должен будешь слушать. Итак, я начинаю. Тебе известно,

что ты очень красив?

— Мне известно, что я некрасив. Но, поскольку тебе ни разу не приходилось видеть меня без маски, ты не можешь судить о моей внешности.

— Напротив.

Она подалась вперед, словно желая рассмотреть мое лицо сквозь прорези для глаз. Ее собственная маска, под цвет ее костюма, была очень маленькая, чистая условность — две узкие миндалевидные полоски ткани вокруг глаз; и все же она придавала ее облику экзотичность, которой сама эта женщина, возможно, была лишена, и таинственность, освобождавшую ее от всякой ответственности.

— Ты чрезвычайно умен, не сомневаюсь в этом; но ты не владеешь некоторыми известными мне приемами, иначе искусство судить о внешности людей, не видя лиц, было бы тебе знакомо. Труднее всего, конечно, если человек, на которого ты смотришь, носит деревянную маску, чей рисунок не соответствует чертам его лица, но даже в этом случае можно многое узнать. У тебя острый, слегка раздвоенный подбородок; я права?

— Права насчет острого подбородка, — ответил я, — но не права насчет раздвоенного.

— Лжешь; нарочно хочешь поколебать мою

уверенность — либо сам никогда не обращал на него внимания. О подбородках я сужу по талиям, особенно это касается мужчин: в основном именно они меня и интересуют. При тонкой талии непременно бывает острый подбородок, а твоя кожаная маска вполне позволяет в этом удостовериться. У тебя глубоко посаженные глаза, но, несмотря на это, они большие и подвижные, что говорит о раздвоенности подбородка, особенно если лицо узкое. Скулы у тебя высокие — их очертания чуть-чуть просматриваются через маску, а благодаря твоим слегка впалым щекам они кажутся еще выше. Черные волосы — о них я сужу по кистям твоих рук; узкие губы — они видны сквозь прорезь в маске. Поскольку мне не видно их целиком, они у тебя изогнутые — самое привлекательное качество мужских губ.

Я не нашелся, что ответить, и, по правде говоря, дорого бы дал, чтобы поскорее избавиться от нее; наконец я сказал:

— Если пожелаешь, я сниму маску, и ты сможешь удостовериться в точности своих суждений.

— О нет, не стоит. Во всяком случае, пока не отыграют утреннюю зарю. Кроме того, тебе следует щадить мои чувства. Если ты снимешь

маску и я не найду тебя красивым, праздник для меня будет безнадежно испорчен. — Она снова откинулась на кушетке, и ее волосы рассыпались темным ореолом. — Нет, Северьян, не открывай лица; открой мне лучше свою душу. Позже ты расскажешь мне, что бы ты делал, будь ты волен делать все, что пожелаешь; а сейчас удовлетвори мое любопытство и расскажи о себе. Пока я знаю о тебе лишь то, что прибыл ты из Нессуса. Почему же ты так упорно разыскиваешь Пелерин?

6. БИБЛИОТЕКА ЦИТАДЕЛИ

Только я собрался ответить на ее вопрос, как мимо нашего алькова прошествовала парочка — мужчина в санбенито и женщина, одетая шляпницей. Проходя, они всего лишь кинули в нашу сторону взгляд, но что-то — в одинаковом ли повороте двух голов, выражении ли глаз — подсказало мне, что они знают или, по крайней мере, догадываются, что я не маска. Я, однако, притворился, будто ничего не заметил, и сказал:

— В мои руки случайно попала вещь, принадлежащая Пелеринам. Я хочу вернуть им ее.

— Значит, зла ты им не причинишь. А что это за вещь? Правду я ответить не посмел, к тому же знал наверняка, что сразу последует требование показать названный предмет.

Поэтому я сказал:

— Это книга, старинная книга с чудесными иллюстрациями. С моей стороны было бы дерзостью выдавать себя за знатока, но я уверен, что книга очень дорогая и представляет большую культовую ценность. — С этими словами я извлек из сумки коричневую книгу из библиотеки

мастера Ультана, ту, что унес с собой, покидая камеру Теклы.

— Действительно, старинная. — Кириака с интересом посмотрела на нее. — И изрядно попорчена водой. Ты позволишь взглянуть на нее?

Я подал ей книгу, и она принялась листать страницы, с интересом разглядывая картинки.

— Я тоже ничего в этом не понимаю, — улыбнулась она, возвращая мне книгу. — Но у меня есть дядя, большой знаток, и я не сомневаюсь, он заплатил бы за нее немалые деньги. Жаль, что его сегодня здесь нет, он бы взглянул на нее; но это, возможно, и к лучшему, потому что иначе я бы попыталась отобрать ее у тебя. В поисках старинных книг он путешествует по самым отдаленным уголкам — дальше, чем я, когда жила у Пелерин. Он даже ездил за утраченными архивами. Ты слыхал о них? — Я покачал головой. — Я знаю только то, что он сам однажды рассказал мне, когда выпил нашего фамильного вина немного больше, чем обычно; подозреваю, что он рассказал не все: во время разговора я чувствовала, что он опасается, как бы я сама не отправилась в путь. Но я так никогда и не решилась, хотя порой и сожалею об этом. Так вот, в южной части Нессуса, куда люди заходят редко, в низовьях ве-

ликой реки, где, по мнению многих, город должен был давным-давно закончиться, стоит старая крепость. О ней никто уже не помнит — кроме, наверное, самого Автарха, да пребудет его дух во многих поколениях наследников. Считается, что в ней поселились привидения. Дядя говорил, что она стоит на холме на берегу Гьолла, над разрушенным кладбищем, и охраняет это пустое, мертвое поле.

Она умолкла и провела в воздухе рукой, изображая холм и твердыню; мне пришло на ум, что она уже рассказывала эту историю много раз — возможно, своим детям. И я понял, что она уже в том возрасте, когда ее дети достаточно подросли и успели неоднократно выслушать эту и другие сказки. Годы не оставили следов на ее гладком чувственном лице; но искра юности, столь лучезарная в Доркас и озарявшая ровным неземным светом даже Иоленту, щедрый и неиссякаемый источник силы для Теклы, огонек, осветивший туманные тропинки некрополя, когда ее сестра Теа взяла у могилы пистолет Водалуса, — эта искра угасла в ней так давно, что от былого ореола не осталось и следа. Мне стало жаль ее.

— Тебе, должно быть, известно, как люди древней расы достигли звезд и как они продали за

бесценок все, что было в них от дикой природы, за эту возможность: они стали безразличны к вкусу прохладного ветра, утратили способность любить и желать, разучились петь старые песни и слагать новые — вообще растеряли многие животные свойства, которые, по их мнению, они вынесли с собой из влажных лесов на заре времени, хотя, на самом деле, как говорил мне дядя, только благодаря этим свойствам они и смогли покинуть леса. И ты наверняка знаешь, должен знать, что те, кому они продали все это, были творениями их же собственных рук и всем сердцем ненавидели их. Да, у них были сердца, хотя их создатели никогда с этим не считались. Как бы то ни было, они решили погубить сотворившее их человечество, что и сделали, возвратив, когда люди расселились по тысячам солнц, все, что им было оставлено. Это по меньшей мере тебе должно быть известно. Мне рассказал обо всем дядя, как я сейчас рассказала тебе; сам же он нашел эти и многие другие сведения в одной из книг своей коллекции. Он считает, что эту книгу столетиями никто не раскрывал.

Но как именно они это сделали, известно хуже. Помню, в детстве я воображала злые машины: они копали и копали, ночь за ночью, пока на-

конец не удалили сплетенные корни старых деревьев, и тут показался железный ларец, зарытый ими, когда мир был еще очень молод; и когда они сбили с того ларца замок, все вещи, о которых мы сейчас говорили, вылетели наружу, подобно рою золотых пчел. Глупо, конечно, но я и сейчас не смогу представить, какой была подлинная сущность тех мыслящих механизмов.

Я вспомнил Иону и его поясницу в том месте, где вместо человеческой кожи блестел металл, но я и вообразить не мог, чтобы он был способен выпустить чуму на погибель человечеству, и покачал головой.

— Но мой дядя говорил, что в его книге все подробно объяснено; те вещи, которым они дали свободу, явились не роем насекомых, но потоком разнообразных артефактов, созданных с расчетом возродить заложенные в них когда-то людьми идеи, которые было невозможно зашифровать цифрами. В руках этих машин оказалось все — начиная от строительства зданий и кончая производством пирожных с кремом; на протяжении тысяч поколений они строили города-механизмы, потом принялись за строительство городов, напоминающих скопление туч перед грозой, и других — похожих на скелеты драконов.

— Когда это было? — спросил я.

— Очень много лет назад — задолго до того, как был заложен первый камень Нессуса.

Я обнял ее за плечи, она положила руку на мое колено; ее Рука была горяча и беспокойна.

— Что бы они ни делали, они во всем следовали единому принципу. В образцах мебели, в покрое одежды. И, поскольку вожди, некогда считавшие, что людям следует пренебрегать идеями, выраженными в одежде, мебели и градостроительстве, давным-давно умерли, а их лица и учение забылись, люди обрадовались новым вещам. Так прекратила существование империя, построенная единственно на порядке.

— Но, — продолжала Кириака, — хотя империя и развалилась, общества умирали медленной смертью. Прежде всего, не желая, чтобы вещи, возвращаемые людям, снова оказались ими отвергнутыми, машины задумали устроить пышные празднества и фантасмагории, которые вдохновили бы зрителей на мечтания о богатстве, мести или незримых мирах. Позже они приставили к каждому человеку невидимого глазу спутника-советчика. Дети уже давно имели таких.

Силы машин продолжали иссякать — такова

была их воля, — и они уже не могли поддерживать эти иллюзии в сознании своих владельцев; строить города они тоже не могли, ибо и те, что еще оставались, почти опустели.

Они достигли предела и, как говорил дядя, ожидали, что люди восстанут против них и разрушат. Однако ничего подобного не произошло, потому что к этому времени люди, которые ранее презирали их, как рабов, или молились на них, как на демонов, глубоко полюбили их.

Тогда они созвали самых преданных и на протяжении многих лет передавали им все накопленные знания; спустя некоторое время они умерли.

И тогда избранные приверженцы, собравшись, держали совет, как сохранить их учение, ибо знали, что никогда больше подобная цивилизация не придет на Урс. Но между ними разгорелись жаркие споры. Их обучение было раздельным: каждый, будь то мужчина или женщина, слушал свою машину, словно в мире, кроме них двоих, никого не существовало. И, поскольку знаний было так много, а учеников так мало, машины передали каждому различные сведения.

Тогда ученики начали делиться на группы, но и в них не было единства, и наконец каждый

оказался в одиночестве, не способный понять прочих и сам непонятый и отвергнутый. И они разошлись в разные стороны: кто подальше от городов, некогда населенных машинами, кто, наоборот, заперся в городских стенах, но лишь немногие остались во дворцах погибших машин, чтобы бдеть над их останками…

Нам поднесли чаши с вином, чистым и прозрачным, как вода, и столь же невозмутимым, пока неосторожное движение не растревожит его. Оно распространяло аромат цветов, такой тонкий, что уловить его способен лишь человек, лишенный зрения; пьющий его набирался необычайной силы. Кириака нетерпеливо схватила чашу и, осушив ее, швырнула в угол.

— Расскажи мне еще об утраченных архивах, — попросил я.

— Когда последняя машина замерла и остыла, а те, кто учился у них отвергнутым людьми, запретным наукам, разошлись, покинув друг друга, в сердце каждого из них поселился ужас. Ибо все они знали, что смертны и давно не молоды. И каждый понимал, что с его смертью знания, трепетно лелеемые им всю жизнь, тоже умрут. И вот каждый, кому пришла такая мысль, считая себя неповторимым, взялся записать то, чему

научился за долгие годы, — тайные знания о дикой природе, открытые им машинами. Много сведений было безвозвратно утеряно, но большая их часть сохранена; кое-что прошло через руки переписчиков, то оживлявших тексты собственными вставками, то губивших все различными упущениями… Поцелуй меня, Северьян.

Моя маска мешала, но все же наши губы встретились. Когда Кириака подалась назад, во мне всколыхнулись смутные воспоминания о давних любовных интрижках Теклы, разыгрываемых за потайными дверьми и в скрытых от глаз будуарах Обители Абсолюта, и я прошептал:

— Чтобы так шутить, надо быть уверенной во всецелом внимании мужчины. Кириака улыбнулась.

— Для этого я и попросила — хотела знать, слушаешь ли ты меня. Итак, на протяжении многих лет — сколько их миновало, я думаю, теперь уже не знает никто, ведь до заката солнца оставалось еще очень много времени, и годы были длиннее, — эти записи переходили из одних рук в другие или ветшали в сенотафиях, куда авторы упрятали их для пущей сохранности. Они содержали отрывочные, противоречивые, но доступные всякому уму сведения. Но пришел день, когда некий

автарх (правда, тогда правителей не называли автархами) возжелал такой же власти, какая была при первой империи; его слуги, одетые в белое люди, собрали эти записи; они перевернули чердаки и низвергли андросфинксов, воздвигнутых в память о машинах, вторглись в гробницы давно умерших женщин. Добычу собрали в огромную кучу и свезли для сожжения в Нессус, тогда еще совсем недавно отстроенный.

Однако в ночь перед сожжением автарху, до сих пор грезившему лишь наяву и только о власти, наконец приснился сон. Ему привиделось, как из его рук навсегда утекают неукротимые царства жизни и смерти, камней и потоков, лесов и зверей.

Наутро он отдал приказ не зажигать факелы, но возвести хранилище и поместить туда все свитки и фолианты, что были собраны слугами в белых одеждах. Ибо, надеялся он, если новая, задуманная им империя отринет его, он удалится под своды этого хранилища и вступит в миры, которые, в подражание предшественникам, некогда презирал.

Империя отринула его, иначе и быть не могло. Нельзя искать в будущем прошлого, там его нет и не будет, пока метафизический мир, кото-

рый гораздо обширнее и неспешнее нашего, не завершит свой кругооборот и не явится Новое Солнце. Но стать затворником этого хранилища, удалиться за крепостные стены, возведенные по его повелению, ему было не суждено, ибо стоило людям однажды пренебречь первозданным, оно навсегда отвернулось от них, и обрести его вновь невозможно.

Однако говорят, будто, прежде чем наложить печать на свое собрание, автарх поставил стража охранять его. Когда время, отпущенное на Урсе этому стражу, истекло, он нашел следующего, потом еще одного, и все они преданно служат своему автарху, ибо вскормлены среди первозданных идей, почерпнутых из сбереженного машинами знания, и эта преданность — одна из них.

Пока она говорила, я раздевал ее и целовал ее грудь; но все же спросил:

— Значит, все эти идеи покинули мир, когда автарх запер их у себя? Не мог ли я что-нибудь слышать о них?

— Нет, они не ушли из мира вовсе, потому что слишком долгое время передавались от человека к человеку и вошли в плоть и кровь всех людей. Кроме того, говорят, страж иногда выпускает их,

и, пусть они каждый раз, рано или поздно, возвращаются обратно, ими успевает проникнуться хотя бы один человек, прежде чем они снова потонут во тьме.

— Это замечательная история; но я, пожалуй, знаю о ней больше тебя, хоть слышать ее мне и не приходилось, — сказал я.

У нее были длинные ноги, плавно сужающиеся от мягких шелковистых бедер к стройным лодыжкам. Ее тело было поистине создано для наслаждений.

Пальцы ее коснулись пряжки, скрепляющей плащ на моих плечах.

— Тебе необходимо снимать это? — пробормотала она. — Может, его хватит, чтобы накрыть нас?

— Да.

7. СОБЛАЗНЫ

Волна наслаждения захлестнула меня, грозя потопить. Я не любил Кириаку так, как некогда любил Теклу и как сейчас любил Доркас, в ней не было красоты Иоленты, и все же я испытывал к ней нежность — отчасти потому, что вино взволновало меня, но и сама она принадлежала к типу женщин, о которых я оборванным мальчишкой мечтал в Башне Сообразности еще до того, как, стоя у края открытой могилы, увидел сердцеобразное лицо Теа; и об искусстве любви она знала гораздо больше тех троих.

Поднявшись, мы пошли омыться к серебряному бассейну с фонтаном. Там были две женщины — как и мы, предававшиеся любовным утехам; заметив нас, они расхохотались, но, когда поняли, что я не стану их щадить только потому, что они женщины, с визгом убежали.

Мы омыли друг друга. Я знаю, Кириака была уверена, что я тут же покину ее, как и я не сомневался в ее поспешном уходе. Однако этого не произошло (хотя, возможно, нам было бы лучше расстаться); мы вышли в маленький тихий сад,

напоенный ночной темнотой, и остановились у одиноко стоящего фонтана.

Мы держались за руки, словно дети.

— Тебе приходилось бывать в Обители Абсолюта? — спросила она, устремив взгляд на наши отражения в пронизанной лунными лучами воде. Ее голос звучал так тихо, что я едва расслышал вопрос.

Я ответил утвердительно, и ее рука сжала мою.

— Ты посещал Кладезь Орхидей?

Я покачал головой.

— Я тоже была в Обители Абсолюта, но никогда не видела Кладези Орхидей. Говорят, когда Автарх вступает в брак — что у нас не принято, — двор его супруги размещается именно там, в красивейшем месте на свете. Даже сейчас туда допускают лишь самых прекрасных. Когда мы были в Обители — мой господин и я, — мы занимали маленькую комнатку, подобавшую нашему рангу. Однажды вечером, когда я была одна и не знала, где мой господин, я вышла в коридор; пока я осматривалась, показался какой-то высокопоставленный придворный. Ни имя его, ни звание не были мне известны, но все же я остановила его и осведомилась, нельзя ли мне пройти в Кладезь Орхидей.

Кириака умолкла; несколько мгновений была слышна только музыка, доносившаяся из павильонов, и журчание воды.

— Он остановился и посмотрел на меня, как мне показалось, с удивлением. Тебе неизвестно, каково жене простого армигера из северной провинции, одетой в сшитое собственной прислугой платье, в отставших от столичной моды украшениях под взглядом человека, всю жизнь прожившего среди экзультантов Обители Абсолюта. Потом он улыбнулся.

Она крепко вцепилась в мою руку.

— И сказал, что идти надо по такому-то коридору, свернуть у такой-то статуи, подняться по такой-то лестнице и следовать дальше по дорожке из слоновой кости. О, Северьян, возлюбленный мой!

Ее лицо светилось, как сама луна. Я понимал, что она рассказывает о самом ярком и значительном событии своей жизни, а любовь, которую я ей подарил, имела ценность лишь постольку, поскольку напомнила тот день, когда ее красоте воздал должное некто, имевший, по ее мнению, право судить и при этом не пожелавший ее. Разум подсказывал, что мне следовало оскорбиться, но я не испытывал негодования.

— Он удалился, и я отправилась по указанному пути; пройдя шагов десять или двадцать, я встретила моего господина, и он приказал мне вернуться в нашу комнатку.

— Понимаю, — кивнул я и поправил меч.

— Надеюсь. Мне ведь не следовало предавать его? Как ты думаешь?

— Это не мне решать.

— Все осуждают меня… все друзья… любовники, из которых ты не первый и не последний; даже эти женщины вокруг.

— Мы с детства приучены не судить, мы только приводим в исполнение приговоры Содружества. Я не стану судить ни тебя, ни его.

— А я сужу, — прошептала она и обратила лицо к пронзительно ярким звездам. Я только сейчас понял, почему, заметив ее в маскарадной толпе, принял за отшельницу ордена, в одежды которого она нарядилась. — Или хочу себя уверить, что сужу. И обвиняю себя, но не могу остановиться. Мне кажется, я притягиваю мужчин, подобных тебе. Скажи, тебя ведь потянуло ко мне? Хотя я знаю, у тебя были женщины красивее меня.

— Я не уверен, — ответил я. — По дороге сюда, в Тракс…

— Значит, и в твоей жизни была история? Рас-

скажи мне, Северьян. Ты уже знаешь чуть ли не единственное значительное событие моей жизни.

— По дороге сюда мы — я не буду сейчас называть моих спутников — повстречали ведьму; с нею были ее прислужница и клиент. Она явилась в одно заповедное место, чтобы вдохнуть душу в тело давно умершего человека.

— Вот как? — Глаза Кириаки загорелись. — Удивительно! Я слышала, что такое бывает, но сама не видела ни одной ведьмы. Расскажи, расскажи мне все, но смотри, это должна быть чистая правда!

— Но мне особенно нечего рассказывать. Наш путь пролегал через заброшенный город, и, заметив костер, мы направились к нему, ибо один из нас был болен. Когда ведьма оживила того человека, я поначалу решил, что она собиралась восстановить весь город. И лишь спустя несколько дней я понял…

Оказалось, я не могу объяснить, что же именно тогда понял; в сущности, это был смысловой уровень, который не властен выразить наш язык, та ступень, которую мы с радостью сочли бы несуществующей, несмотря на постоянное стремление к ней в наших мыслях, постоянно

обуздываемое натренированным разумом.

— Продолжай.

— Это, конечно, нельзя назвать пониманием. Я по сей день размышляю, но понять не могу. Но я почему-то знаю, что, в то время как она возвращала его к жизни, он притягивал за собой каменный город, все свое окружение. Порой мне кажется, что город был реален лишь настолько, насколько реален был тот человек, и, когда мы проезжали по мостовым среди шершавых каменных стен, мы на самом деле ехали меж его костей.

— И он действительно возродился? — воскликнула она. — Скажи скорее!

— Да, он вернулся. Но как только это свершилось, умерли клиент и та больная женщина, что была с нами. Апу-Пунхау — так звали мертвеца — снова покинул мир. Ведьмы разбежались или, может быть, разлетелись. Но я о другом хотел сказать. Весь следующий день мы шли пешком и остановились на ночлег в хижине бедняков. В ту ночь, пока моя спутница спала, я беседовал с человеком, который многое знал о каменном городе, хотя его настоящее название было ему неизвестно. И с его матерью я также беседовал; очевидно, она знала больше, чем он, но не захотела рассказывать мне всего.

Я умолк, обуреваемый сомнениями; мне было трудно говорить с этой женщиной о подобных вещах.

— Сначала я предположил, что эта семья ведет свой род из каменного города. Но они сказали, что город был разрушен задолго до появления в тех местах их народа. И все же им было известно немало его обычаев: тот бедняк еще мальчиком ходил туда искать сокровища, хотя, по его словам, ему никогда не удавалось что-либо найти, кроме осколков камней и посуды да следов пребывания других кладоискателей, наведывавшихся в город задолго до него.

«В стародавние времена, — рассказывала его мать, — люди верили, что можно выманить из земли золотые клады, если зарыть несколько своих монет и произнести какое-то заклинание. Многие зарывали, а потом забывали место или что-то мешало им вернуться и откопать свои деньги. Эти-то монеты мой сын и находит. На них мы и живем».

Я хорошо помнил ту ночь и старуху, ветхую и скрюченную; она сидела у торфяного костра и грела руки. Может быть, она напоминала мне одну из старых нянек Теклы, ибо что-то в ней разбередило мою память; впервые после нашего с

Ионой заключения в Обители Абсолюта я так живо ощутил Теклу в своем сознании, что, взглянув случайно на свои руки, был удивлен толщиной пальцев, смуглым оттенком кожи и отсутствием кандалов.

— Продолжай, Северьян, — повторила Кириака.

— Затем старуха рассказала, что было в мертвом городе нечто притягивающее к нему ему подобных. «Ты ведь слышал истории о колдунах-некромантах, которые охотятся за душами мертвецов. А знаешь ли, что среди самих мертвецов встречаются вивиманты, привлекающие живых, чтобы снова обрести жизнь? В каменном городе есть один такой; однажды или дважды в сарос тот, кого он к себе вызывает, приходит к нам ужинать». Она обратилась к своему сыну: «Ты наверняка помнишь того молчуна, что заснул подле своего посоха. Ты был тогда совсем мальчишкой, но вряд ли забыл его. Этот пока последний». И я понял, что и меня призвал к себе вивимант Апу-Пунхау, хотя я ничего и не почувствовал.

Кириака бросила на меня косой взгляд.

— Так что же, я, по-твоему, мертва? Ты это хочешь сказать? Ты же сам говорил, что там была

ведьма-некромантка, а ты просто случайно набрел на ее костер. Я думаю, ты сам был колдуном, больная — твоей клиенткой, а женщина, о которой ты говорил, — прислужницей.

— Это оттого, что я опустил в своем рассказе все важные подробности, — заметил я. Я чуть не расхохотался, когда она сочла меня колдуном; но Коготь впился мне в грудь, напоминая, что благодаря его могуществу, украденному мною, я обладал силою колдуна, не владея, однако, соответствующим знанием; и я понял — это «понимание» было того же порядка, что и раньше, — что, хотя Апу-Пунхау притянул камень к себе, но забрать его у меня не смог (или не захотел).

— Самое важное, — продолжал я, — когда призрак исчез, в грязи осталась лежать алая накидка с капюшоном — такая, как сейчас на тебе. Она у меня в ташке. Разве Пелерины балуются некромантией?

Ответа я так и не дождался, ибо, не успел я закончить свою речь, как на узкой тропинке, ведущей к фонтану, возникла рослая фигура архона. Он был в маске и костюме пса-оборотня, и, встреть его при ярком свете, я не узнал бы его; но густые сумерки сада с легкостью, словно руки человека, сорвали с него маску, и я, лишь только

заметил его высокий силуэт и походку, тотчас понял, кто перед нами.

— Ага, так ты ее нашел, — произнес он. — Мне следовало опередить тебя.

— Я так и думал, — ответил я. — Но до этой минуты еще сомневался.

8. НА СКАЛЕ

Я покинул палаты через ворота, обращенные к берегу. Их охраняло шестеро воинов, в облике которых не было и следа вялой безмятежности, присущей тем двоим, что я видел на речной стороне всего несколько стражей назад. Один из них, учтиво, но непреклонно заступая мне путь, осведомился, действительно ли мне необходимо уходить так рано. Я назвал себя и ответил, что, к сожалению, это и вправду необходимо: у меня еще остается работа на ночь (это была правда), да и завтра мне предстоит трудный день (и здесь я отнюдь не лгал).

— Да ты герой. — Голос стражника звучал несколько дружелюбнее. — Но разве ты без охраны, ликтор?

— Со мной было двое сопровождающих, но я их отпустил. Я и сам вполне смогу найти дорогу к Винкуле.

Другой стражник, молчавший до сих пор, обратился ко мне:

— Ты мог бы остаться в палатах до утра. Тебе найдут покои, где ты хорошо отдохнешь.

— Да, но тогда я не закончу работу. Боюсь, мне все же придется уйти.

Воин, заслонявший мне путь, отступил.

— Я, пожалуй, пошлю с тобой двоих. Если бы ты согласился подождать, я бы мигом все устроил. Мне только необходимо получить разрешение начальника стражи.

— Не беспокойся, — сказал я и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. В городе явно что-то происходило — возможно, снова объявился убийца, о котором предупреждал мой сержант; я почти не сомневался, что, пока я пребывал в палатах архона, разыгралась новая трагедия. Эта мысль привела меня в приятное волнение — я, конечно, был не так глуп, чтобы воображать себя неуязвимым против любого нападения, но сама возможность нападения, смертельный риск, которому я подвергал себя в ту ночь на темных улицах Тракса, не давали мне впасть в уныние, что при иных обстоятельствах вполне могло произойти. Неясная угроза, безликая опасность, притаившаяся в ночи, была самым ранним из моих детских страхов; и теперь, когда все они давно изжиты, в моем взрослом сознании сохранилось лишь ощущение уюта от всего детского.

Я уже шел по тому берегу реки, где днем набрел

на нищую лачугу, и лодка была мне не нужна; но улицы казались незнакомыми и в темноте напоминали лабиринт, специально созданный, чтобы свести меня с ума. Я несколько раз сворачивал не туда, прежде чем нашел нужную мне узкую улочку, ведущую к вершине скалы.

Дома по обе ее стороны, такие молчаливые в ожидании, чтобы громадная каменная стена поднялась и закрыла собою солнце, наполнились теперь журчанием голосов, многие окна озарились изнутри неровным пламенем сальных светильников. Пока Абдиес пировал в своих палатах у самой реки, его смиренные подданные на горных склонах тоже веселились, с тою лишь разницей, что в их празднествах размаху было поменьше. Я слышал вздохи и стоны любовников, как слышал их и в саду, когда в последний раз оставил Кириаку, приглушенные разговоры мужчин и женщин, взрывы хохота. Дворцовый сад полнился ароматами цветов, воздух там был свеж благодаря многочисленным фонтанам и могучим холодным водам Ациса. Здесь же от этих приятных запахов не осталось и следа; ветер, разгуливая меж лачуг из глины и хвороста и пещер с заткнутыми ртами, приносил то зловоние экскрементов, то запах свежезаваренного чая

и нехитрой похлебки и лишь изредка чистый горный воздух.

Забравшись высоко на скалу, где жилища освещались только огнем очага, я обернулся и взглянул на город подобно тому, как днем осматривал его с крепостных высот Замка Копья, однако видел его совершенно иными глазами. Говорят, в горах есть расщелины столь глубокие, что со дна их видны звезды, и, следовательно, расщелины эти пронизывают весь мир насквозь. И вот, как мне казалось, я нашел такую. Я словно всматривался в некое созвездие, будто Урс умчался прочь, и я остался один посреди звездной бездны.

В палатах меня, вероятно, уже хватились. Я представил, как по пустынным улицам рыщут димархии архона, может быть, даже с факелами, наспех подхваченными в саду. Гораздо больше беспокоила мысль об отпущенных мною латниках из Винкулы, которые до сих пор слонялись где-то по городу. Однако никаких движущихся огней я не видел, и до меня не доносились грубые окрики; если в Винкуле и была тревога, то сумрачные улицы, паутиной опутавшие склон противоположного берега, оставались к ней совершенно безучастны. Если бы открыли главные

ворота, чтобы выпустить поднятых по тревоге стражников, я бы увидел на их месте вспышку света, потом темноту и снова вспышку; но ничего такого я не заметил. Наконец я повернулся и отправился выше по крутой улице. Тревогу еще не объявили. Но ждать оставалось недолго.

В бедняцкой лачуге было темно; ни единый звук не нарушал тишины. Я достал из мешочка Коготь еще у двери, опасаясь, что, когда войду, у меня не хватит духу. Иногда он сверкал, подобно фейерверку, — так было на постоялом дворе в Сальтусе. Порой света от него было не больше, чем от осколка стекла. Той ночью блеск его не был ярок; но от него исходила такая глубокая синева, что казалось, это сама темнота, очищаясь, преображалась в свечение. Среди имен Миротворца есть одно, редко употребляемое; значение его всегда оставалось для меня загадкой: Черное Солнце. В ту ночь я почувствовал, что почти приблизился к постижению его смысла. Я не мог зажать камень в пальцах, как часто делал прежде и впоследствии; я положил его на ладонь правой руки, чтобы не осквернить его касанием больше, чем того требовала необходимость. Держа его так перед собой, я нагнулся и вошел в лачугу.

Девушка лежала на том же месте, где я видел

ее днем. Если она и дышала, я не слышал ее дыхания. Она не шевелилась. Мальчик с больным глазом спал в ее ногах на голой земле. Очевидно, на те деньги, что я ему подал, он купил еды: всюду на полу были разбросаны кожура и кукурузные листья. На миг я замер в надежде, что никто из них не проснется.

В таинственном сиянии Когтя девушка казалась еще более больной и страшной, чем днем: оно лишь подчеркивало ее запавшие глаза и ввалившиеся щеки. Наверное, я должен был что-то сказать, вызвать Предвечного и его посланников неким заклинанием, но губы мои пересохли, и я оказался нем, словно бессловесная тварь. Я медленно опустил к ней руку, пока тень от нее не заслонила весь падавший на девушку свет. Затем я поднял руку, но ничего не изменилось; я вспомнил, что Коготь не помог Иоленте, и задумался, распространяется ли вообще его сила на женщин или, может быть, необходимо, чтобы женщина сама взяла его в ладони? Затем я коснулся им лба девушки, и долю секунды камень казался третьим глазом на этом жутком, осененном смертью лице.

Результат ошеломил меня: сколько я прежде ни применял Коготь, я никогда не был так уверен,

что полученный эффект не есть следствие какого-нибудь неожиданного совпадения. Вполне могло оказаться, что обезьяночеловек остановил кровотечение силою собственной веры, улан на дороге около Обители Абсолюта был просто оглушен и пришел бы в чувство без моей помощи; наконец, то, что я принял за исцеление ран Ионы, возможно, было лишь обманчивой игрой света.

Но сейчас словно некая непостижимая сила вторглась между двумя хронами и сбила вселенную с пути. Глаза девушки, темные, как озера, распахнулись; ошибки быть не могло. Ее лицо уже не было, как прежде, мертвой маской, но обернулось изможденным лицом молодой женщины.

— Кто ты, господин в ясных одеждах? — спросила она и вздохнула: — О нет, это мне снится.

Я сказал, что бояться нечего, ибо я — друг.

— Я не боюсь, — покачала головой девушка. — Если бы я не спала, я бы испугалась, но ведь я сплю. Ты словно сошел с неба, но я знаю, ты всего лишь крыло бедной птички. Это Йадер тебя поймал? Спой мне песенку…

Ее глаза снова сомкнулись, но теперь я слышал ее мерное дыхание. Лицо ее не изменилось, оно оставалось таким же худым и измученным, толь-

ко печать смерти стерлась.

Я снял камень с ее чела и коснулся им лба мальчика, как только что коснулся его сестры; однако в этом не было необходимости. Глаз оказался здоровым еще до того, как камень осенил его своим поцелуем, — возможно, он уже успел победить заразу. Мальчик пошевелился и что-то прокричал, словно во сне бежал впереди ватаги других мальчишек и криком увлекал отставших за собой.

Я спрятал Коготь обратно в мешочек, сел на земляной пол среди кожуры и листьев и прислушался. Через некоторое время он успокоился. Звезды высвечивали у самой двери мутное пятно; внутри хижины стояла кромешная тьма. Я слышал ровное дыхание девушки и посапывание ее брата.

Она сказала, что я — я, не снимавший угольно-черной мантии с того дня, как был произведен в подмастерья, и серых отрепьев до этого, — облачен в ясные одежды. Ее, конечно, ослепило сияние камня; все, на что бы она ни посмотрела, любая одежда показалась бы ей сверкающей. И все же, чувствовал я, она в известном смысле была права. Я чуть было не написал, что с тех пор возненавидел свой плащ, штаны и сапоги, — нет,

это не так; скорее я теперь видел в них маскарадное одеяние, таковым и воспринимавшееся в палатах архона, или костюм, в котором я участвовал в пьесе доктора Талоса. Даже палач остается человеком, а для человека неестественно всегда одеваться в один и тот же цвет — темнее самой черноты. Я презирал себя за лицемерие, когда надел коричневую накидку в лавке Агилюса; но, возможно, угольно-черные одежды под ним были лицемерием еще большим.

Наконец ростки правды начали пробиваться в моем сознании. Если я и был когда-нибудь палачом, в том смысле, в каком палачами были мастер Гурло или даже мастер Палаэмон, с этим покончено. Здесь, в Траксе, мне представилась еще одна возможность. Я и во второй раз не оправдал ожиданий, и третьего шанса не будет. Благодаря своему облачению и мастерству я еще мог рассчитывать на работу, но не более того. Я не сомневался, что лучше всего мне при первом же удобном случае вовсе от них отказаться и поискать себе места среди солдат, сражавшихся на севере, — как только возвращу Коготь.

Мальчик заворочался и позвал кого-то по имени — вероятно, сестру. Она, не просыпаясь, пробормотала что-то в ответ. Я поднялся и, взгля-

нув на них еще раз, выскользнул из хижины, опасаясь, как бы мое суровое лицо и длинный меч не напугали их.

9. САЛАМАНДРА

Звезды засияли для меня ярче, и Коготь впервые за много недель отпустил мою грудь.

Я спускался по узкой тропинке, и теперь, чтобы увидеть город, не нужно было ни останавливаться, ни оглядываться. Он раскинулся передо мной как на ладони, мерцая тысячами огней, от сигнального костра на Замке Копья до окон караульных помещений, отраженных в рвущемся через Капулюс потоке.

К этому часу все ворота были для меня уже закрыты. Если димархии архона еще не высыпали на городские улицы, они, несомненно, будут там прежде, чем я доберусь до берега реки; однако я решил не покидать города, не повидавшись с Доркас, и почему-то был уверен, что мне это удастся. Я было принялся изобретать план бегства, поскольку мне предстояло пройти через охрану крепостной стены, как вдруг заметил вспыхнувший далеко внизу новый огонь.

На расстоянии он казался совсем крошечным, не больше булавочной головки, и все же он не был похож на прочие; в моем сознании он запечат-

лелся как огонек лишь потому, что соотнести его было больше не с чем. Однажды мне пришлось видеть мощный пистолетный выстрел — той ночью в некрополе, когда Водалус поднимал из могилы мертвую женщину, — насыщенный поток энергии подобно молнии, расколовший сумрак. Огонь, который я видел сейчас, был иным, и все же память моя сближала их. На краткий миг он вспыхнул и угас, и, не успел я дождаться следующего удара сердца, как жаркая волна хлынула мне в лицо.

В темноте я не смог отыскать постоялый двор «Утиное гнездышко». Может быть, я свернул не на ту улицу, а может, просто прошел мимо забранных ставнями окон и не заметил над головой вывески — не знаю. Как бы то ни было, вскоре я очутился гораздо дальше от реки, чем мне следовало: я шагал по улице, ведущей прямо в гору — во всяком случае, пока я по ней шел, — и мои ноздри разъедал запах горелого мяса, словно рядом клеймили скот. Я уже собирался повернуть назад, но в этот миг столкнулся с темноте с женщиной. Мы ударились друг о друга так неожиданно и сильно, что я чуть не упал, и, отлетая в сторону, услышал, как ее тело рухнуло на камни мостовой.

— Я не заметил тебя, — сказал я и протянул руку в ее сторону.

— Беги, беги! — задыхалась она. — Ох, помоги мне встать! — Ее голос показался мне знакомым.

— Почему я должен бежать? — Я поднял ее на ноги. В тусклом свете я едва мог разглядеть черты ее лица, как мне показалось, искаженные ужасом.

— Оно убило Юрмина. Он сгорел заживо. Когда мы его нашли, его посох еще догорал. Он… — Рыдания заглушили ее слова.

— Что сожгло Юрмина? — Она не отвечала. Я тряхнул ее за плечи, но она разрыдалась еще пуще. — Да я тебя знаю. Ты будешь наконец говорить, женщина? Ты хозяйка «Утиного гнездышка». Веди меня туда!

— Не могу, — всхлипывала она. — Я боюсь. Дай мне твою руку, сьер. Нам нельзя оставаться на улице.

— Прекрасно. Мы пойдем к «Утиному гнездышку». Оно, должно быть, недалеко — но что это?

— Слишком далеко! — стенала она. — Слишком далеко! Мы были не одни на улице. Не знаю, проглядел ли я приближение этого существа или оно незримо присутствовало все это время, только вдруг оно возникло рядом. Мне приходилось слы-

шать о людях, которые панически боятся крыс и чувствуют их присутствие в доме с момента появления, даже если самих крыс не видно. Похожее чувство овладело теперь и мной. Меня бросило в жар, но не согрело; и, хотя в воздухе отсутствовал какой-либо запах, я ощутил, как убывает из него животворящая сила.

Женщина как будто ничего не замечала.

— Прошлой ночью около арены оно сожгло троих, — говорила она, — а сегодня, недалеко от Винкулы, еще одного. А теперь вот и Юрмина. Оно кого-то ищет — так говорят.

Я припомнил ночниц и существо, шмыгнувшее вдоль стен вестибюля Обители Абсолюта, и сказал:

— Похоже, оно нашло, что искало.

Я отпустил женщину и принялся озираться по сторонам, пытаясь обнаружить его местонахождение. Жар усиливался, но света не было видно. Я потянулся за Когтем, чтобы осмотреться в его сиянии, но вовремя вспомнил, как в его присутствии пробудилось нечто спящее под шахтой, где жили обезьянолюди, и испугался, что существо — чем бы оно ни было — только обнаружит меня благодаря новому источнику света. Я также не был уверен, что мой меч не окажется столь же

бессилен против него, как против ночниц, когда мы с Ионой мчались от них через кедровые заросли; и все-таки Коготь я достал.

Почти тотчас раздался топот копыт и гиканье: не далее чем в ста шагах от меня из-за угла вылетели двое димархиев. Я даже не успел улыбнуться при мысли, сколь сильно они походили на образы, вызванные моей памятью. Яркое пламя их факелов высветило между нами нечто темное, свернувшееся кольцами у самой земли.

Оно обернулось на свет и стало разворачиваться, точно распускающийся цветок, увеличиваясь так стремительно, что взгляд не успевал следить за его ростом; оно становилось прозрачнее и наконец предстало существом с телом, подобным мерцающей вуали, жарким, однако же напоминающим рептилию, одну из тех пестроцветных змей из северных джунглей, которые так похожи на эмалевые игрушки, и все же они настоящие.

Лошади поднялись на дыбы и громко заржали; один из димархиев, более меня владевший собой, метнул копье прямо в сердце повернувшегося к нему чудовища. Тьму прорезал ослепительный всполох света.

Хозяйка «Утиного гнездышка» тяжело навалилась на меня, и я, не желая упустить ее, поддержал

женщину свободной рукой.

— Кажется, оно ищет живое тепло, — успокаивал я ее. — Оно наверняка последует за лошадьми, и мы убежим. Пока я говорил, существо оборотилось к нам. Я уже упоминал, что сзади, раскрываясь навстречу димархиям, оно походило на змеевидный цветок. Это впечатление сохранилось и теперь, когда чудовище предстало перед нами во всем своем пугающем великолепии, но к нему примешивались два других. Первым пришло ощущение сильнейшего, словно исходившего из иного мира зноя; существо оставалось рептилией, однако эта рептилия дышала неведомым на Урсе пламенем, будто привыкшая к жаркому солнцу пустынь змейка под снегопадом. Вторым — образ рваной, трепещущей на ветру плоти, однако ветер тот не был потоком воздуха. Существо по-прежнему напоминало цветок, но лепестки этого цветка — белые, бледно-желтые и пламенные — были искалечены неким жестоким ураганом, поднимавшимся из самого сердца чудовища.

Сильнее этих ощущений был вездесущий, всепроникающий, не поддающийся человеческому описанию ужас. Он выжал из меня все силы, лишил воли, и я был не в состоянии ни атаковать, ни

спасаться бегством. Чудовище и я словно застыли во временной матрице, где все, что было, и все, что будет, теряло смысл, где мы, ее единственные обитатели, стояли недвижимы, и потому всякие перемены исключались.

Внезапный крик разрушил чары. Второй отряд димархиев на полном скаку вылетел на улицу позади нас: увидав чудовище, они принялись нахлестывать коней, чтобы ринуться в атаку. Не успел я и глазом моргнуть, как они уже сгрудились вокруг нас, и только благодаря вмешательству Святой Катарины мы не оказались затоптаны в землю. Если я когда-нибудь и сомневался в отваге воинов Автарха, теперь все сомнения рассеялись — оба отряда накинулись на чудовище, как свора на матерого оленя.

Напрасно. Явилась ослепительная вспышка света, и нас обдало волной невыносимого жара. Не выпуская полумертвую от страха женщину, я бросился вниз по улице.

Я намеревался свернуть за угол, откуда появились димархии, но в панике (порожденной не только моим собственным страхом, это Текла кричала в моем сознании) я поторопился свернуть либо, напротив, пропустил поворот. Вместо ожидаемого крутого спуска в нижнюю часть

города я увидел перед собой тупик — дворик, приютившийся на выступающей из скалы плоской плите. Пока я сообразил, в чем моя ошибка, чудовище, будто стелющееся кольцами существо, источающее невидимую глазу страшную энергию, появилось у входа во дворик.

При свете звезд его можно было принять за скрюченного старика в черном, но никогда я не испытывал ужаса, равного тому, что ощутил при взгляде на него. В глубине дворика была хижина — побольше той лачуги, где ютились больная девушка и ее брат, но тоже построенная из глины и хвороста. Я ударил в дверь ногой и вбежал внутрь, в это муравьиное скопление гнусных комнатенок; я опрометью промчался из одной в другую, из другой в третью, где спали с полдюжины мужчин и женщин, потом в четвертую — и очутился у окна, откуда открывался вид на город, как из моей бойницы в Винкуле. Дальше пути не было; последняя комната в хижине нависала над обрывом, подобно ласточкину гнезду, и обрыв этот казался бездонным.

Из комнатушки, которую мы только что пробежали, доносились злые голоса разбуженных мною людей. Дверь распахнулась, но явившийся изгнать нарушителя спокойствия увидал, долж-

но быть, мерцание «Терминус Эст»; вошедший остановился как вкопанный, выругался и повернул назад. Через миг раздался чей-то вопль, и я понял, что огненное существо явилось в хижину.

Я было попытался поставить женщину на ноги, но она грузно повалилась на пол. За окном зияла пустота — оно было прорезано в сплетенной из прутьев стене всего в нескольких кубитах от пола, который ничем извне не поддерживался. Прогнившая соломенная крыша также была не надежней осенней паутинки. Пока я пытался ухватиться за нее, в комнатушку ворвался поток света, изгнал все краски, разбросал черные, как сажа, тени, подобные космическим дырам. И тут я понял, что должен вступить в бой и погибнуть, как димархии, или же выпрыгнуть из окна. Я повернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с явившимся убить меня чудовищем.

Оно все еще находилось в соседней комнате, но я видел его сквозь дверной проем — раскрывшимся, как тогда, на улице. Перед ним на каменном полу догорал труп какой-то жалкой старухи, и, пока я наблюдал за ними, оно склонялось над нею и, готов поклясться, исследовало останки. Труп пузырился и потрескивал, словно жир на сковородке, потом распался на части. Через миг

не осталось даже костей — они рассыпались бледным пеплом, а продвигавшееся чудовище развеяло и его.

Я считал, что еще никому не удавалось выковать лучшего клинка, чем «Терминус Эст», однако и он не смог бы противостоять силе, обратившей в бегство столь многочисленный отряд всадников; поэтому я отбросил его к стене, смутно надеясь, что когда-нибудь он отыщется и возвратится к мастеру Палаэмону, и достал из мешочка Коготь.

Коготь был моей последней слабой надеждой, и я сразу понял, что проиграл. Хотя этот мир был доступен только ощущениям чудовища (по его телодвижениям я догадался, что здесь, на Урсе, оно почти слепо), камень оно распознало сразу и не убоялось его. Его медленное наступление сменилось резким и целенаправленным броском вперед. Вот оно достигло дверей, раздался треск, поднялись клубы дыма, и оно пропало. Из дыры, которую оно прожгло в шатком полу, в том месте, где заканчивался каменный выступ, пробивался свет: сначала прозрачное свечение чудовища, потом быстрая смена переливчатых красок — пронзительно синего, лилового, розового. Наконец остался лишь слабый красноватый отсвет скачущих огненных язычков.

10. СВИНЕЦ

На миг мне показалось, что и я сейчас провалюсь в эту зияющую посреди комнатушки дыру и мне не суждено ни подобрать «Терминус Эст», ни отвести в безопасное место хозяйку «Утиного гнездышка», потом я почти уверился, что провалится все — и содрогающаяся комнатенка, и мы вместе с ней.

И все-таки нам удалось выбраться наружу. Когда мы выбежали на улицу, она была пуста — ни димархиев, ни горожан; солдаты, несомненно, погибли в огне, а люди тряслись от страха по домам. Женщина опиралась на мою руку; она не вполне оправилась от потрясения и была не способна отвечать на вопросы, тем не менее я позволил ей самой выбирать дорогу. Как я и предполагал, она без труда отыскала свой постоялый двор.

Доркас спала. Я не стал ее будить, а просто уселся в темноте на табурете у ее кровати рядом со столиком, где только и достало места, что для бутылки да стакана, которые я прихватил внизу в общей зале. Не знаю, что за вино было в бутылке, но, обжигая рот, оно опьяняло сильнее

воды. Когда Доркас проснулась, бутылка была наполовину пуста, а я чувствовал себя так, словно наелся шербета.

Доркас подалась вперед, но снова уронила голову на подушку.

— Это ты, Северьян. Впрочем, кто же еще?

— Я не хотел тебя пугать. Я только пришел тебя проведать.

— Ты очень добр. Мне кажется, так было всегда — я просыпаюсь, а ты сидишь, склонившись надо мной. — На минуту она снова закрыла глаза. — В этих сапогах на толстой подошве ты ступаешь очень тихо, ты знаешь об этом? Это одна из причин, почему люди тебя боятся.

— Ты говорила, что как-то раз я показался тебе похожим на вампира — когда ел гранат и перепачкал губы в соке. Помнишь, как мы тогда смеялись? (Это было в поле, за Стеной Нессуса; мы спали около театра доктора Талоса, а проснувшись, вдоволь полакомились фруктами, оставленными минувшей ночью нашими бежавшими в страхе зрителями.)

— Помню, — ответила Доркас. — Хочешь снова меня рассмешить? Боюсь, я уже никогда не смогу смеяться.

— Может, выпьешь вина? Оно досталось мне

бесплатно. Право же, оно недурно — я даже не ожидал.

— Чтобы развеселиться? Нет. По-моему, пить нужно тогда, когда тебе уже весело. Иначе найдешь в бокале лишь новую порцию тоски.

— Ну сделай хоть глоток. Хозяйка сказала, что тебе нездоровилось и ты весь день ничего не ела.

В темноте я увидел, как золотоволосая головка шевельнулась на подушке; Доркас повернулась и посмотрела на меня. Решив, что она вполне проснулась, я отважился зажечь свечу.

— Ты в своем обычном облачении. Наверное, напугал ее до смерти.

— Нет, она меня не боялась. Она из тех, кто наполняет свой бокал, не обращая внимания на содержимое бутылки.

— Она была очень внимательна ко мне и очень добра. Не сердись на нее, если она предпочитает пить в столь поздний час.

— Я вовсе не был с ней суров. Но, может быть, ты все таки поешь? В кухне наверняка найдется еда, скажи только, чего бы тебе хотелось, и я тебе принесу.

Мои слова вызвали у Доркас слабую улыбку.

— Напротив, пищу из меня сегодня весь день

выносило, хотела я того или нет. Именно это хозяйка и имела в виду, когда сказала, что мне нездоровилось. Ты уже знаешь? Меня тошнило. Запах наверняка еще держится, хотя бедняжка так старалась, вытирала за мной.

Доркас умолкла, принюхиваясь.

— Чем это пахнет? Паленой тканью? Это, должно быть, от свечи, но твоим огромным мечом фитиль все равно не подрезать.

— Это, наверное, от плаща, — сказал я. — Я стоял слишком близко к огню.

— Я хотела попросить тебя открыть окно, но, вижу, оно уже открыто. Тебе не мешает? В комнате сквозняк, и пламя свечи пляшет. По стенам скачут тени. У тебя не кружится голова?

— Нет, — ответил я. — Если не смотреть на пламя, то не кружится.

— Судя по твоему лицу, у тебя сейчас такое же настроение, как у меня около воды.

— А сегодня днем я нашел тебя у реки, на самом берегу.

— Я помню, — прошептала Доркас и замолчала. Пауза тянулась так долго, что я начал опасаться, будет ли она вообще говорить и не вернулось ли к ней то болезненное безмолвие (а теперь я уверился, что именно так и было), которое охва-

тило ее днем.

Наконец я произнес:

— Я был очень удивлен, когда увидел тебя там; я долго вглядывался, все не мог поверить, что это ты, хотя искал именно тебя.

— Меня тошнило, Северьян, ведь я тебе говорила?

— Да.

— И знаешь, чем?

Она, не мигая, смотрела на низкий потолок, и у меня родилось ощущение, что существует другой Северьян, добрый, даже благородный, — он живет лишь в сознании Доркас. Я думаю, все мы, обращаясь к кому-то с самой задушевной беседой, на самом деле адресуем свои слова созданному нами образу человека, с которым, как нам кажется, мы разговариваем. Однако в этот раз все было гораздо серьезнее: Доркас, пожалуй, продолжала бы говорить, даже если бы я покинул комнату.

— Нет, — ответил я. — Водой?

— Грузилами.

Я решил, что это всего лишь метафора, и осторожно произнес:

— Наверное, было очень неприятно.

Она снова повернула голову на подушке, и теперь я уже мог разглядеть ее голубые глаза с

огромными, расширенными зрачками. Пустые, они напоминали двух маленьких призраков.

— Грузила, Северьян, дорогой мой. Маленькие, тяжелые кусочки металла, толщиной с орех и длиной с мой большой палец, и на каждом стоит клеймо: «улов». Они с грохотом вывалились из моей глотки в ведро, и я наклонилась, сунула руку в месиво, которое вышло вместе с ними, и вытащила их на свет. Женщина, хозяйка этого постоялого двора, унесла ведро, но я их обтерла и сохранила. Две штуки. Они сейчас в ящике стола. Хозяйка принесла стол, чтобы поставить на него обед. Хочешь взглянуть? Открой ящик.

Я никак не мог взять в толк, о чем она говорит, и спросил: не подозревает ли она, что кто-то хотел ее отравить?

— Нет, вовсе нет. Так ты не хочешь открыть ящик? Ты ведь такой смелый. Неужели не хочешь посмотреть?

— Я тебе верю. Если ты говоришь, что в ящике грузила, значит, так оно и есть.

— Но ты не веришь, что это я их выплюнула. Я не виню тебя. Есть предание об одной девушке, дочери охотника, которую благословил странствующий монах: когда она открывала рот, с ее губ сыпались гагатовые бусинки. А жена ее брата

похитила благословение, и, когда она говорила, с ее губ спрыгивали жабы. Я слышала эту историю, но никогда не верила.

— Но как можно выплевывать свинец? Доркас рассмеялась, однако в ее смехе не было ни тени веселья.

— Очень просто. Проще некуда. Знаешь, что я сегодня видела? Знаешь, почему не могла говорить, когда ты меня нашел? А я не могла, Северьян, клянусь тебе. Я знаю, ты решил, что я злилась и упрямилась. Но это неправда: я словно окаменела, лишилась дара речи, потому что все вокруг неожиданно показалось таким бессмысленным; я до сих пор не уверена, что в мире существует какой-нибудь смысл. Прости, что я сказала, будто в тебе нет смелости. Ты смелый, я знаю. Это только кажется, что нет, когда ты казнишь несчастных узников. Ты был так храбр, когда сражался с Агилюсом, и потом, когда собирался биться с Балдандерсом, потому что мы решили, будто он хотел убить Иоленту… Она снова замолчала, потом вздохнула.

— Ах, Северьян, я так устала!

— Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить, — сказал я. — Об узниках. Даже если ты не можешь меня простить, хотя бы пойми. Это моя

работа, я с детства был ей научен. — Я наклонился и взял ее руку в свою; рука была хрупка, как певчая птичка.

— Ты нечто подобное уже говорил. Я все понимаю. Правда.

— И я мог делать ее хорошо, вот чего ты никак не поймешь. Пытки и казнь суть искусства, а у меня есть чутье, талант, благословенный дар. Этот меч — и все орудия, которыми мы пользуемся, — они оживают в моих руках. Останься я в Цитадели, я мог бы стать мастером. Ты слушаешь меня, Доркас? Это хоть что-нибудь для тебя значит?

— Да, — ответила она. — Да, хотя немного. Но я хочу пить. Если ты сам больше не хочешь, налей мне, пожалуйста, этого вина.

Я исполнил ее просьбу, наполнив стакан не более чем на четверть из опасения, что она прольет вино на кровать.

Она привстала, хоть я совсем не был уверен, что ей это удастся, и, проглотив последнюю алую каплю, швырнула стакан в окно. Я услышал на улице звон осколков.

— Я не хочу, чтобы ты пил после меня, — сказала она. — А ты стал бы пить, не разбей я стакан, я знаю.

— Значит, ты считаешь, что твоей странной болезнью можно заразиться?

Она снова рассмеялась.

— Да, но ты уже заразился. От твоей матери. Смертью. Северьян, ты так и не спросил, что я сегодня видела.

11. ДЕСНИЦА ПРОШЛОГО

Как только Доркас произнесла: «Ты так и не спросил, что я сегодня видела», я вдруг понял, что все время уходил от этой темы. Мне заранее казалось, что это будет нечто совершенно бессмысленное для меня и исполненное глубокого смысла для Доркас, подобно тому как умалишенный видит в ходах червей под корой поваленных деревьев письмена потустороннего мира.

— Что бы это ни было, я думаю, тебе лучше забыть об этом.

— Безусловно, если бы только мы могли. Это было кресло.

— Кресло?

— Старое кресло. И стол, и еще другие вещи. По-моему, на улице Токарей есть лавка, где продают старую мебель эклектикам и тем автохтонам, которые достаточно приблизились к нашей культуре, чтобы интересоваться подобными вещами. Поскольку здесь негде взять мебель, чтобы удовлетворить спрос, хозяин с сыновьями два-три раза в год ездят в Нессус — в его южную часть, в заброшенные кварталы — и там нагружают свое

судно. Как видишь, я разговаривала с ним; я все узнала. Там десятки тысяч пустых домов. Некоторые давно разрушились, а некоторые до сих пор стоят, как их оставили хозяева. Большинство домов разорено, но все же в них порой находят серебро и драгоценности. И хотя мебели почти не осталось, кое-какие вещи хозяева, уезжая, бросили.

Почувствовав, что она вот-вот разрыдается, я склонился к ней и погладил по голове. Она бросила на меня взгляд, давая понять, что это ни к чему, и снова легла на кровать.

— Есть и такие, где вся обстановка сохранилась. Он сказал, что это самые лучшие дома. Он считает, что, когда квартал вымер, в нем все-таки осталось несколько семей или несколько одиноких жителей. Они были слишком стары, чтобы уехать, или слишком упрямы. Я размышляла над этим и уверена, что у многих в городе существовало что-то такое, что они не находили сил бросить. Например, чья-нибудь могила. И вот они заколотили окна, чтобы защитить дома от мародеров, а для собственной безопасности у них были собаки или еще что пострашнее. Но в конце концов удалились и они, а может, просто ушли из жизни, и их животные, пожрав трупы,

вырвались на свободу; но к тому времени город был уже пуст — не заглядывали даже грабители и старьевщики, пока не прибыл хозяин лавки с сыновьями.

— Старых кресел там, должно быть, полным-полно.

— Не таких, как это. Все в нем мне было так знакомо — форма резных ножек и даже рисунок древесины на ручках. Память оглушила меня. А потом, когда меня вырвало этими кусочками свинца, похожими на твердые жесткие семена, я все поняла. Помнишь, Северьян, как мы уходили из Ботанического сада? Ты, Агия и я — мы вышли из огромного стеклянного вивария, и ты нанял лодку, чтобы перевезти нас с острова на берег; вся речная гладь была покрыта ненюфарами — голубыми цветами с глянцевыми зелеными листьями. И семена у них точно такие — твердые, жесткие и темные; я слыхала, что они опускаются на дно Гьолла и лежат там веками до скончания света. Но стоит им случайно оказаться у поверхности, они дают ростки, даже самые старые из них, и цветы из тысячелетнего прошлого распускаются.

— Я тоже слыхал об этом, — кивнул я. — Но какое отношение это имеет к нам с тобой?

Доркас лежала неподвижно, но голос ее дрожал.

— Что за сила возвращает их к жизни? Ты можешь объяснить?

— Наверное, солнечный свет… хотя нет, я не могу объяснить.

— А у солнечного света нет другого источника, кроме солнца?

Теперь я понял, что у нее на уме, однако что-то во мне восстало против.

— Когда тот человек — Хильдегрин, которого мы второй раз встретили на надгробной плите в разрушенном городе, — перевозил нас через Птичье Озеро, он рассказывал о миллионах умерших людей, людей, чьи тела потонули в водах того озера. Но как же они могли утонуть, Северьян? Ведь тела легче воды. Их как-то утяжелили, но как? Я не знаю. А ты?

Я знал.

— Им в горло проталкивают свинцовую дробь.

— Я так и думала. — Ее голос был так слаб, что я едва слышал его даже в тишине маленькой комнатки. — Нет, я это знала. Поняла, когда увидела их.

— Ты думаешь, что это Коготь вернул тебя назад? Доркас кивнула.

— Нельзя не признать, что иногда он и впрямь действует. Но только когда я достаю его, да и то не всегда. Когда ты вытащила меня из воды в Саду Непробудного Сна, он лежал у меня в ташке, и я даже не знал, что он со мной.

— Северьян, ты однажды позволил мне подержать его. Можно мне еще раз на него взглянуть?

Я вынул Коготь из мягкого мешочка и поднял вверх. Синие лучи казались сонными, однако в центре его был хорошо заметен устрашающего вида крюк, из-за которого камень и получил свое имя. Доркас протянула к нему руку, но я покачал головой, памятуя, что сталось со стаканом.

— Ты боишься, я причиню ему зло? Не беспокойся. Это было бы святотатством.

— Если ты сама веришь в то, что говоришь, а я в этом не сомневаюсь, то должна ненавидеть его за свое избавление от…

— Смерти. — Она опять уставилась в потолок и улыбнулась, словно делила с ним некую сокровенную и нелепую тайну. — Ну же, скажи это слово. Тебе оно вреда не принесет.

— От сна, — сказал я. — Ведь если возможно вывести человека из этого состояния, это не смерть — не смерть, как мы всегда понимали ее, какой она рисуется в нашем сознании при слове

«смерть». Однако, признаюсь, я до сих пор с трудом верю, что Миротворец, которого уже многие тысячелетия нет в живых, может воскрешать других посредством этого камня.

Доркас не отвечала. Я даже не мог поручиться, что она слушала.

— Ты вспомнила Хильдегрина, — продолжал я, — и день, когда он перевез нас через озеро, чтобы сорвать аверн. А ты помнишь, что он сказал о смерти? Что она добрый друг птицам. Возможно, нам тогда следовало уяснить, что такая смерть не может быть смертью в нашем понимании.

— Если я скажу, что поверила твоим словам, ты дашь мне подержать Коготь?

Я снова покачал головой. Доркас не смотрела на меня, но она, должно быть, видела, как качнулась моя тень, а может быть, просто ее воображаемый Северьян на потолке тоже ответил отказом.

— Ты прав. Я бы разбила его, если б смогла. Сказать, во что я действительно верю? В то, что я была мертва, — не спала, а именно была мертва. И жила я давным-давно, в доме с маленькой лавочкой, с мужем и ребенком. А этот твой Миротворец, явившийся так много лет назад, был авантюристом из древнего племени, пережившим всемирную смерть. — Ее пальцы впились в

одеяло. — Ответь мне, Северьян, не назовут ли его Новым Солнцем, когда он явится снова? Похоже, что так и будет, правда? А еще я верю, что, когда он приходил, он принес с собой нечто, имеющее над временем такую же власть, какую, говорят, зеркала Отца Инира имеют над пространством. И это твой камень.

Она замолчала и, повернув голову, дерзко взглянула на меня; поскольку я не отвечал, она продолжала:

— Ты вернул к жизни улана, и это стало возможным потому, что Коготь прокрутил для него время назад, к тому моменту, когда он был еще жив. Ты почти залечил раны своего друга, и это удалось потому, что Коготь повернул время к тому моменту, когда они должны были почти зажить. А провалившись в болото в Саду Непробудного Сна, ты, наверное, коснулся или почти коснулся меня, и для меня наступило время, когда я еще жила, вот я и ожила снова. Но до этого я была мертва. Долго, долго мертва — сморщенный труп под бурыми водами. Во мне и сейчас есть что-то мертвое.

— Во всех нас постоянно присутствует что-то мертвое, — возразил я. — Хотя бы потому, что мы знаем — в один прекрасный день мы умрем. Во

всех, за исключением младенцев.

— Я хочу вернуться, Северьян. Теперь я это поняла и давно уже собираюсь втолковать тебе. Мне необходимо вернуться и выяснить, кто я, где жила и что со мной случилось. Ты, я знаю, не можешь пойти со мной…

Я кивнул.

— Я и не прошу. И даже не хочу, чтобы ты шел со мной. Я люблю тебя, но ты тоже смерть, только другая — смерть, которая была подле меня и стала мне другом, подобно той, прежней смерти в озере, но все же ты смерть. В поисках своей жизни я не хочу брать смерть в попутчики.

— Понимаю.

— Может быть, еще жив мой сын — наверное, он уже старик, но еще жив. Мне нужно это знать.
— Конечно, — согласился я, но, не сдержавшись, прибавил: — А ведь было время, когда ты говорила иначе. Что я не смерть и не должен допустить, чтобы другие убедили меня в обратном. Это было за фруктовым садом, в парке Обители Абсолюта. Помнишь?

— Для меня ты всегда был смертью, — сказала она. — Или, если угодно, я попалась в ловушку, о которой предупреждала тебя. Возможно, ты не смерть, но ты останешься самим собой — мучи-

телем и палачом, с твоих рук всегда будет капать кровь. Ты ведь так хорошо помнишь все, что случилось тогда в Обители Абсолюта, может быть, ты… нет, не могу. Это Миротворец, или Коготь, или Предвечный учинил это надо мной. Не ты, нет. — Так в чем же дело?

— Тогда, на рассвете, доктор Талос дал нам с тобой денег. Те деньги он получил за нашу пьесу от какого-то придворного. Когда мы отправились в путь, я все отдала тебе. Можно мне взять их назад? Они мне понадобятся. Если не все, то хотя бы часть.

Я высыпал на стол все деньги из ташки. Их было столько же, сколько Доркас дала мне, или немного больше.

— Спасибо, — сказала она. — А тебе они не понадобятся?

— Тебе они нужны больше. Кроме того, это ж твои деньги.

— Я хотела бы уйти завтра, если наберусь сил. Но послезавтра уйду в любом случае. Ты, наверное, не знаешь, как часто отсюда отправляются лодки вниз по реке?

— Все зависит от твоего желания. Лодку спускают на воду, а дальше дело за рекой.

— Не в твоих привычках так говорить, Севе-

рьян. Во всяком случае, на тебя это не похоже. Так, пожалуй, сказал бы твой друг Иона, судя по тому, как ты о нем отзывался. Кстати, ты не первый, кто зашел меня проведать. Здесь был наш Друг Гефор — твой друг, по крайней мере. Тебе не кажется это забавным? Прости, я только хотела переменить тему.

— Он получает от этого удовольствие. Получает удовольствие, глядя на меня.

— Как и тысячи других, когда ты вершишь публичную казнь. Да и ты сам.

— Они приходят испытать ужас, чтобы потом иметь возможность поздравлять себя с тем, что еще живы. А еще потому, что любят щекотать себе нервы и пребывать в напряженном неведении, не отменят ли смертный приговор и не случится ли что-нибудь непредвиденное. Я же получаю удовольствие, демонстрируя свое мастерство — это единственное, что я действительно умею, — мне нравится исполнять все с таким совершенством. Но Гефор приходит за другим.

— Увидеть боль?

— Боль, да, но и кое-что еще.

— А знаешь, ведь он готов молиться на тебя. Мы с ним долго беседовали, и я думаю, он пойдет в огонь, стоит тебе только приказать. — Наверное,

я переменился в лице, потому что она добавила:
— Я вижу, тебе делается нехорошо от всех этих разговоров о Гефоре. Хватит нам и одного больного. Давай поговорим о чем-нибудь другом.

— Тебе сейчас хуже, чем мне. Но, думая о Гефоре, я всегда вижу его таким, каким однажды видел с эшафота: рот открыт, а глаза…

Она нервно поежилась.

— Да-да, эти глаза, я видела их сегодня. Мертвые глаза, хотя, наверное, мне бы не пристало так говорить. Глаза трупа. Когда в них смотришь, кажется, что они неподвижны и сухи, как камни.

— Вовсе нет. Когда я стоял на эшафоте в Сальтусе, я глянул вниз и заметил Гефора: взгляд его беспокойно метался. Но тебе его взгляд показался безжизненным и напомнил глаза трупа. Неужели ты никогда не смотрелась в зеркало? Твои глаза не похожи на глаза мертвой.

— Наверное. — Доркас помолчала. — Когда-то ты говорил, что они прекрасны.

— Разве тебя не радует жизнь? Даже если мертв твой муж, даже если умер ребенок, и дом, в котором ты жила, превратился в груду камней, — даже если все это так, неужели для тебя не счастье снова оказаться здесь? Ты ведь не призрак, не дух, подобно тем, что мы видели в разрушенном

городе. Взгляни же в зеркало. Или посмотри мне в лицо, в лицо любого мужчины, и ты увидишь, какая ты на самом деле.

Доркас медленно села на кровати; это стоило ей больших усилий, чем когда она приподнималась выпить вина, но в этот раз она спустила ноги на пол, и я увидел, что под тонким одеялом на ней ничего нет. Кожа Иоленты до болезни была безупречна — гладкая и эластичная, как сливочный крем. Кожа Доркас была испещрена крошечными золотыми веснушками, а сама она была так худа, что я всегда чувствовал ее кости; и все же, в своем несовершенстве, она была желанней Иоленты со всеми соблазнами ее плоти. Сознавая, сколь непростительно было бы взять ее, даже просить ее отдаться мне сейчас, когда она так больна, а я вот-вот ее покину, я все же чувствовал, как растет во мне желание. Сколь сильно ни любил бы я женщину — или сколь мало, — жажда обладания особенно велика во мне тогда, когда обладание уже невозможно. Но мои чувства к Доркас были и глубже, и сложнее. Она стала, пусть на короткое время, моим самым близким другом — ближе я никогда не имел, и наша близость, от неистовой страсти в переоборудованной под жилище кладовой в Нессусе до бесконечно долгих ленивых

игр в спальне Винкулы, превратилась в особое проявление дружбы, а не только любви.

— Ты плачешь, — сказал я. — Хочешь, я уйду? Она покачала головой и, словно не в силах сдержать слова, рвущиеся наружу, прошептала:

— Пойдем вместе, Северьян! Я все не то говорила. Пойдем! Пойдем со мной!

— Не могу.

Она откинулась на узкую кровать и теперь казалась совсем маленькой, почти ребенком.

— Я знаю. У тебя долг перед гильдией. Ты не можешь снова предать ее и мучиться совестью. Я тебя и не прошу. Просто я всегда чуть-чуть надеялась, что мы могли бы уйти вместе.

Я снова покачал головой.

— Мне придется бежать из города…

— Северьян!

— На север. А ты едешь на юг, и, если я поеду с тобой, нас очень скоро настигнут скоростные суда, набитые солдатами.

— Северьян, что случилось? — Лицо Доркас было все так же бесстрастно, и только глаза широко распахнулись.

— Я освободил женщину. Мне было приказано задушить ее, а тело бросить в Ацис; я вполне мог это сделать — я не испытывал к ней никаких

чувств, и все обошлось бы без последствий. Но, оставшись с ней наедине, я вспомнил Теклу. Мы стояли в обсаженной кустами маленькой беседке у самой воды. Мои руки обнимали ее шею, а я думал о Текле — вспоминал, как хотел спасти ее. И не знал, что должен предпринять. Я не рассказывал тебе?

Доркас едва заметно покачала головой.

— Кругом были братья; если бы мы пошли кратчайшей дорогой, то наткнулись бы по меньшей мере на пятерых, знавших меня и знавших все о ней. (Где-то в дальнем уголке сознания я слышал крики Теклы.) Все, что мне нужно было сделать тогда, это сказать им, что мастер Гурло приказал мне привести ее к нему. Но в этом случае мне пришлось бы уйти вместе с нею, а я тогда еще пытался найти способ остаться в гильдии. Я просто мало ее любил.

— Теперь все в прошлом, — отвечала Доркас. — И знаешь что, Северьян? Смерть вовсе не так ужасна, как ты думаешь.

Мы поменялись ролями, словно заблудившиеся дети, по очереди утешающие друг друга.

Я пожал плечами. Призрак, проглоченный мною на пиру у Водалуса, снова разволновался. Я чувствовал, как длинные холодные пальцы

проникают в мой мозг, и, хотя не мог взглянуть внутрь собственного черепа, знал, что ее бездонные фиолетовые глаза смотрят сейчас из моих. Мне стоило немалых усилий не заговорить ее голосом.

— Как бы то ни было, я был там, в беседке, с женщиной. Наедине. Ее звали Кириака. Я знал, подозревал, по крайней мере, что ей известно местонахождение Пелерин, — она жила среди них некоторое время. Существует несколько бесшумных способов пытки, которые не требуют особых орудий, но тем не менее весьма действенны. Нужно как бы проникнуть в тело клиента и непосредственно воздействовать на его нервную систему. Я собрался было применить прием, который называется у нас «палочкой Хумбабы», но, не успел я ее коснуться, она сама мне все рассказала. Пелерины сейчас у перевала Орифии — ухаживают за ранеными. Женщина сказала, что только неделю назад получила письмо из Ордена…

12. ВНИЗ ПО ВОДОСТОКУ

Беседка могла похвастаться прочной крышей, но стенки были собраны из решеток, и высокие древовидные папоротники, посаженные у их основания, служили лучшим укрытием, чем узкие планки. Сквозь ветви пробивались лунные лучи. Больше света проникало через портал — света, преломленного о воды стремительного потока. Я видел ужас на лице Кириаки и слабую надежду на спасение, если удастся вызвать во мне хоть искру любви; я же знал, что никакой надежды для нее быть не могло, ибо я ничего не чувствовал к ней.

— В лагере Автарха, — повторила она. — Так писала Айнхильдио. В Орифии, у порогов Гьолла. Но если ты отправишься туда возвращать книгу, будь осторожен: она также писала, что где-то на севере обосновались какогены.

Я пристально посмотрел на нее, силясь определить, лжет она или говорит правду.

— Все это сообщила мне Айнхильдио. Возможно, они пожелали укрыться от зеркал Обители Абсолюта и не попадаться на глаза Автарху. Говорят, он им подчиняется, но иногда ведет себя так,

словно они подвластны ему.

Я схватил ее за плечи и встряхнул.

— Ты шутишь! Автарх им подчиняется?

— Пусти! Пожалуйста, пусти…

Я выпустил ее.

— Все… О Эребус! Прости меня. — Она всхлипнула, и, хотя лежала в тени, я догадался, что она вытирает глаза и нос краем своего алого одеяния. — Все знают об этом, кроме пеонов, крестьян и их жен. Все армигеры, все оптиматы и, разумеется, экзультанты — все они всегда знали об этом. Я никогда не видела Автарха, но мне рассказывали, что он, Венценосный Наместник Нового Солнца, ростом едва выше меня. Неужели ты думаешь, что наши гордецы экзультанты терпели бы власть такого коротышки, не будь у него столько пушек?

— Я видел его, — сказал я, — и сам удивлялся. В поисках подтверждения словам Кириаки я рылся в памяти Теклы, но находил лишь сплетни.

— Расскажи мне о нем! Прошу тебя, Северьян, прежде чем… — Нет, не теперь. Но почему я должен опасаться какогенов?

— Потому что Автарх непременно вышлет своих шпионов на их поиски, и здешний архон, думаю, сделает то же самое. Всякого, кто будет

обнаружен подле них, сочтут соглядатаем либо, что еще хуже, агентом, явившимся склонить их к какому-нибудь заговору против Трона Феникса.

— Понимаю.

— Не убивай меня, Северьян. Умоляю тебя. Я не порядочная женщина — никогда не была порядочной с тех пор, как ушла от Пелерин, но я не готова встретить смерть прямо сейчас.

— Но что ты совершила? — спросил я ее. — Почему Абдиес приказал тебя убить? Ты знаешь?

Как просто задушить человека с такой слабой шеей, а я уже разминал руки, готовясь исполнить поручение; но в то же время я сожалел, что мне не дозволено употребить в дело «Терминус Эст».

— Я просто любила слишком многих мужчин, слишком многих — но только не моего мужа.

И словно воспоминания о тех объятиях проснулись в ней, она встала и приблизилась ко мне. Луна снова осветила ее лицо; в ее глазах стояли слезы.

— Он был жесток, так жесток со мной после свадьбы… вот я и взяла любовника, чтобы только досадить ему… а потом еще одного… (Ее голос звучал все тише, пока не стал едва уловим.) И наконец менять любовников вошло у меня в привычку, помогало остановить время и доказать

себе, что жизнь еще не утекла сквозь пальцы, что я еще достаточно молода, чтобы мужчины дарили подарки и играли моими волосами. Разве не для того я ушла от Пелерин? — Она умолкла и, кажется, собиралась с духом. — Ты знаешь, сколько мне лет? Я говорила тебе?

— Нет.

— Тогда и не скажу. Но еще немного, и я могла бы быть твоей матерью. Если бы зачала в течение года или двух с того момента, как это стало возможным. Мы были далеко на юге, где великие льды, отливающие то белизной, то синевой, покоятся на черных морских водах. Там находился небольшой холм, где я частенько стояла и смотрела вокруг; я мечтала одеться потеплее и пуститься в путь на льдине, взяв с собой еду и певчую птичку, — правда, ее у меня никогда не было, но очень хотелось иметь, — и так бы я плыла на своем ледяном острове на север, к другому острову, где растут пальмы и где я нашла бы руины замка, построенного на заре жизни. Наверное, и ты бы тогда родился — пока я жила одна на льдине. Разве не может ребенок, которого я себе придумала, родиться во время столь же фантастического странствия? Ты бы рос, ловил рыбу и купался в воде, теплой, как молоко.

— Ни одна женщина не может быть убита за неверность — только собственным мужем, — сказал я.

Кириака вздохнула, и вместе со вздохом отлетели и ее мечты.

— Из здешних армигеров он один из немногих, кто поддерживает архона. Прочие же неповиновением, степень которого зависит от личной дерзости каждого, и разжиганием беспорядков среди эклектиков надеются убедить Автарха сместить его. Но я выставила своего мужа на посмешище, а вместе с ним — его друзей и архона.

Благодаря присутствию во мне Теклы я увидал загородный дом, напоминавший одновременно и особняк, и крепость, со множеством комнат, которые за двести лет не претерпели сколь-нибудь заметных изменений. Я слышал хихиканье дам и тяжелую поступь охотников, призывный звук рога и басовитый лай гончих. Это был мир, в котором Текла надеялась обрести убежище; и я пожалел женщину, силой загнанную в это убежище и не видавшую ничего за его пределами.

Подобно тому как кабинет Инквизитора из пьесы доктора Талоса с его верховным судом прятался в нижних этажах Обители Абсолюта, так каждый из нас таит в самых грязных зако-

улках сознания прилавок, за которым надеется рассчитаться с долгами прошлого обесцененной монетой настоящего. За этим прилавком я и предложил жизнь Кириаки в уплату за Теклу.

Когда я вывел ее из беседки, она, конечно, решила, что я намерен убить ее у воды. Вместо этого я показал ей на реку.

— До впадения в Гьолл она течет довольно быстро; Гьолл, Уже медленнее, несет свои воды к Нессусу, а потом впадает в южное море. Найти беглеца в лабиринтах Нессуса невозможно, если он сам того не захочет, потому что там бессчетное число улочек, двориков, построек и постоянно мелькают самые разные лица из самых разных стран. Решишься ли ты отправиться туда немедленно, в этой одежде, без друзей и без денег?

Она кивнула, прикрывая горло побелевшей рукой.

— Кордона для судов у Капулюса пока нет: Абдиес знает, что до середины лета ему можно не опасаться нападения отсюда — против течения никто не пойдет. Однако тебе придется проплывать под арками, и ты рискуешь утонуть. И даже если ты попадешь в Нессус, ты будешь вынуждена сама зарабатывать себе на хлеб — наймешься прачкой или кухаркой.

— Я умею шить и причесывать. Северьян, я слыхала, что иногда, в качестве последней и самой ужасной пытки, ты обещаешь осужденной освободить ее. Если в этом истинный смысл твоих слов, умоляю тебя, замолчи. Ты и так далеко зашел. Довольно.

— Так поступают калуеры и прочие храмовые служители. Нам же ни один клиент не поверит. Я только хочу знать наверняка, что ты не совершишь какой-нибудь глупости — не вернешься домой и не станешь просить архона о помиловании.

— Я действительно глупа, — сказала Кириака, — но не настолько. На такое безумство даже я не способна. Клянусь.

Мы двинулись вдоль реки и вышли к лестнице, где гостей архона приветствовали стражники и швартовались пестро украшенные прогулочные лодки. Я предупредил одного из солдат, что мы хотим покататься, и осведомился, возможно ли будет нанять гребцов, чтобы потом поднять нас вверх по течению. Он ответил, что лодку можно оставить у Капулюса и вернуться назад в фиакре. Когда он отвернулся, чтобы продолжить разговор с товарищем, я притворился, будто осматриваю лодки, и откинул носовой канат у той, что нахо-

дилась дальше всех от сторожевого поста…

— Итак, — сказала Доркас, — ты бежишь на север, а я забрала у тебя все деньги.

— Много мне не требуется, а заработать я сумею.

Я поднялся.

— Возьми назад хотя бы половину, — упрашивала она и, когда я покачал головой, прибавила: — Тогда возьми два хризоса. Если будет совсем невмоготу, я могу продавать себя или воровать.

— Если будешь воровать, тебе отрубят руку. Лучше уж я буду рубить руки, зарабатывая на пропитание, чем ты лишишься своих за кусок хлеба.

Я шагнул к двери, но она соскочила с кровати и вцепилась в мой плащ.

— Будь осторожен, Северьян. По городу бродит какое-то чудовище, Гефор назвал его саламандрой. Чем бы оно ни было на самом деле, оно сжигает своих жертв.

Я ответил, что больше саламандры мне следует остерегаться солдат архона, и вышел, не дожидаясь, пока она скажет еще что-нибудь. Однако, взбираясь по узкой улочке западной части города, которая, как уверял владелец лодки, вела к вершине скалы, я задумался, не разумнее ли

больше опасаться горного холода и диких зверей, чем солдат и чудовища. Думал я и о Гефоре — как ему удалось зайти следом за мной так далеко на север и зачем он вообще за мной шел? Но больше всего я думал о Доркас — чем она была для меня и чем был для нее я? Немало воды утечет, прежде чем я снова — может быть! — смогу хотя бы увидеть ее, а смутное предчувствие встречи во мне все же осталось. Совсем как в тот раз, когда я впервые уходил из Цитадели и надвинул капюшон, чтобы скрыть от прохожих улыбку, так и сейчас я спрятал лицо, чтобы скрыть бегущие по щекам слезы.

Резервуар, из которого в Винкулу доставлялась вода, мне приходилось видеть дважды, но то было днем, а теперь стояла ночь. Днем он казался маленьким — квадратный бассейн площадью не больше основания жилого дома и не глубже могилы. Но при тусклом свете луны он казался настоящим озером, глубоким, как цистерна под Колокольной Башней.

От него до стены, оборонявшей западную границу Тракса, было не более ста шагов.

Над стеной возвышались башни — одна из них совсем рядом с резервуаром, и, несомненно, к этому времени гарнизоны уже получили приказ

задержать меня, если я попытаюсь бежать из города. Пробираясь вдоль скалы, я то и дело замечал стражников, совершавших обход стены; их копий во мраке не было видно, но увенчанные гребнями шлемы были заметны при свете звезд, а иногда и слабо отражали его.

Я припал к земле, глядя сверху на город и надеясь, что мой угольно-черный плащ скроет меня от их глаз. Решетки на арках Капулюса были приспущены; до меня доносился рев бьющегося о них Ациса. Сомнений быть не могло: Кириаку задержали либо, что более вероятно, просто заметили и доложили архону. Абдиес, конечно, мог поднять на ноги всю страну и послать за ней, но это мало вероятно; скорее всего он позволит ей ускользнуть, таким образом, не привлекая к ней внимания. Но меня он, несомненно, попытается арестовать, если сможет, и казнит как предателя его законов — кем я на самом деле и был.

Я перевел взгляд с одних вод на другие — со стремительного потока Ациса на неподвижную гладь резервуара. Пароль, открывающий ворота шлюза, был мне известен, и я применил его. Древний механизм со скрежетом отомкнулся, словно под напором мускулов рабов, и неподвижные воды хлынули вниз, хлынули стремительней

яростного Ациса у подножия Капулюса. Глубоко под землей узники услышат их рев, и те, кто ближе всех к выходному отверстию желоба, увидят белую пену потока. Через мгновение те, кто стоит, окажутся по щиколотку в воде, а те, кто спал, будут с трудом подниматься на ноги. Еще миг — и вода дойдет им до пояса; но каждый прикован к своему месту, и те, кто посильней, будут поддерживать слабых — никто, я надеялся, не захлебнется. Стражники при входе оставят посты и поспешат вверх по крутым коридорам на скалу посмотреть, кто посмел тронуть резервуар.

Когда исчезла последняя капля, я услыхал стук камней, срывавшихся из-под ног. Я снова закрыл ворота шлюза и пополз вниз по скользкой почти вертикальной трубе, в которую только что ушла вода. Я продвигался бы с куда большей легкостью, не будь со мной «Терминус Эст». Упереться спиной в стенку извилистой, похожей на дымоход трубы можно было, только отстегнув его; но, чтобы удержаться, мне нужны были обе руки, нести меч я не мог. Поэтому я просунул голову в перевязь, позволив лезвию и ножнам свободно свисать вдоль тела, и весь путь, как мог, боролся с его тяжестью, удерживая равновесие. Дважды я срывался, но каждый раз меня спасал поворот

во все сужающемся водостоке. И вот наконец, когда прошла целая вечность и я был уверен, что стражники вернулись, я увидел красные огни факелов и достал Коготь.

Он засиял так ярко, что я чуть не остолбенел. Камень источал ослепительный свет, и, неся его над головой по длинному подземелью Винкулы, я дивился, как моя рука до сих пор не обратилась в пепел. Думаю, ни один узник не видел меня. Коготь околдовал их, как фонарь в ночном лесу зачаровывает оленя; они стояли недвижимы, разинув рты и подняв головы, я видел их измученные, поросшие бородами лица; их тени были четко обрисованы, словно вырезанные из металла, и черны как уголь.

В самом конце подземелья, где вода вытекала в длинный наклонный желоб, который выводил ее за Капулюс, содержались самые слабые и больные узники; именно там я яснее всего увидел, какою силой их одаривал Коготь. Мужчины и женщины, которых самые старые стражники не помнили здоровыми, теперь смотрелись сильными и стройными людьми. Я помахал им рукой, но никто из них, кажется, не заметил моего приветствия. Потом я спрятал Коготь Миротворца в мешочек, и мы окунулись в ночь, по сравнению

с которой ночь на поверхности Урса показалась бы ясным днем.

Поток воды хорошо прочистил сток, и при спуске я испытывал меньше неудобств, чем раньше в трубе, потому что, хотя спуск и был более узким, он оказался очень покатым, и я мог быстро ползти головой вперед. В самом низу находилась решетка; но, как я заметил во время одного из обходов, она вся насквозь проржавела.

13. В ГОРАХ

Серыми утренними сумерками я выбрался за пределы Капулюса. Весна уже миновала, и наступило лето, но даже в это время года высоко в горах не бывает тепла, только в полуденный час, когда солнце в зените. Однако я не осмелился спуститься в долину, где частые деревушки теснились одна к другой; весь день я шел вверх, в горы, перекинув через плечо плащ, чтобы он был похож на одеяние эклектика, а не палача. Я также отделил рукоять «Терминус Эст» от лезвия, а потом собрал меч снова, но уже без гарды эфеса, дабы, вложенный в ножны, он на расстоянии походил на посох.

К полудню у меня под ногами уже были одни камни, и дорога стала такой неровной, что я не столько шел, сколько карабкался вверх. Дважды я замечал далеко внизу блеск доспехов и, присмотревшись, видел небольшие отряды димархиев, галопом скачущих по горным тропинкам, по которым большинство людей предпочли бы идти пешком; их алые форменные плащи пышно развевались у них за спинами. Съедобных растений

я не находил, дичь мне тоже не попадалась, кроме парящих высоко в небе хищных птиц. Но даже если бы я и обнаружил дичь, мне все равно не удалось бы добыть ее, ведь, кроме меча, никакого оружия у меня не было.

Все это звучит довольно плачевно, однако, по правде говоря, я был сражен великолепием горных пейзажей, безбрежным царством воздушной стихии. Мы, как дети, не способны оценить природу, ибо, не имея в воображении соответствующих картинок с сопутствующими им переживаниями и ситуациями, мы не находим в душе подобающего ей глубокого отклика. Я смотрел на увенчанные облаками вершины, а перед моим взором возникал Нессус, каким я видел его с выступа Башни Сообразности, и Тракс, каким он предстал передо мной с зубчатой стены Замка Копья, и в ничтожестве своем я был бы рад от счастья лишиться сознания.

Ночь я провел, прижавшись головой к скале с подветренной стороны. Я ничего не ел с тех пор, как в последний раз побывал в Винкуле, чтобы переодеться, и мне казалось, что с тех пор прошло много недель, даже лет. В действительности всего несколько месяцев назад я тайком принес несчастной Текле ржавый кухонный нож и ви-

дел, как из-под двери ее камеры робко вилась багровая змейка — тонкая струйка ее крови.

Камень, по крайней мере, я выбрал правильно. Он служил хорошей преградой ветру, и я чувствовал себя так, словно прилег отдохнуть в ледяной пещере с ее неподвижным холодным воздухом. Шаг или два в сторону — и я оказался бы на пронизывающем ветру, и одного мига на морозе хватило бы, чтобы я продрогло костей.

Я проспал около стражи без всяких сновидений, давно оставивших меня, потом проснулся с ощущением — которое само по себе не сон, а некое ни на чем не основанное знание или псевдознание, посещающее нас в минуты усталости и смятения, — что надо мной склонился Гефор. Я чувствовал на лице его дыхание — ледяное и зловонное; его глаза, отнюдь не безжизненные, пронзали мои, словно два кинжала. Сбросив остатки сна, я увидел, что светящиеся точки, которые я принял за его зрачки, на самом деле были двумя звездами, и чистый разреженный воздух не скрадывал ни их величины, ни яркости.

Я попытался заснуть снова, закрыл глаза и стал призывать воспоминания о самых теплых и приятных местах, какие знал: о квартирке в нашей башне, которую получил, став подмасте-

рьем. После ученического дортуара она казалась настоящим дворцом: там имелись мягкие одеяла и можно было посидеть в уединении. Я думал о кровати, которую мне однажды пришлось разделить с Балдандерсом, горячей, как печка, от его широкой спины; о жилище Теклы в Обители Абсолюта; об уютной комнате в Сальтусе, где мы останавливались с Ионой.

Ничто не помогало. Уснуть я не мог, а двигаться дальше не осмеливался, боясь в темноте свалиться в пропасть. Остаток ночи я провел, глядя на звезды; впервые в жизни я по-настоящему постиг величественную красоту созвездий, о которых рассказывал нам мастер Мальрубиус, когда я был самым младшим из учеников. Как странно, что небо, днем являющее собой неподвижную поверхность, по которой летят облака, ночью преображается в пространство для полета самого Урса, и мы чувствуем под ногами его вращение, как моряки чувствуют наступление прилива. Той ночью ощущение его неизменного кругового хода было так сильно, что у меня помутилось в голове.

Столь же неотвязным было и другое чувство: небо — это бездонная яма, в которую вселенная может рухнуть навсегда. Я слышал от людей, что,

если глядеть на звезды слишком долго, человека может охватить страх быть утянутым прочь. Мой собственный страх — а мне действительно было страшно — был навеян не далекими светилами, но зияющей бездной; и временами на меня накатывал такой ужас, что я хватался онемевшими от холода пальцами за камень. Мне казалось, что я вот-вот упаду с Урса. Подобные чувства в той или иной степени присущи, несомненно, каждому человеку, поскольку считается, что нигде нет достаточно мягкого климата, чтобы люди могли спокойно спать в домах без крыши.

Я уже описал свое пробуждение и владевшую мной уверенность, что Гефор пристально смотрит мне в лицо (возникшую, видимо, оттого, что я много думал о Гефоре после разговора с Доркас), и как, открыв глаза, я обнаружил, что от его облика остались лишь две яркие звезды. Так же было со мною, когда я на первых порах пытался различить созвездия, о которых не раз читал, имея лишь смутное представление о той части неба, где каждое из них следовало искать. Поначалу звезды казались мне скоплением огней, беспорядочным, но прекрасным, как искры, взлетающие ввысь от костра. Вскоре я, разумеется, разглядел, что некоторые из них сияют ярче прочих, и цве-

том они отнюдь не сходны. И вот, когда я уже довольно долго смотрел на них, произошло нечто неожиданное: очертания одного из звездных скоплений проступили так же явственно, как если бы некую птицу осыпали бриллиантовой пылью. Через миг видение исчезло, но вскоре вернулось, явив новые контуры, иные из которых соответствовали известным мне созвездиям, прочие же, боюсь, были порождены собственным моим воображением. Амфисбена, или змея, имеющая по обе стороны туловища по голове, была особенно хорошо различима.

Когда моему взору открылось это царство животных-небожителей, я исполнился священного благоговения перед их красотой. Когда же они стали так навязчиво отчетливы (а это произошло очень быстро), что разогнать их усилием воли я уже не мог, меня охватил страх перед ними, тот же страх, какой я испытывал перед первозданным хаосом, над которым они кишели; но, в отличие от последнего, это не был инстинктивный, животный страх — скорее философский ужас перед пространством, которое пылающие светила грубо размалевали картинками зверей и монстров.

Покрыв голову плащом, чтобы не лишиться

рассудка, я погрузился в размышления о мирах, окружающих эти светила. Все мы знаем, что они существуют. Многие представляют собой бесконечные каменные равнины, иные покрыты льдом, а некоторые — шлаковыми горами со стекающими по ним потоками лавы, таков, как утверждают, Абаддон. Но многие другие, будучи более благоприятными для жизни мирами, населены или выходцами из человеческого рода, или же, по крайней мере, существами, не особенно отличными от нас. Мое детское воображение рисовало зеленые небеса, синие травы и прочую экзотику, которая всегда лезет в голову, когда пытаешься постичь миры за пределами Урса. Но со временем мои ребяческие фантазии утомили меня, и я стал размышлять о совершенно иных, чем существуют у нас, цивилизациях и понятиях, о мирах, где все люди, зная, что произошли от одной-единственной пары колонистов, живут как братья и сестры. То были миры, где нет звонкой монеты, зато есть достоинство, и каждый трудится для того, чтобы получить право мысленно ставить себя рядом с теми, кто спасал общество; миры, где завершилась долгая война между человечеством и дикими тварями. За этими раздумьями последовали сотни других

— например, как могло бы вершиться правосудие в обществе, где царит всеобщая любовь; как нищий, сохранивший лишь обличье человека, мог бы просить в качестве милостыни человеческое достоинство; и как люди будут добывать одежду и пропитание, не чиня насилия над животными.

Когда я, еще мальчишкой, впервые узнал, что зеленый кружок луны — это на самом деле что-то вроде острова, зависшего в небе, а зелень — это леса, населенные в незапамятные времена первыми отпрысками рода человеческого, я вознамерился отправиться туда, мечтал повидать все миры вселенной, открывшиеся моему уму. Я оставил эти мечты, как полагал, вместе с детством, когда узнал, что только люди, положение которых в обществе представлялось мне недосягаемо высоким, имели возможность покинуть Урс.

Теперь прежние устремления вспыхнули с новой силой, и, какими бы нелепыми они ни казались спустя столько лет (ибо скорее малыш-ученик мог вознестись к звездам, чем затравленный изгнанник, каким я стал теперь), время лишь укрепило и закалило их во мне — ведь я уже успел изведать тщетность всякой попытки обуздать тягу к возможному. Я был твердо уверен,

что отправлюсь туда. Всю оставшуюся жизнь я посвящу бдительному ожиданию любой, даже самой малой возможности. Однажды я уже оказался перед зеркалами Отца Инира; тогда Иона, будучи безусловно мудрее меня, не колеблясь, кинулся в поток фотонов. Кто сказал, что я снова не предстану перед теми зеркалами?

С мыслью о них я сорвал плащ с головы, исполненный решимости взглянуть на звезды еще раз, и увидел, что солнце прорезало лучами небо над горными пиками и звезды, потускнев, лишились всего своего величия. Титаны, чьи неясные лица смотрели на меня с высоты, оказались лишь давно почившими правителями Урса, ветхими стариками с ввалившимися, обвислыми щеками.

Я встал и потянулся. Было ясно, что еще один день без еды я не выдержу и тем более не выдержу еще одну ночь без иного укрытия, кроме собственного плаща. Поэтому, все еще не решаясь спуститься в населенную людьми долину, я свернул к высокому лесу, который заметил под собой на склонах.

Дорога отняла у меня все утро. Когда же я наконец подошел к лесу и очутился среди авангарда из карликовых березок, я увидел, что, хотя склон

здесь был круче, чем я предполагал, в самом лесу деревья росли очень высокие, особенно в гуще, где почва была поровнее и, следовательно, побогаче: там они стояли так близко друг к другу, что просветы между стволами казались едва ли шире самих стволов. Конечно, это были не те покинутые нами тропические джунгли южного побережья Цефисса с глянцеволистной растительностью. То был косматый, ветвистый хвойный лес, деревья по большей части прямые и рослые, но, несмотря на высоту и мощь, они словно стремились отшатнуться от отбрасываемой горою тени, а каждое четвертое было изранено в битве с ветром и молнией.

Я спустился к лесу в надежде встретить дровосеков или охотников и просить их оказать мне гостеприимство; которым, по искреннему убеждению горожан, дети природы одаривают всякого встречного. Мне пришлось надолго разочароваться в своих чаяниях. Я то и дело останавливался и прислушивался, не стучит ли где топор, не залают ли собаки. Кругом стояла тишина, и, хотя дров здесь можно было заготовить сколько угодно, я не встречал никаких следов порубки.

Наконец я набрел на петлявший между деревьями ручеек с холодной как лед водой; с

берегов в него смотрелись нежные низкорослые папоротники и тонкие, как волосы, травы. Я напился и с полстражи шел вниз по берегу мимо игрушечных водопадиков и запруд и, подобно людям всех поколений минувших бесчисленных тысячелетий, с восторженным удивлением наблюдал, как ручей постепенно ширился, хоть я и не видел, чтобы он вбирал в себя чужие воды. В конце концов он так разбух, что сами деревья оказались в опасности; впереди я заметил ствол одного из них, которому течение подмыло корни, толщиной по меньшей мере в четыре локтя, лежащий поперек ручья. Я приблизился без особых предосторожностей, ибо не слышал характерных звуков, (которые могли бы предупредить меня об опасности, ухватился за большой сук и вскочил на ствол. Я чуть не упал в воздушную бездну. Зубчатая стена Замка Копья, с которой я смотрел на оцепенелую Доркас, казалась обычной балюстрадой в сравнении с этой высотой. Стена Нессуса была, несомненно, единственным творением рук человеческих, способным поспорить с ней. Ручей бесшумно падал в пропасть, где рассеивался на тончайшие водные пылинки и падал радужным полукружьем. Деревья внизу стояли, словно игрушки, которые любящий отец смастерил для

(баловня-сына, за лесом начиналась лужайка, а у самых деревьев я приметил домик величиной с наперсток и белый дымок над ним, вьющийся вверх, чтобы раствориться в пустоте, — призрак ручья, который лентой кружил по лесу, а потом падал со скалы и исчезал в небытии. Прыгнув на ствол упавшего дерева, которое само вполовину нависало над обрывом, я по инерции чуть не перелетел через него и, таким образом, едва не спустился со скалы самым незатейливым способом. Когда же я обрел равновесие, я понял, что спуститься почти невозможно. Насколько хватало зрение, скала была абсолютно отвесной; будь у меня веревка, я, возможно, и полез бы вниз и тогда добрался бы до домика (задолго до наступления ночи. Но ничего подходящего у меня, (разумеется, не было, да я скорее всего и не доверился бы веревке такой неимоверной длины. Некоторое время я исследовал вершину скалы и в конце (концов обнаружил тропинку, которой, несмотря на опасную крутизну и узость, явно пользовались. Не стану воспроизводить подробности спуска, поскольку он имеет очень мало отношения к повествованию, хотя, как это легко представить, (потребовал от меня полной самоотдачи. Скоро я приноровился сосредоточивать

внимание только на тропинке и поверхности скалы, к которой поворачивался то правым, то левым боком, потому что тропинка была очень извилистой. Большая ее часть представляла собой крутой спуск шириной в кубит или несколько меньше. Время от времени она сменялась рядом выбитых в живой породе ступеней, а один отрезок ее был просто чередой углублений для рук и ступеней, и я лез, как по стремянке. Если судить непредвзято, то эти выбоины были куда удобней, чем трещины, за которые в темноте мне приходилось цепляться в устье шахты обезьянолюдей, и, разумеется, сейчас я мог не бояться арбалетных стрел, свистевших у моего уха; но страшнее была сама головокружительная высота, в сотни раз превышавшая глубину шахты. Наверное, именно потому, что мне приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не обращать внимания на обрыв с противоположной стороны скалы, в мое сознание вошло острое ощущение гигантского планетного разлома, вниз по которому я карабкался. В стародавние времена, как говорилось в одном из текстов, заданных мне мастером Палаэмоном, сердце Урса еще билось, и пульсация этого живого ядра фонтанами взрывало равнины, за одну ночь вскрывала моря, кроша

континенты на острова так, что солнце поутру не узнавало мир. Теперь, говорят, Урс мертв; он остывает и съеживается под своей каменной оболочкой, подобно трупу древнего старика из заброшенного города, о котором рассказывала Доркас; окутанный неподвижным сухим воздухом, он превращается в мумию, пока его покровы не падут. Вот что, по слухам, происходит с Урсом; а в этом месте от скалы оторвалась добрая половина и рухнула вниз на целую лигу.

14. В ДОМЕ ВДОВЫ

В Сальтусе, где мы с Ионой останавливались на несколько дней и где я исполнил второе и третье усекновение головы в своей карьере, рудокопы достают из земли металлы, камни для строительства и даже артефакты, захороненные цивилизации, о которых еще за тысячи лет до возведения Стены в Нессусе никто не помнил. Они прорубают в склонах гор узкие шахты, пока не натыкаются на богатый захоронениями пласт или (если расположение тоннеля окажется удачным) на частично сохранившееся сооружение, которое служит им уже готовым проходом.

То, что стоило им такого труда в Сальтусе, на скале, по которой я спускался, могло быть достигнуто без особых усилий. Прошлое восставало у моего плеча, нагое и беззащитное, как все отжившее, словно упавшая гора явила миру само время. Кое-где наружу торчали скелеты могучих ископаемых животных и человеческие кости. Лес также оставил здесь своих мертвецов — пни и ветви, обращенные временем в камни, и я, спускаясь, вопрошал себя, действительно ли

мы правы, предполагая, что Урс старше своих детей — деревьев, и представлял, как они растут в пустом пространстве перед солнечным ликом, прижимаясь друг к другу, сплетаясь кронами, свободно опустив корни, и как потом их скопление стало нашим Урсом, а сами они — только ворсом на его одеянии.

Еще глубже залегали созданные человечеством постройки и механизмы. (Вполне возможно, там были и творения иных рас, ибо в некоторых главах моей коричневой книги косвенным образом говорится, что раньше здесь обитали колонии существ, которых мы называем какогенами, хотя состоят они из великого множества племен, столь же отличающихся одно от другого, как и от нас.) Я видел и металлы, цвета которых можно было определить как зеленый и синий — в том смысле, в каком мы называем медь красной, а серебро белым; эти цветные металлы имели столь причудливые формы, что я недоумевал, не произведения ли это искусства, не части ли неведомых машин; и очень может быть, что между некоторыми из тех неизвестных народов не существует никаких различий.

Когда я преодолел чуть больше половины пути, линия сдвига породы совпала с облицованной

плитами стеной какого-то большого дома, и моя извилистая тропа прорезала ее поперек. Рисунка, в который складывались эти плиты, я так и не разгадал: при спуске я находился слишком близко к скале, а когда наконец достиг ее подножия, стена оказалась чересчур высоко и, кроме того, была скрыта за дрожащим туманом падающих брызг. Пока я был в пути, я видел этот рисунок, как насекомое могло бы видеть лицо на портрете, по которому ползет. Плиты были разнообразных форм, хотя и прилегали друг к другу очень плотно, и поначалу я принял их за изображения птиц, ящериц, рыб и прочих тварей — звеньев единой жизненной цепи. Теперь мне кажется, что я ошибался, и плиты были некими геометрическими формами, содержания которых я так и не понял, диаграммами столь сложными, что в них проступали очертания одушевленных существ, подобно тому как формы существующих животных проступают в замысловатой структуре сложных молекул.

Как бы то ни было на самом деле, формы этих плит не связывались у меня в цельную картину или схему. Они были испещрены разноцветными линиями, словно их обжигали много эр назад, но в то же время так ярки и своеобычны, что казалось

— их только что расписала кисть художника-титана. Цвета были, по большей части, белый и оттенки берилла, но, сколько бы я ни останавливался, сколько бы ни пытался понять, что же там изображено (письмена, лица, узор из черточек и углов или орнамент из переплетенных листьев), я ничего не мог разобрать. Вероятно, там можно было увидеть все, что угодно, или не увидеть ничего — в зависимости от того, где стоит зритель, а также от пристрастий последнего.

Когда загадочная стена осталась позади, спускаться стало намного легче. Мне больше не приходилось карабкаться вниз по отвесному склону, и, хотя предстояло преодолеть еще несколько ступенчатых отрезков, путь уже не был так узок и крут, как прежде. Я и не заметил, как достиг подножия, и теперь с изумлением смотрел на свою тропинку, словно моя нога никогда не ступала по ней, — и действительно, некоторые участки оказались разрушенными из-за обвалов, отколовших от горы целые куски, и на вид совершенно непроходимыми.

Домик, который я заметил сверху, теперь был скрыт за деревьями, однако дым из его трубы четко виднелся на фоне неба. Я двинулся через лес, гораздо более пологий, чем тот, где протекал ру-

чей. Темноствольные деревья, пожалуй, казались несколько старше. Огромные южные папоротники мне не попадались, да я и не встречал их нигде севернее Обители Абсолюта, разве что в садах Абдиеса, где их специально выращивали. Зато здесь у корней деревьев росли лесные фиалки с глянцевитыми листьями и цветами, живо напомнившими мне глаза несчастной Теклы, и мхи, подобные богатейшему зеленому бархату, ковром застелившие землю и укутавшие стволы дорогой тканью.

Прежде чем я увидел домик или иное свидетельство присутствия людей, до меня донесся собачий лай. Тишина и очарование леса мгновенно рассеялись — не полностью, но непосредственность созерцания уже была утрачена. Я почувствовал, как некая тайная жизнь, древняя и чуждая мне, но в то же время благосклонная, уже собиравшаяся поведать мне свое сокровенное знание, в последний момент отступила, словно выдающийся мастер, например, музыкант, которого я многие годы тщился привлечь в свой дом и который в конце концов пришел, но, постучав, услыхал голос другого гостя, неприятного ему человека, опустил руку, повернулся и удалился, чтобы никогда больше не возвращаться. И все-та-

ки какое облегчение я испытал! Два долгих дня я был совершенно один, сначала — на изрезанных трещинами каменных пространствах, потом — среди холодного великолепия звезд, а после — под баюкающим дыханием древнего леса. Теперь же этот резкий знакомый звук напомнил мне об уюте человеческого жилища — не просто напомнил, но заставил вообразить его так живо, словно я уже был там. Еще не видя пса, я уже знал, что он будет похож на Трискеля; так и вышло: правда, у него было четыре лапы вместо трех, узкий, слегка вытянутый череп и окрас темно-палевый, а не львиный, но зато знакомые живые глаза, виляющий хвост и свисающий из пасти язык. Сначала пес принял боевую стойку, но я заговорил с ним, и война не состоялась. Через двадцать шагов мне уже было позволено почесать его за ухом. Когда я вышел на поляну к домику, пес, играя, прыгал вокруг меня. Каменные стены домика были едва выше моего роста. Такой крутой соломенной крыши я еще не видал; плоские камни удерживали солому, чтобы ее не сдуло горным ветром. Короче, это был дом одного из крестьян-первопроходцев — гордости и отчаяния нашего Содружества: они могли целый год кормить население Нессуса излишками своего продукта, но потом их самих

приходилось кормить, чтобы не умерли с голоду.

Если к дому не ведет мощеная дорожка, то по траве на топтанной земле можно определить, часто ли по ней ступает нога человека. Здесь же я заметил лишь маленький, не больше косынки, квадрат обнаженной земли у самого крыльца. Я решил, что обитатель этой хижины (одиночка — судя по моим наблюдениям) может испугаться, если я появлюсь в дверях без предупреждения; пес давно перестал лаять, и потому я, остановившись на краю поляны, громко выкрикнул приветствие.

Звук моего голоса затерялся в небе и среди деревьев, и опять воцарилась тишина.

Я крикнул еще раз и в сопровождении пса направился к дому. Только я приблизился, в дверях появилась женщина. У нее было нежное лицо с тонкими чертами, красивое, если бы не затравленный взгляд, но платье такое потрепанное, что отличалось от нищенского только чистотой. Вскоре из-за ее юбки выглянул круглолицый мальчик с огромными, больше, чем у матери, глазами.

— Прости, я не хотел пугать тебя, — сказал я. — Я заблудился в горах.

Женщина кивнула и, поколебавшись, шагну-

ла назад, пропуская меня в дом. За толстыми стенами жилище оказалось еще меньше, чем я предполагал; над очагом был подвешен за крючок котел, из которого шел густой запах овощного супа. Окон было мало, их размеры невелики, а сидели они так глубоко в стенах, что казались скорее средоточиями тени, чем источниками света. На шкуре пантеры, повернувшись спиной к очагу, сидел старик; взгляд его был не рассеян, не бессмыслен, и я сначала решил, что он слеп. Посреди комнаты стоял стол с пятью стульями, два из которых были детскими. Я вспомнил, как Доркас рассказывала мне, что мебель из заброшенных домов Нессуса вывозится на север для продажи эклектикам, усвоившим более высокую культуру, однако предметы обстановки в этом доме явно были изготовлены на месте.

Женщина проследила за моим взглядом и сказала:

— Скоро придет мой муж. К ужину.

— Не волнуйся, — успокоил я ее, — я не причиню вам зла. Если мне будет позволено разделить с вами трапезу и укрыться на ночь от холода, если утром вы укажете мне дорогу, я с радостью выполню для вас любую работу.

Женщина кивнула, и вдруг раздался тонкий

голосок мальчика:

— Ты видел Северу?

Мать тут же набросилась на него, да так стремительно, что я не мог не вспомнить мастера Гурло, демонстрирующего захваты для усмирения узников. Я и увидеть не успел подзатыльника, только услышал шлепок и визг мальчишки. Мать (загородила собою дверь, а он спрятался в дальний угол за сундук. Я догадался — и тогда был уверен в своей правоте, — что Севера — это девочка или женщина, которую она считает слабее себя и потому отослала (скорее всего на чердак, под крышу), прежде чем впустить меня в дом. Я заключил, что продолжать уверять эту женщину в моих добрых намерениях бесполезно, ибо она, несмотря на невежество, была далеко не глупа, и заслужить ее доверие можно было лишь делом. Для начала я попросил у нее воды умыться и сказал, что буду рад сам принести воду из источника, если мне разрешат согреть ее над очагом. Женщина дала мне котел и показала, где найти родник.

За свою жизнь я успел побывать во многих местах, которые принято считать романтическими: на вершинах высоких башен, в самых глубоких недрах Урса, во дворах, в лесных дебрях, на ко-

рабле, — но нигде я не чувствовал того волнения, какое охватило меня в этой бедной каменной хижине. Я видел в ней архетип тех пещер, в которые, как уверяют ученые, (человечество всегда забивается в конце каждого витка цивилизации. Всякий раз, как мне приходилось читать или слышать об идиллическом сельском уголке (образ, столь любимый Теплой), он не мыслился без порядка и чистоты. У окна всегда постлано ложе из мяты, у подветренной стены сложена поленница, пол вымощен блестящими каменными плитами и так далее. Здесь ничего подобного не было, никакой идиллии; и все же домик был совершенен именно благодаря своему несовершенству; я увидел, что в такой глуши люди могут жить и любить, не имея возможности создать произведение искусства из собственного жилища. — Ты всегда бреешься мечом? — спросила женщина. Впервые за все это время она обратилась ко мне без опаски. — Таков обычай, традиция. Если меч недостаточно остер, чтобы я мог им побриться, мне было бы стыдно его носить. Если же он достаточно остер, то зачем мне бритва?

И все-таки неудобно, наверное, держать на весу такой тяжелый клинок: тебе ведь приходится все время остерегаться, как бы не порезаться.

— Это хорошее упражнение для мускулов. Кроме того, мне полезно почаще брать его в руки, чтобы действовать им так же легко, как собственными членами.

— Значит, ты солдат. Я так и подумала.

— Я мясник. Разделываю людей. Она опешила.

— Я не хотела тебя оскорбить.

— Ты меня нисколько не оскорбила. Каждый в своем роде убийца: ты, например, убиваешь коренья, когда бросаешь их в кипящий котел. Когда же я убиваю человека, я спасаю тысячи жизней, которые он мог бы разрушить, останься он в живых, жизни многих людей — мужчин, женщин, детей. А чем занимается твой муж?

Женщина слегка улыбнулась. Я впервые видел улыбку на ее лице, и она очень молодила ее.

— Всем. Здесь, в горах, мужчине приходится делать все.

— Следовательно, ты родилась не здесь.

— Нет, — отвечала она, — только Северьян… Улыбка слетела с ее лица.

— Ты сказала: Северьян?

— Так зовут моего сына. Ты видел его, когда вошел, он и сейчас подсматривает. Иногда его глупость просто несносна.

— Меня тоже так зовут. Я мастер Северьян.

— Ты слышал? — крикнула женщина сыну. — Этого господина зовут так же, как и тебя! — Потом она снова обратилась ко мне: — Как ты думаешь, это хорошее имя? Тебе оно нравится?

— Пожалуй, хоть я никогда не задумывался над этим. Мне кажется, оно мне подходит.

Я кончил бриться и сел на стул почистить лезвие.

— Я родилась в Тракс, — продолжала женщина. — Ты там бывал?

— Я только что оттуда.

Если после моего ухода димархии будут допрашивать ее, ей будет достаточно описать мою одежду.

— Ты там не встречал женщину по имени Гераис? Это моя мать.

Я покачал головой.

— Впрочем, Тракс большой город. Ты долго в нем прожил?

— Нет, совсем не долго. Не приходилось ли тебе слышать здесь, в горах, о Пелеринах? Это женский Орден, все его жрицы носят красное.

— Нет, не приходилось. Мы здесь вообще ничего не знаем.

— Я ищу их, а если не найду, то примкну к армии Автарха, сражающейся против асциан.

— Муж лучше знает дорогу, он тебе покажет. Но тебе не стоило забираться так высоко. Бекан — так зовут мужа — говорит, что патрули не трогают солдат, идущих на север, даже если встречают их на старых дорогах.

Когда она говорила об идущих на север солдатах, до меня донеслись другие шаги, гораздо ближе. Наверху кто-то ходил, да так осторожно, что треск очага и свистящее дыхание старика почти заглушали этот шорох, но ошибиться я не мог. Чьи-то босые ноги, устав стоять неподвижно — а только так и можно было добиться тишины, — легко скользнули по половицам, и они прогнулись под тяжестью нового веса.

15. ОН НАСТИГ ТЕБЯ!

Муж, который должен был прийти к ужину, так и не явился, и мы вчетвером — женщина, старик, мальчик и я — сели за вечернюю трапезу без него. Я было решил, что его жена умышленно солгала мне, дабы помешать преступлению, которое я в ином случае мог бы совершить; но когда гнетущая атмосфера дня сгустилась до предвещавшего бурю молчания, стало очевидно, что она сама верила собственным словам и теперь была не на шутку встревожена.

Ужин был весьма скромным, да ничего другого и ожидать не приходилось, но я зверски проголодался и никогда еще не испытывал такой благодарности за угощение. Мы ели вареные овощи, не сдобренные ни солью, ни маслом, грубый хлеб и мясо — самую малость. Ни вина, ни фруктов, ничего освежающего и никакого десерта; но я один, наверное, съел больше, чем они втроем.

Когда мы поужинали, женщина (ее, как я выяснил, звали Касдо) взяла длинный посох с железным наконечником и отправилась на поиски мужа, предварительно заверив меня,

что сопровождать ее не нужно, и предупредив старика, который, казалось, и не слышал ее, что не будет далеко заходить и скоро вернется. Видя, что он так и остался сидеть с безучастным видом у очага, я подозвал мальчика и показал ему «Терминус Эст», позволив подержаться за рукоять и даже попытаться поднять клинок. Когда доверие было завоевано, я спросил, почему бы Севере не спуститься и не присмотреть за ним, пока мать отсутствует.

— Она вернулась вчера вечером, — сказал мальчик. Я решил, что он говорит о матери, поэтому снова обратился к нему:

— Не сомневаюсь, что она и сегодня вернется, но до тех пор Севере следовало бы побыть с тобой.

Мальчик пожал плечами, как делают дети, которым не хватает слов, чтобы спорить, и попытался уйти. Я поймал его за плечи.

— Послушай-ка, малыш, сходи наверх и скажи ей, чтобы спустилась. Я ее не трону.

Он кивнул и направился к лестнице, но как-то медленно и неохотно.

— Она плохая, — буркнул он.

И в эту минуту, впервые с тех пор, как я появился в доме, заговорил старик:

— Бекан, подойди сюда! Я хочу рассказать тебе про Фехина. Я не сразу понял, что он обращается ко мне, принимая меня за своего зятя.

— Он был хуже нас всех, этот Фехин. Рослый такой и грубый, а на руках у него росли рыжие волосы, даже на пальцах. Обезьяньи руки, и если он тянулся за чем-нибудь из-за угла, можно было подумать, что это обезьяна тянется, только большая. Однажды он взял нашу медную сковороду — на ней мать обыкновенно жарила колбасу, — я видел его руку, но никому не сказал, что это он сделал, ведь он был мне другом. Сковороду я так и не нашел, никогда больше ее не видел, хоть с ним я бывал тысячу раз. Вот я и подумал, что он сделал из нее кораблик и пустил по реке — это я потому так подумал, что и сам всегда хотел приспособить ее под кораблик. Я пошел вниз по реке искать ее и не заметил, как наступила ночь, а я был еще далеко от дома. Может быть, он натер до блеска ее дно, чтобы смотреться: он иногда рисовал свои портреты. А может быть, наливал в нее воду, чтобы глядеть на свое отражение.

Я подошел к нему поближе, чтобы послушать, отчасти потому, что говорил он невнятно, отчасти — из уважения, ибо его старческое лицо слегка напоминало лицо мастера Палаэмона,

только глаза были другие.

— Мне довелось однажды встретить человека твоего возраста, который позировал Фехину, — сказал я.

Старик поднял голову и посмотрел на меня; на его лице промелькнуло быстрое, как птичья тень по выброшенной из дома на траву серой тряпице, понимание, что я не Бекан. Но он не прервал рассказа, да и вообще никак не выдал себя. Как будто рассказывал что-то чрезвычайно важное, то, что необходимо излить перед кем угодно, только бы не унести с собой навсегда.

— Но лицо у него вовсе не было обезьяньим. Фехин был красив, красивее его никого в округе не было. Он всегда мог получить у женщин еду и деньги. От женщин он мог получить все, что угодно. Помнится, шли мы однажды по тропинке, которая вела к старой мельнице, — ее уж теперь нет. У меня был с собой листок бумаги, мне его учитель школьный дал. Это была настоящая бумага, не то чтоб совсем белая, а коричневая с пятнышками, как форель в молоке. Учитель дал мне ее, чтобы я написал письмо матери, — в школе мы чертили на дощечках, а потом, когда надо было написать что-нибудь новое, вытирали их губками. Когда никто не смотрел, мы под-

брасывали губку и ударом дощечки запускали ее в стену или кому-нибудь в голову. Но Фехин любил рисовать, и по дороге я все думал, каков был бы его портрет, имей он бумагу, чтобы хранить рисунки. А только рисунки он и хранил, — продолжал старик, — все остальное терял, раздаривал или выбрасывал. Все, что мне хотела сказать мать, я и так прекрасно знал, а потому решил, что если не буду особенно расписывать, половины листа мне хватит. Фехин не знал, что у меня есть бумага; я достал свой листок и показал ему, а потом сложил и разорвал пополам.

Над головой я слышал писклявый голосок мальчика, но слов разобрать не мог.

— Это был самый светлый день в моей жизни. Солнце вдохнуло в него свежие силы; так человек, который был болен вчера и будет болен завтра, сегодня гуляет и смеется, и посторонний мог бы подумать, что никакой болезни нет, что постель и лекарства существуют для других. В молитвах всегда говорится, что Новое Солнце явится слишком ярким и на него нельзя будет смотреть; вплоть до того дня я считал, что это только так говорят, — все равно что сказать «дитя прелестно» или похвалить любое творение рук человеческих, но что явись в небе хоть два

солнца, на оба можно будет смотреть. Но в тот день я узнал, что это правда; и лицо Фехина светилось так, что я не мог вынести этот свет. Из моих глаз потекли слезы. Он поблагодарил меня, мы двинулись дальше и вышли к дому, где жила одна девушка. Имени ее я не помню, но она была настоящая красавица — такими порой бывают самые скромные. Я и не знал, что Фехин с ней знаком. Он попросил меня подождать, и я сел на нижнюю ступеньку у входа.

У меня над головой тяжело заскрипели половицы: кто-то шел к лестнице, и это был явно не мальчик.

— Он пробыл в доме недолго, но, когда вышел, а девушка выглянула в окно, я понял, чем они занимались. Я взглянул на него, а он раскинул длинные обезьяньи руки. Но как он мог поделиться тем, что получил? Наконец он попросил девушку вынести для меня полбуханки хлеба и фруктов. На одной стороне листа бумаги он нарисовал меня, а на другой — девушку, но сохранил портреты у себя.

Лестница скрипнула, и я обернулся. Как я и предполагал, по ней спускалась женщина. Она была невысокая, полная, но с тонкой талией. Платье на ней было почти таким же рваным, как

и на матери мальчика, только гораздо грязнее. Великолепные каштановые волосы закрывали всю спину. Я узнал ее прежде, чем она обернулась и я мог увидеть ее высокие скулы и раскосые карие глаза, — это была Агия.

— Итак, ты знал, что все это время я была здесь, — сказала она.

— То же самое я мог бы сказать и тебе. Ведь ты пришла сюда раньше меня.

— Просто догадалась, что ты сюда явишься. Я пришла незадолго до тебя и рассказала хозяйке дома, что ты со мной сделаешь, если она меня не укроет.

(Думаю, это был намек на то, что у нее здесь есть союзница, пусть и не очень надежная.)

— Ты пыталась убить меня с того самого дня, когда я заметил тебя в толпе в Сальтусе?

— Это что, обвинение? Да, пыталась.

— Лжешь.

Мне не часто приходилось видеть Агию разъяренной.

— Что это значит?

— А то, что ты пыталась убить меня и до Сальтуса.

— При помощи аверна. Да, конечно.

— И после. Агия, я знаю, кто такой Гефор. Я ждал

ответа, но она молчала.

— В тот день, когда мы встретились, ты рассказала мне о старом моряке, который принуждал тебя к сожительству. Ты назвала его безобразным нищим стариком, и я не мог понять, почему тебя, прелестную молодую женщину, вообще должно заботить его предложение, ведь ты совсем не бедствовала. Защитой тебе был твой брат-близнец, и лавочка приносила мало-мальский доход.

Теперь настала моя очередь удивляться. Она сказала:

— Я должна была пойти к нему и сделать своим рабом. Теперь же он мне подчиняется.

— Я думал, что ты только обещала ему себя, если он меня убьет.

— Я обещала ему себя и многое другое и тем самым подчинила его. Он настиг тебя, Северьян, и ждет лишь моего приказа.

— Со своей сворой? Спасибо, что предупредила. Ведь это было предупреждение? Он угрожал тебе и Агилюсу теми милыми зверюшками, что навез из других планет?

Она кивнула и сказала:

— Он пришел продавать одежду, такую, что носили на старинных кораблях, много лет назад ходивших за пределы мира; то были не костю-

мы, не латы, не задубевшие от времени древние одеяния, века пролежавшие во тьме, но почти новая одежда. Он сказал, что его корабли — все эти корабли — затерялись в черном пространстве между солнцами, где годы прекращают свой круговорот. Так затерялись, что даже Время не может их разыскать…

— Знаю, — перебил я. — Иона рассказывал мне.

— Я пошла к нему, когда узнала, что ты собираешься убить Агилюса. У него много сильных сторон, но слабостей гораздо больше. Если бы я ему отказала, я ничего не смогла бы с ним поделать, но я исполняла все его безумные прихоти и убедила, что люблю его. Теперь он сделает все, чего бы я ни попросила. Ради меня он последовал за тобой после того, как ты убил Агилюса; на его серебро я наняла людей, которых ты убил у старой шахты, и ради меня подвластные ему существа прикончат тебя, если я сама здесь этого не сделаю.

— Ты хотела подождать, пока я усну, а потом спуститься и убить меня?

— Я бы сначала приставила тебе нож к горлу и разбудила. Но ребенок сказал: ты знаешь, что я здесь, и так мне будет даже приятней. Однако

скажи, как ты догадался про Гефора?

В узкие окна ударил ветер. Комната наполнилась дымом из очага, я услыхал, как притихший старик закашлялся и сплюнул на угли. Мальчик, спустившийся с чердака, пока мы с Агией вели разговор, смотрел на нас большими непонимающими глазами.

— Мне бы давно следовало догадаться, — сказал я. — Мой друг Иона когда-то был таким же моряком. Ты наверняка его помнишь — он был со мной около шахты, и ты о нем знала.

— Мы знали.

— Возможно, они были даже с одного корабля. А может, существовал некий знак, по которому они могли узнать друг друга, или, по крайней мере, Гефор боялся, что будет узнан. Как бы то ни было, он редко приближался ко мне, когда я путешествовал с Ионой, хотя раньше он просто горел желанием находиться рядом со мной. Я заметил его в Сальтусе — он стоял в толпе, когда я казнил мужчину и женщину, однако присоединиться и не попытался. На пути к Обители Абсолюта мы с Ионой видели, как он шел за нами, но не пытался догнать, пока Иона был со мной, хотя, должно быть, и рвался получить назад свою ночницу. Когда его бросили в вестибюль Обители

Абсолюта, он не сел рядом с нами, даже несмотря на то что Иона был при смерти. Однако когда мы вышли, гам рыскало существо, оставлявшее за собой склизкий след.

Агия не отвечала и в молчании своем напомнила мне ту молодую женщину, которая утром, когда я покидал нашу башню, отпирала ставни окон своей грязной лавчонки.

— По дороге в Тракс вы скорее всего потеряли нас из виду, — продолжал я, — или вас что-то задержало. Но, даже выяснив, что мы в городе, вы не знали, что я получил должность в Винкуле, поскольку Гефор выслал свое огненное чудище рыскать по городу в поисках меня. Потом вам удалось найти Доркас в «Утином гнездышке»…

— Мы сами там остановились, — сказала Агия. — Мы прибыли несколькими днями раньше, и, когда вы явились, мы как раз искали вас в городе. Потом я обнаружила, что женщина в мансарде была той самой безумной девчонкой, которую ты подобрал в Ботаническом саду. Но мы и представить не могли, что это ты ее туда привел. Ведь эта карга-хозяйка заявила, что мужчина был одет в обычное платье. Мы, однако, решили, что она может знать, где ты находишься, а с Гефором она скорее разговорится. Кстати, на самом деле его

зовут не Гефор. Настоящее имя у него гораздо более древнее; он говорит, что сейчас такого уже никто и не знает.

— Он рассказал Доркас про огненное чудовище, — заметил я, — а она рассказала мне. Я и раньше слышал про эту тварь, но у Гефора было для нее имя — он звал ее саламандрой. Когда Доркас упомянула его, я не придал этому значения, но позже вспомнил, что Иона назвал по имени и то черное существо, что гналось за нами около Обители Абсолюта. Он назвал ее ночницей, и, по его словам, люди на кораблях дали ей такое имя за то, что во тьме она выдает себя сильными тепловыми волнами. Если у Гефора нашлось имя и для огненной твари, вполне возможно, что это название тоже дано моряками, да и сам он имеет отношение к чудищу.

На губах Агии заиграла тонкая улыбка.

— Итак, тебе все известно, и ты можешь одолеть меня, где захочешь, — при условии, что здесь тебе хватит места, чтобы размахнуться своим огромным мечом.

— Я и без меча тебя одолею. Один раз ты уже лежала у моих ног — у входа в шахту. Но у меня есть нож.

В этот миг на пороге появилась мать мальчи-

ка, и мы замолчали. Она перевела изумленный взгляд с меня на Агию; затем, словно никакое удивление не могло ни пересилить ее печаль, ни изменить намерений, она закрыла дверь и задвинула тяжелый засов.

— Он услышал, что я наверху, — сказала ей Агия, — и велел спуститься. Он собирается меня убить.

— И как же я этому помешаю? — устало спросила женщина и повернулась ко мне. — Я потому ее спрятала, что, по ее словам, ты желал ей зла. Меня ты тоже убьешь?

— Нет. Я и ее не собираюсь убивать, и ей это хорошо известно.

Лицо Агии перекосилось от гнева, подобно раскрашенному восковому изваянию другой прекрасной женщины работы самого Фехина, которое, будучи охвачено пламенем, теряло бы форму, одновременно и плавясь, и обгорая.

— Ты убил Агилюса и гордился этим! Разве я не столь же достойна смерти? Ведь мы с ним одной крови!

Я не вполне поверил, что у нее есть нож, и даже не заметил, как она выхватила его — кривой траксийский кинжал.

В воздухе уже давно висела тяжесть прибли-

жавшейся бури. Меж горных пиков прогремел гром. Когда замерли отзвуки его раскатов, словно в ответ раздался странный голос. Я не в силах его описать: в нем было что-то и от человеческого вопля, и от звериного рыка.

Усталость с Касдо как рукой сняло, она опрометью бросилась к окнам. Под каждым оконным проемом, прислоненные к стене, стояли тяжелые деревянные ставни; она подхватила ближайший, словно это был всего лишь противень, и с грохотом обрушила его в скобы ставней. Во дворе бешено залаял пес и внезапно затих; было слышно лишь, как стучат первые капли дождя.

— Ну вот, уже здесь! — кричала Касдо. — Уже здесь! — И, обернувшись, напустилась на сына: — Прочь с дороги, Северьян!

Сквозь одно из оставшихся открытыми окон я услыхал детский голос:

— Отец, помоги мне!

16. АЛЬЗАБО

Я как мог старался помочь Касдо и случайно оказался спиной к Агии и ее кинжалу. Эта оплошность едва не стоила мне жизни: как только я поднял тяжелый ставень, она тут же набросилась на меня. Говорят, что женщины и портные держат нож лезвием вниз, однако Агия, словно закоренелый убийца, нанесла удар снизу вверх, чтобы вскрыть внутренности и достать до сердца. Я повернулся как раз вовремя и успел загородиться ставнем; нож пробил дерево, и стальное острие вышло наружу с обратной стороны.

Ее подвела сама сила удара. Я вывернул ставень и отбросил его подальше вместе с торчащим из него кинжалом. Агия и Касдо кинулись к нему. Я поймал Агию за руку и оттолкнул назад, а Касдо со стуком задвинула ставень, оставив кинжал торчать рукоятью наружу, где вот-вот готова была разразиться буря.

— Сумасшедшая, — тихо, почти виновато, произнесла Агия. — Оставляешь оружие тому, кого сама боишься, неужели не понимаешь?

— Тому, кто там, за дверью, ножи не нужны,

— бросила в ответ Касдо.

Дом был погружен во мрак; единственным источником света остался ярко-красный огонь очага. Я огляделся в поисках свечей или фонаря, но не заметил ни того, ни другого; как я узнал после, то немногое, что имелось в доме, было унесено на чердак. За окнами сверкнула молния, высветив контуры ставней и прерывистую линию порога, — и я мгновенно сообразил, что эта линия должна была быть цельной.

— Там кто-то есть, — сказал я. — Там, у двери.

Касдо кивнула.

— Я вовремя загородила окно. Эта тварь никогда не являлась так рано. Наверное, ее разбудил дождь.

— А вдруг это твой муж?

Прежде чем она успела ответить, раздался тонкий голос — тоньше, чем у мальчика:

— Пусти меня домой, мама!

Даже я, не ведая, кто это говорит, почувствовал в простых словах ужасное несоответствие. Да, возможно, голос принадлежал ребенку, но не человеческому ребенку.— Мама, — послышалось снова, — дождь начинается.— Нам лучше подняться наверх, — сказала Касдо. — Если мы уберем за собой лестницу, оно не достанет нас,

даже если ворвется в дом.

Я подошел к двери. В темноте между вспышками молний я не мог разглядеть стоящих на пороге ног. Но сквозь стук дождевых капель я услышал хриплое размеренное дыхание и скрежет, словно притаившееся во мраке существо переступало с лапы на лапу. Я обернулся к Агии.

— Твоя работа? Очередная тварь Гефора?

Она затрясла головой, карие глаза лихорадочно блестели.

— Нет. Таких много в здешних горах, ты лучше меня знаешь.— Мама!За дверью раздалось шарканье: капризно окликнув женщину, чудовище сошло с порога. Скрипнул ставень, и я попытался разглядеть что-нибудь сквозь щель. За окном стояла непроглядная темень, но до моих ушей донеслась мягкая, но тяжелая поступь, какую мне доводилось слышать дома из забранных решетками окон Медвежьей Башни.

— Оно сожрало Северу три дня назад, — сказала Касдо, пытаясь поднять старика со стула; он вставал медленно и неохотно, не желая отходить от теплого очага. — Я никогда не позволяла ей с Северьяном гулять в лесу, но оно явилось на поляну за целую стражу до наступления сумерек. С тех пор оно приходит сюда каждую ночь. Собака

не смогла его выследить, и Бекан сам отправился на охоту.

Я начал догадываться, что это был за зверь, хотя до сих пор ни одного такого не встречал.

— Похоже, это альзабо. Ведь это из его желез добывают аналептик?

— Да, альзабо, — кивнула Касдо. — Но про аналептик я ничего не знаю.

Агия расхохоталась.

— Зато Северьян знает. Он вкусил премудрости этого чудища и теперь носит в себе свою возлюбленную. Они небось даже шепчутся по ночам в самый разгар любовной страсти.

Я замахнулся на нее, но она ловко увернулась и выдвину-да стол между нами.

— Ты должен радоваться, что среди животных, явившихся на смену тем, кого истребили наши предки, оказались и альзабо. Без них ты бы навсегда потерял свою Теклу. Расскажи-ка лучше Касдо, как тебя осчастливил альзабо.

— Я искренне опечален гибелью твоей дочери, — обратился я к Касдо, — и обещаю защитить твой дом от чудовища, если на то есть воля свыше.

Мой меч стоял у стены, и я взял его, дабы доказать свою готовность подтвердить слова действием. И вовремя, ибо в этот самый миг за

дверью раздался мужской голос:— Дорогая, открой мне!Агия и я кинулись перехватить Касдо, но опоздали: она уже отодвинула засов. Дверь распахнулась.

Чудовище, ожидавшее за дверью, стояло на четырех лапах, и, несмотря на это, его горбатые плечи находились на уровне моей головы. Его собственная голова сидела низко, над кончиками ушей громоздился косматый загривок. Огонь очага высвечивал белые клыки; глаза горели красным пламенем. Мне доводилось смотреть в глаза многим пришельцам, явившимся из-за края света. По утверждению некоторых мудролюбов, их привлекает вымирание местных родов, когда племена дикарей с каменными ножами и факелами заполняет местности, разоренные войной или эпидемией; но их глаза — это глаза диких зверей, не более. Огненный взгляд альзабо был иным, в нем не хватало ни человеческой осмысленности, ни животного простодушия. Так, думал я, мог смотреть дьявол, восставший наконец из бездны на какой-нибудь черной звезде; однако я помнил и обезьянолюдей: их и вправду называли дьяволами, но глаза у них были человеческие. На миг почудилось, что дверь еще можно успеть закрыть. Касдо, которая сначала в ужасе

отпрянула, теперь опомнилась и попыталась ее захлопнуть. Альзабо наступал медленно, почти лениво, и все же он оказался проворней, и край двери ударился о его ребра, словно о камень.

— Оставь дверь открытой! — крикнул я. — Пусть хоть какой-нибудь свет проходит.

Я вынул из ножен «Терминус Эст», пламя очага заиграло на его лезвии, словно я сжимал в руке пылающий факел.

Служивший оружием приспешникам Агии арбалет, стрелы которого возгорались при трении о воздух и вспыхивали при попадании, как брошенные в огонь угли, был бы здесь, несомненно, сподручнее; однако «Терминус Эст» давно стал продолжением моей руки, и к тому же альзабо получил бы возможность наброситься на меня, если бы я промахнулся и принялся перезаряжать оружие.

Длинное лезвие моего меча также не гарантировало избавления от этой опасности. Его незаостренная квадратная оконечность не пронзила бы зверя, если б тот прыгнул. Мне бы пришлось поразить альзабо в воздухе, и хотя я не сомневался, что у меня хватит сил отсечь голову с его могучей шеи, в случае промаха смерть бы последовала незамедлительно. К тому же, чтобы

ударить, надо было как следует размахнуться, а места в тесной комнате явно не хватало, да и очаг угасал, а я остро нуждался в свете.

Старик, мальчик Северьян и Касдо исчезли; я не знал наверняка, поднялись ли они на чердак по приставной лестнице, пока я смотрел в глаза зверя, или проскочили в дверь за его спиной. Осталась одна Агия; она забилась в угол, прижавшись спиной к стене, и сжимала в руках принадлежавший Касдо посох с железным наконечником, чтобы при случае воспользоваться им как оружием: так отчаявшийся моряк пытается оттолкнуть багром вражеский галеас. Я понимал, что, заговорив с нею, привлеку к ней внимание; с другой стороны, если зверь хотя бы повернул голову в ее сторону, я бы успел разрубить ему позвоночник.

— Агия, — обратился я к ней, — мне очень нужен свет. В темноте зверь меня убьет. Однажды ты сказала своим людям, что встретишь меня лицом к лицу, если они нападут на меня сзади; я встречусь лицом к лицу с чудовищем, если только ты принесешь мне свечу.

Она кивнула, давая понять, что смысл моих слов до нее дошел, и в тот же миг зверь двинулся на меня. Вопреки ожиданиям, он не прыгнул,

но наступал справа ленивой и вместе с тем проворной походкой, подбираясь все ближе, но не решаясь подойти на расстояние вытянутого меча. Я быстро понял, что, заняв позицию около стены, он ограничивал для меня возможность атаки, и если он успеет обойти меня (что ему почти удалось) и встать между мною и очагом, я лишусь всех преимуществ, которые мне давал свет.

Итак, мы начали осторожную игру, в которой альзабо пытался сделать своими союзниками стол, стулья и стены, а я старался выгадать как можно больше пространства для своего меча.

И вот я прыгнул вперед. Альзабо увернулся от удара, меч просвистел на расстоянии пальца от его головы; потом он рванулся ко мне и отступил — как раз вовремя, чтобы не попасть под мой ответный выпад. Его челюсти, в которых поместилась бы человеческая голова, щелкнули у самого моего лица, обдав меня гнусным зловонным дыханием. За стенами дома снова загрохотало, да так близко, что после громовых раскатов я услыхал треск — то упало огромное дерево, гибель которого эти раскаты и огласили; вспыхнула молния, озарив страшным светом все — до последней мелочи, и от этой вспышки я онемел и ослеп. Я обрушил «Терминус Эст» в на-

ступившую затем черноту, услыхал, как лязгнуло о кость лезвие, потом отскочил в сторону и под новые раскаты грома рубанул еще, на этот раз лишь разнеся в щепки что-то из мебели.Зрение вернулось ко мне. Пока альзабо и я обманными выпадами пытались выбить друг друга с занятых позиций, Агия тоже не ждала и, когда сверкнула молния, рванулась к лестнице. Она уже была на полпути к спасительному чердаку, и я видел, как Касдо протягивает вниз руки, чтобы помочь ей подняться. Альзабо стоял передо мной на первый взгляд целый и невредимый, однако у передней лапы темнела лужа крови. При свете очага его всклокоченная шерсть казалась красной, а когти, тоже красные, были больше и крепче медвежьих, они словно светились насквозь. И снова послышался тот самый голос, что произнес: "Дорогая, открой мне!», и снова я испытал омерзение посильнее, чем если бы заговорил труп.— Да, я ранен. Однако боль ничтожна, и я могу стоять и передвигаться, как раньше. Тебе не удастся навсегда разлучить меня с семьей.

Из звериной пасти доносился голос сурового и, несомненно, честного мужа. Я достал Коготь и положил на стол, но он лишь мерцал слабой синей искоркой.

— Свет! — крикнул я Агии.

Но свет так и не зажегся, и я услышал стук убираемой наверх лестницы.— Путь к бегству для тебя отрезан, — произнес зверь голосом мужчины.— Так же, как и твой путь к наступлению. Ты не сможешь прыгнуть высоко с раненой лапой.

Голос резко переменился, и зверь жалобно захныкал, как маленькая девочка:— Но я могу влезть на стол. Неужели, по-твоему, я не догадаюсь подвинуть стол под люк в потолке? Я, способный говорить?— В таком случае ты все-таки принимаешь себя за зверя.

Снова заговорил мужской голос:— Мы считаем, что находимся внутри зверя, как когда-то находились в оболочках из плоти, которые зверь пожрал.— И ты согласишься, чтобы он пожрал твою жену и сына, Бекан?

— Я буду управлять его действиями. Я уже управляю им. Я хочу, чтобы Касдо и Северьян отправились к нам, сюда, как я сегодня пришел к Севере. Когда свет погаснет, ты тоже умрешь — соединишься с нами, — а потом и они.

Я засмеялся.

— Ты, видно, забыл, что я даже в темноте сумел тебя ранить? — Не опуская «Терминус Эст», я прошел по комнате к обломкам стула, схватил

то, что осталось от спинки, и швырнул в очаг, взметнув облако искр. — Хорошо высушенное дерево, да еще натертое пчелиным воском чьей-то заботливой рукой, будет ярко гореть.— Все равно потом наступит темнота. — Голос зверя-Бекана был безгранично спокоен. — Наступит темнота, и ты придешь к нам.— Нет. Когда стул догорит и станет темно, я брошусь на тебя и убью. А сейчас я жду, пока ты истечешь кровью.

Наступило молчание, тем более жуткое, что на морде чудовища не отражалось ни малейшего признака мысли. Как остатки нервных структур Теклы с помощью вытяжки из органов вот такой твари поселились в ядрах клеток лобной части моего мозга, так мужчина и его дочь блуждали где-то в темных лабиринтах звериного мозга и верили, что живы; но какова была их призрачная жизнь, какие мысли и желания их посещали, я и представить себе не мог. Наконец мужской голос произнес:— Значит, через одну-две стражи я убью тебя или ты — меня. Либо мы погибнем оба. Если я сейчас уйду в темноту и дождь, станешь ли ты меня выслеживать, когда Урс повернется к свету? Не спрячешься ли в доме, чтобы уберечь от меня женщину и ребенка, которые принадлежат мне?— Нет.

— Слово чести? Можешь поклясться на мече, хоть его и нельзя обратить к солнцу?

Я отступил назад и, перевернув «Терминус Эст», взял его за лезвие так, что его оконечность почти касалась моего сердца.

— Клянусь этим мечом, знаком моего искусства, что не стану выслеживать тебя завтра, если сегодня ночью ты сюда не вернешься. И в этом доме я также не останусь.

Альзабо повернулся стремительно, словно змея. В какой-то миг я, наверное, мог бы нанести удар по его мощной спине. Но он исчез, и ничто не напоминало о нем, кроме распахнутой двери, разнесенного в щепки стула и лужи крови (которая показалась мне темнее, чем кровь животных нашего мира), просачивающейся в щели между старыми половицами.

Я подошел к двери и заложил засов, потом вернул Коготь в мешочек, который носил на шее, и, по совету альзабо, придвинул стол к люку, чтобы легче было залезть. Касдо и старик в испуганном ожидании притаились в дальнем углу, маленький Северьян был с ними, и в его глазах я прочел, что воспоминания о сегодняшней ночи будут преследовать его еще лет двадцать. Фонарь, подвешенный за стропило, освещал их неровным

светом.

— Как видите, я остался жив, — обратился я к ним. — Вы слышали, о чем мы говорили внизу? Касдо кивнула.

— Если бы вы принесли мне свет — я ведь просил вас об этом, — я не сделал бы того, что сделал. Теперь же я ничем вам не обязан. На вашем месте я бы с рассветом покинул дом и спустился в долину. Решайте сами.

— Нам было страшно, — пробормотала Касдо.

— Мне тоже. А где Агия?

К моему удивлению, старик вытянул руку, указывая куда-то; я поглядел в ту сторону и обнаружил, что густо набросанная на крышу солома раскидана, образовав щель, достаточно широкую для гибкого тела Атии.

Остаток ночи я проспал у очага, предупредив Касдо, что убью всякого, кто спустится с чердака. Утром я обошел дом кругом: как и следовало ожидать, кинжал Агии был вытащен из ставня.

17. МЕЧ ЛИКТОРА

— Мы уходим, — сказала мне Касдо, — но прежде я приготовлю завтрак. Если не хочешь, можешь не садиться с нами за стол.

Я кивнул и остался ждать на пороге; она вынесла деревянную миску каши, сваренной на воде, и деревянную же ложку. Я пошел к ручью и присел. С обеих сторон ручей скрывали заросли камыша: я не спешил себя обнаруживать. Пожалуй, я нарушил данную альзабо клятву, но я остался в зарослях и наблюдал за домом.

Вскоре показались Касдо, ее отец и малыш Северьян. В руках у женщины был узел и мужнин посох; старик и мальчик несли по мешочку. У их ног вертелся пес, который, по-видимому, при появлении альзабо забился под дом и сидел там, пока зверь не ушел. Я не виню его за это, хотя Трискель поступил бы иначе. Касдо оглянулась, ища меня взглядом. Не заметив меня, она положила на порог какой-то сверток.

Я смотрел, как они шли по краю неширокого поля, вспаханного и засеянного не более месяца назад. Теперь урожай с него достанется птицам.

Ни Касдо, ни ее отец не кинули назад ни единого взгляда, и только мальчик Северьян остановился у первой горной гряды и обернулся, чтобы еще раз увидеть единственный дом, который он знал в своей жизни. Каменные стены хижины стояли, как всегда, надежно, а над трубой все еще вился дымок от очага, над которым мать готовила завтрак. Наверное, она окликнула мальчика, потому что он поспешил за ней и скрылся из виду.

Я вышел из своего укрытия и направился к дому. В оставленном на пороге свертке я обнаружил два мягких одеяла из шерсти гуанако и кусок сушеного мяса, завернутый в чистую ветошку. Мясо я положил в ташку, а одеяла связал вместе и перебросил через плечо.

Воздух после дождя был прозрачен и чист, и я радовался мысли, что сейчас покину каменную хижину, пропахшую дымом и снедью. Я заглянул внутрь и увидел на полу черное пятно от крови альзабо и сломанный стул. Касдо передвинула стол на прежнее место, и Коготь, так слабо мерцавший вчера, не оставил на нем никакого следа. В доме не оказалось ничего, что могло бы пригодиться в дороге. Я вышел и захлопнул дверь.

Я отправился вслед за Касдо и ее спутниками. Нет, я не простил ей то, что она не посветила мне

вчера во время схватки с альзабо, — ей ничего не стоило опустить фонарь из люка. И все же я не мог особенно винить ее за то, что она приняла сторону Агии, — ее, оставшуюся в одиночестве под неподвижными взглядами гор, под их ледяными венцами; что же до старика и ребенка, то о какой-либо вине здесь вообще говорить не приходилось, а уязвимы они были не меньше женщины.

Тропа была не каменистой, а земляной, поэтому я следовал за ними в буквальном смысле слова: я видел отпечатки маленьких ног Касдо, совсем крошечные — мальчика, делавшего два шага на каждый шаг матери, и следы старика с вывернутыми наружу носками. Я двигался медленно, чтобы не настичь их, и, зная об опасности, которая с каждым шагом все больше угрожала мне, я в глубине души надеялся, что патрули архона, учинив им допрос, тем самым предупредят меня. Касдо не могла меня выдать: любые, самые достоверные сведения, которые она представила бы димархиям, только сбили бы их с толку, а если рядом рыскал альзабо, я надеялся услышать или почуять его прежде, чем он нападет, — я ведь не обещал ему оставить его добычу без охраны, а лишь покинуть дом и не преследовать

его самого.

Скорее всего дорога представляла собой обычную звериную тропу, которую Бекан протоптал несколько шире; вскоре и она исчезла. Здешние пейзажи были не столь безжизненны, как за верхней границей леса. Южные склоны покрывали мхи и низкорослые папоротники, из каменных расщелин пробивались сосны и пихты. И постоянно слышался шум падающей воды. Текла во мне припомнила, как ходила на этюды в очень похожее место в сопровождении учителя и двух угрюмых телохранителей; я был почти уверен, что вот-вот наткнусь на мольберт, палитру и коробку перепачканных красками кистей, брошенные в сердцах подле какого-нибудь водопада, в котором более не отражалось солнце.

Ничего такого я, конечно же, не увидел; за несколько стражей пути мне не встретилось ни единого свидетельства пребывания человека. Следы Касдо, мальчика и старика мешались со следами оленей, да дважды я заметил осторожные следы кравшейся за стадом желтой дикой кошки. Все они, несомненно, были оставлены на восходе, когда прекратился дождь.

Вдруг я увидел ряд следов, оставленных босой ногой, которая была больше ноги старика. Следы

превосходили по размерам и те, что оставляли мои обутые в сапоги ноги, да и шаг идущего был явно шире. Они тянулись по правую сторону от тех, по которым шел я, но один из них смял отпечаток ноги мальчика: значит, оставивший его побывал здесь после Касдо. Я поспешил вперед.

По моим предположениям, новые следы принадлежали автохтону, хотя длина шагов оставляла меня в недоумении — ведь дикие жители гор обычно низкорослы. Если это действительно был автохтон, то Касдо и ее спутникам не угрожала серьезная опасность, хотя вещи он, конечно, мог и украсть. Судя по тому, что я знал об автохтонах, они были умелыми охотниками, но воинственностью не отличались.

Тем временем следов босых ног стало больше. К первому чужаку присоединились еще двое или трое.

Будь это дезертиры, дело приняло бы другой оборот: эти люди и их женщины составляли около четверти узников Винкулы, и многие из них были повинны в совершении самых гнусных злодеяний. Дезертиры хорошо вооружены, но я не сомневался, что они так же хорошо обуты, во всяком случае — не босы.

Передо мною поднимался крутой уступ. Я уви-

дел выбоины, оставленные посохом Касдо, и поломанные ветки кустов, за которые Касдо и старик хватались, чтобы не соскользнуть вниз, — и их преследователи, вероятно, тоже. Я подумал, что старик, должно быть, уже выбился из сил, и удивительно, как его дочери удавалось его подгонять; возможно, он или же все путники уже знали, что за ними гонятся. Добравшись до гребня, я услыхал собачий лай и сразу за ним — дикий бессловесный вопль, словно прошедшая ночь теперь отзывалась эхом.

Но это был не жуткий, нечеловеческий рев альзабо. Раньше я часто слышал этот звук: когда я лежал в своей койке по соседству с Рошем, он едва достигал моих ушей, когда же я разносил еду дежурным подмастерьям и их клиентам в подземелье, он звучал постоянно. А именно то был крик одного из обитателей третьего уровня, не владевших членораздельной речью, и потому, из практических соображений, их никогда не приводили в зал для допросов.

Это были зоантропы, чьи маски я видел на балу у Абдиеса. Взобравшись на вершину, я увидел их; увидел и Касдо с отцом и мальчиком. Людьми их нельзя было назвать, но на расстоянии их можно было принять за людей — девятеро голых

существ приседали и подпрыгивали вокруг троих путников. Я бросился к ним, но в этот миг один из них взмахнул дубинкой, и старик упал.

Я остановился в сомнении, и то был страх не Теклы, но мой собственный.

С обезьянолюдьми я сражался, может быть, и храбро, но у меня не было другого выхода. Я до последнего противостоял альзабо, но и там бежать было некуда: в темноте он, разумеется, убил бы меня.

Теперь же я мог выбирать и потому колебался.

Живя в горах, Касдо не могла не знать о них, хотя, вполне возможно, никогда не встречала их раньше. Пока мальчик цеплялся за ее юбку, она размахивала посохом, словно саблей. Сквозь вопли зоантропов до меня донесся ее крик — пронзительный, невнятный, далекий. Я ощутил прилив ужаса, который всегда испытываешь при виде подвергающейся нападению женщины, но помимо него, а возможно, и глубоко под ним жила обида: она не захотела сражаться на моей стороне, так пусть теперь сама выпутывается.

Конечно, долго это не могло продолжаться. Эти твари либо сразу пугаются и бегут, либо не бегут вовсе. Один из них выхватил у Касдо из рук посох; я обнажил «Терминус Эст» и бросился вниз по

склону к ней на подмогу. Голое животное толкнуло ее на землю и приготовилось совершить насилие.

И вдруг из леса слева от меня вырвалось нечто огромное. Оно было так велико и двигалось так стремительно, что я поначалу принял его за рыжего жеребца, сбросившего где-то и седло, и седока. И только когда сверкнули клыки и бешено закричал зоантроп, я понял, что это альзабо.

Остальные зоантропы тут же накинулись на него. Головки их палиц, вытесанных из железного дерева, в неком гротескном преломлении напоминали головы кур, клюющих с земли рассыпанные для них зерна. Один зоантроп взлетел в воздух и, мгновение назад нагой, теперь казался завернутым в алый плащ.

Когда я добежал до места побоища, альзабо уже лежал на земле, и я мог не обращать на него внимания. «Терминус Эст» кругами рассекал воздух над моей головой. Вот упало одно голое тело, потом другое. У самого моего уха пронесся камень величиной с кулак, так близко, что я даже расслышал свист; попади он в цель, я тут же рухнул бы замертво.

И все же это были не обезьянолюди, жители шахты, которых собралось такое множество, что

разбить их окончательно просто не представлялось возможным. Я рассек одного зоантропа от плеча до пояса, почувствовав при ударе, как ломается и крошится о лезвие каждое ребро, потом обрушил меч на другого, расколов ему череп.

В наступившей тишине я слышал только всхлипывания мальчика. Семь зоантропов лежали на траве; четверых, наверное, сокрушил «Терминус Эст», а троих прикончил альзабо. Из его пасти свисало тело Касдо, ее голову и плечи чудовище уже успело сожрать. Старик, знавший Фехина, лежал недвижим, словно кукла; великий художник наверняка создал бы из его гибели произведение искусства, выбрав перспективу, какую никому не удалось бы найти; изобразив бесформенные останки головы, он передал бы величие и тщету человеческой жизни. Но Фехина рядом не было. Пес с окровавленными челюстями валялся подле старика.

Я оглянулся в поисках мальчика и с ужасом увидел его свернувшимся у самой спины альзабо. Чудовище, несомненно, позвало его голосом отца, и он пришел. Лапы зверя судорожно подергивались, глаза были закрыты. Когда я взял малыша за руку, из пасти альзабо показался язык, широкий и толстый, как у быка, словно он хотел лизнуть

мальчику ладонь, но в этот миг его плечи затряслись с такой силой, что я отпрянул. Язык так и остался лежать на траве, как тряпка. Я оттащил мальчика в сторону. — Ну-ну, малыш, не плачь, все позади. Ты цел? Он кивнул и разрыдался, и я еще долго укачивал его на руках.

Некоторое время я раздумывал, не достать ли Коготь, хоть он и не помог мне в доме Касдо, да и раньше не всегда помогал. Если бы, однако, его сила подействовала, то предугадать результат было почти невозможно. Мне вовсе не хотелось дарить новую жизнь альзабо или зоантропам, а какая новая жизнь может ждать обезглавленный труп Касдо? Что же до старика, он и так стоял на краю могилы; теперь он умер, и смерть его была быстрой. Будет ли он мне благодарен, если я верну его назад, чтобы через год-два ему снова пришлось умирать? Камень лучился на солнце, но этот блеск был лишь игрой солнечного света, а не сиянием Миротворца, отражением Нового Солнца, и я убрал его. Мальчик смотрел на меня широко раскрытыми глазами.

«Терминус Эст» был перепачкан кровью по самую рукоять. Я сел на поваленное дерево и, размышляя, что делать дальше, принялся обтирать его о начинавшее гнить древесное волокно,

потом наточил и смазал маслом клинок. Меня не интересовало, что станется с трупами зоантропов и альзабо, но оставлять тела Касдо и старика на поругание диким зверям было бы низко.

Кроме того, поступить так означало бы проявить неблагоразумие. Что, если явится другой альзабо и, изглодав тело Касдо, отправится на поиски ее сына? Я подумал, не отнести ли оба трупа назад, в хижину. Но хижина была далеко, оба тела сразу я нести не мог, а любое оставленное здесь наверняка окажется растерзанным к моему возвращению. Привлеченные столь богатой кровавой добычей, над головой уже кружили падальщики-тераторны, чьи крылья в размахе достигали длины главной палубы каравеллы.

Я исследовал грунт, ища место с достаточно мягкой почвой, чтобы ее можно было копать посохом; наконец оттащил оба тела к ручью на каменистую косу и сложил над ними нечто вроде склепа. Я надеялся, что под ним они пролежат почти год, вплоть до начала таяния снегов, приходившегося на праздник Святой Катарины, а талые воды смоют останки отца и дочери.

Малыш Северьян поначалу лишь наблюдал за мной, но спустя некоторое время стал сам подносить мелкие камушки для пирамиды. Когда мы

смывали в ручье пот с песком, он спросил:

— Ты кто, мой дядя?

— Я твой отец, — ответил я, — по крайней мере, на время. Если у ребенка умирает папа, кто-то должен его заменить. Вот я и стал тебе отцом.

Мальчик задумчиво кивнул, а я неожиданно для себя вспомнил, как мечтал позапрошлой ночью о мире, в котором все люди будут связаны кровным родством, являясь потомками одной пары колонистов. Так я, не ведающий даже имен своих отца и матери, вполне мог оказаться родным этому ребенку, носящему одно со мной имя, — ему и любому встречному. Мир, о котором я грезил, стал для меня ложем, где я мог приклонить голову. Я не в силах описать ту серьезность, с которой мы носили камни к ручью, как невинно и торжественно было лицо мальчика и как были огромны его глаза с искрящимися каплями воды на ресницах.

18. ДВА СЕВЕРЬЯНА

Я припал к ручью и пил сколько мог; мальчику я велел делать то же самое, ведь в горах много безводных мест и вполне могло случиться, что до утра мы не встретим ни одного источника. Он спросил, не вернемся ли мы домой; я действительно собирался идти назад, к домику Касдо и Бекана, но теперь передумал и ответил отрицательно. Я понял, как тяжело будет ему снова увидеть эту крышу, поле и садик, а потом опять покинуть родные места. Такому малышу, пожалуй, могло показаться, что его папа, мама, сестренка и дедушка все еще где-то рядом.

Но дальше спускаться мы тоже не могли — мы и так находились ниже той границы, за которой мое путешествие становилось опасным. Власть архона Тракса распространялась более чем на сотню лиг, а теперь еще и Агия могла пустить его димархиев по моему следу.

К северо-востоку от нас поднимался горный пик, выше которого мне не доводилось видеть. Не только голову его, но и плечи обнимал снежный покров; снег лежал и на его груди. Я не мог

разглядеть, да и никто, наверное, не знал, чье горделивое чело было обращено на запад поверх столь многих менее значительных вершин; несомненно было одно: он царствовал в самые ранние и славные дни человечества и управлял силами, способными придавать форму граниту, как нож резчика — дереву. Я смотрел и думал, что даже упрямые димархии, так хорошо знавшие дикие высокогорные края, наверное, остановились бы перед ним в благоговении. И вот мы направились прямо к нему, вернее, к возвышенному переходу, соединявшему его складчатую мантию с горой, на склоне которой Бекан когда-то выстроил дом. Подъемы не были особенно тяжкими, так что поначалу ходьба отнимала у нас больше сил.

Малыш Северьян часто брал меня за руку, даже когда в моей поддержке не было необходимости. Я плохо определяю возраст детей, но он, по-видимому, был в тех летах, когда, окажись он одним из наших учеников, он вошел бы в класс мастера Палаэмона — то есть он хорошо ходил и речь его была достаточно развита, чтобы понимать других и объясняться самому.

За целую стражу, если не больше, он не произнес ни слова, за исключением того вопроса, о котором я уже упоминал. Когда же мы спускались

по широкому поросшему травой и окаймленному соснами склону, напоминавшему место, где погибла его мать, он спросил:

— Северьян, а кто были те люди? Я понял, о ком он говорил.

— Это не люди, хотя когда-то были людьми и до сих пор их напоминают. Это зоантропы, то есть звери, похожие на людей. Понимаешь?

Мальчик с серьезным видом кивнул и снова спросил:

— А почему они без одежды?

— Потому что, как я уже сказал, они перестали быть людьми. Собака родится собакой, птица — птицей, но быть человеком — это достижение, об этом постоянно нужно размышлять. Вот ты, малыш, размышляешь об этом последние три-четыре года, хотя, наверное, и не подозреваешь об этом.

— Собака просто ищет еду, — заметил мальчик.

— Верно. Но вот вопрос: следует ли принуждать человека думать? Давным-давно некоторые люди решили, что им это не нужно. Собаку еще можно заставить вести себя, как человек, — ходить на задних лапах, носить ошейник вроде воротника и делать много других подобных трюков. Но невоз-

можно и не должно заставлять человека вести себя по-человечески. Тебе доводилось засыпать по собственной воле? Когда глаза не слипаются и нет ни капли усталости?

Он кивнул.

— Это потому, что тебе хотелось сбросить бремя мальчика, хотя бы на время. Иногда я пью слишком много вина — это оттого, что мне хочется ненадолго перестать быть мужчиной. Некоторые люди для этого лишают себя жизни. Ты знал об этом?

— Или делают себе больно.

Тон, которым Северьян произнес эти слова, многое мне объяснил: скорее всего именно таким и был Бекан, иначе он не увел бы свою семью в столь далекое и опасное место.

— Да, — ответил я, — так тоже бывает. Но случается, что люди, и среди них есть женщины, исполняются ненавистью к обременительному размышлению, но смерть при этом они вовсе не любят. Они видят животных и хотят стать, как они: знать только инстинкт и ни о чем не думать. А ты, Северьян, знаешь, где у тебя рождаются мысли?

— В голове, — не задумываясь, ответил мальчик, обхватив голову руками.

— У животных тоже есть голова — даже у таких глупых, как раки, быки и клещи. А мысли родятся в небольшой части головы — той, что находится над глазами. — Я дотронулся до его лба. — Если тебе зачем-то понадобится отрезать себе руку, существуют люди, которые умеют это делать. Например, твоя рука сильно болит и никогда не пройдет. Они смогут так искусно ее отнять, что остальному телу никакого вреда не будет.

Мальчик кивнул.

Вот и хорошо. Эти же люди могут вынуть из твоей головы ту самую частицу, благодаря которой ты думаешь. И обратно, как ты понимаешь, вложить уже не в состоянии. А если бы и смогли, ты сам не сумеешь их попросить, поскольку лишишься ее. Случается, однако, что некоторые все-таки просят тех людей удалить эту часть и даже платят им. Они хотят навсегда перестать думать и заявляют о желании отказаться от всего, что создано человечеством. Поэтому к ним уже нельзя относиться как к людям: они сделались животными, хотя внешне похожи на людей. Ты спрашиваешь, почему они не носят одежды? Просто они не понимают, что это такое, и уже никогда не смогут одеваться, даже в холод, хотя лечь на одежду или завернуться в нее они еще

способны.

— А сам ты не такой — хотя бы немножко? — спросил мальчик, указывая на мою обнаженную грудь.

Я даже опешил: ничего подобного у меня никогда и в мыслях не было.

— Таково правило моей гильдии, — ответил я. — Мне ничего из головы не удаляли, если ты это имеешь в виду. Когда-то и я носил рубашку… Но ты прав; наверное, я чуть-чуть похож на них, потому что ни разу о ней не вспоминал, даже в самый жгучий холод.

Судя по его взгляду, я только подтвердил его подозрения.

— И поэтому ты убегаешь?

— Нет, не поэтому. Если уж на то пошло, я убегаю по обратной причине. Та часть моей головы, похоже, чересчур разрослась. Но насчет зоантропов ты прав — они бежали в горы именно поэтому. Когда человек становится зверем, этот зверь очень опасен, в населенных местах, например, на фермах, где много людей, таких не терпят. Вот их и оттесняют в горы, а иногда их приводят сюда старые друзья или люди, которым они заплатили, прежде чем лишиться дара человеческой мысли. Они, конечно, могут еще немного

думать, как и все животные, — достаточно, чтобы искать пищу в диких лесах и горах, хотя каждую зиму многие из них погибают. Достаточно, чтобы кидаться камнями, как обезьяны орехами, чтобы драться дубинками и даже добывать себе подруг, поскольку, как я сказал, среди них есть и женские особи. Их сыновья и дочери долго не живут, да оно и к лучшему: ведь рождаются они, как мы с тобой, обремененными разумом.

Когда я кончил говорить, это бремя обрушилось на меня с неимоверной силою, и я впервые воистину осознал, что для других оно может быть таким же проклятьем, каким иногда становится для меня память.

Я никогда не был чувствителен к красоте, но красота гор и неба подчинила себе мои размышления, и я, казалось, приблизился к постижению непостижимого. Когда после первого представления пьесы доктора Талоса передо мной появился мастер Мальрубиус — что было выше моего понимания тогда, да и сейчас тоже, хотя теперь во мне возросла уверенность в реальности происшедшего, — он заговорил со мной о кольцевой структуре власти, хотя к управлению я никакого касательства не имел. Сейчас я внезапно осознал, что и сама воля управляема если не разумом,

то чем-то низшим либо, напротив, высшим по отношению к нему. Но которым из двух, сказать было чрезвычайно сложно. Инстинкт есть, разумеется, нечто низшее; а вдруг он одновременно располагается и на более высокой ступени, чем разум? Когда альзабо бросился на зоантропов, его инстинкт повелевал ему отобрать у других свою добычу; когда то же самое сделал Бекан, его инстинкт направлял его на спасение жены и ребенка. Двое предприняли единое действие и в едином теле. Что это: согласие высшего и низшего начал где-то в глубинах разума? Или существует только инстинкт, стоящий за всеми действиями разума, так что тот со всех сторон видит лишь направляющую его руку?

Прав ли мастер Мальрубиус, и действительно ли инстинкт есть та «преданность персоне правителя», которая составляет одновременно и высшую, и низшую основу правления? Инстинкт сам по себе не мог возникнуть из ничего — это ясно; крылатые хищники, парившие у нас над головами, строили гнезда, повинуясь инстинкту; но наверняка когда-то было время, когда гнезда не строили, и первая птица, свившая гнездо, не могла унаследовать этот инстинкт от родителей, поскольку те не знали его. Подобный инстинкт

не мог развиться и постепенно; навряд ли тысячи поколений птиц приносили в клюве одну веточку, пока какой-то из них не пришло в голову принести две: ведь из одной-двух веток гнезда не совьешь. Возможно, впереди инстинкта идет высший и одновременно низший принцип управления волей. Возможно, и нет. Паривше в небе птицы чертили в воздухе свои письмена, но не мне было их читать.

Дорога, ведущая к седловине, которая соединяла нашу гору с еще более высокой и уже описанной мною, казалось, пролегала над ликом всего Урса, соединяя полюс с экватором; поверхность, над которой мы карабкались, как муравьи, поистине походила на наш вывернутый наизнанку шар. Позади и впереди, насколько хватал глаз, простирались сверкающие снежные поля. Под ними тянулись каменные склоны, подобные берегам скованного льдом южного моря. Еще ниже раскинулись высокогорные луга, поросшие дикими злаками, сквозь которые пестрели пятна полевых цветов; я хорошо помнил другие луга, те, что видел под собой позавчера, и из-под синей дымки, обвивавшей грудь высившейся впереди горы, словно аксельбант, проглядывала их зеленая лента; темный сосновый лес под нею

казался черным.

Седловина, к которой мы спускались, представляла собой совсем иное зрелище: бескрайние широколиственные леса, где высокие, в тридцать кубитов, деревья тянулись чахлыми кронами к умирающему солнцу. Их погибшие собратья, поддерживаемые живыми, стояли прямо, завернутые в лиановые саваны. У ручейка, где мы остановились на ночлег, растительность имела не столь болезненный вид и пышностью напоминала долину. Мы подошли к седловине достаточно близко, и мальчик мог хорошо ее рассмотреть. Когда необходимость идти и карабкаться по камням уже не отнимала все его внимание и силы, он спросил, указывая вниз, будем ли мы еще туда спускаться.

— Будем, но завтра, — ответил я. — Скоро стемнеет, а по этим дебрям лучше ходить днем.

При слове «дебри» его глаза расширились.

— Это опасно?

— Точно не знаю. Когда я жил в Траксе, я слыхал, что насекомые в здешних лесах не опасней тех, что обитают в низинах, да и летучие мыши-кровососы нас не потревожат — одна такая мышь укусила моего друга: ничего приятного в этом нет. Но здесь водятся большие обезьяны, дикие

кошки и прочие звери.

— И волки.

— Да, и волки тоже. Волки есть и там, еще выше. На такой же высоте, как твой дом, и даже дальше.

Я сразу пожалел, что обмолвился о его доме: стоило мне произнести это слово, с его лица исчезла радость жизни, которая только-только начала возвращаться к нему. На миг он, казалось, погрузился в раздумье, потом спросил:

— Когда эти люди…

— Зоантропы. Он кивнул.

— Когда зоантропы пришли и напали на маму, ты сразу побежал на помощь?

— Да. Я побежал сразу, как только смог. В некотором смысле это была правда, но она вызывала болезненное неудобство.

— Это хорошо, — вздохнул он. Я расстелил одеяло, и он лег. Я обернул одеяло вокруг него. — Звезды стали ярче; правда? Они всегда ярче, когда солнце уходит.

Я лег рядом с ним и взглянул вверх.

— Оно на самом деле не уходит. Просто Урс отворачивает от него лицо, вот мы и думаем, что его нет. Ведь если ты на меня не смотришь, это не значит, что я ушел, хоть ты меня и не видишь.

— Но если солнце там, почему звезды горят сильнее? Судя по голосу, он был горд своей рассудительностью, да и мне она нравилась; я вдруг понял, почему мастер Палаэмон с таким удовольствием беседовал со мной, когда я был ребенком.

— Пламя свечи при ярком солнечном свете почти незаметно, — пояснил я, — так гаснут и звезды — ведь они на самом деле тоже солнца. Глядя на картины, написанные в древности, когда солнце светило ярче, мы узнаем, что в те времена звезд не было видно вплоть до наступления сумерек. Старые легенды — в моей ташке есть коричневая книга, в ней их много записано — кишат волшебными существами, которые умеют медленно исчезать и так же медленно появляться. Все эти истории возникли, несомненно, тогда, когда люди обратили внимание на звезды.

Он вытянул руку.

— Вон Гидра.

— Верно, — сказал я. — А какие еще ты знаешь? Он показал мне Крест и Большого Тельца, а я ему — Амфисбену и еще несколько созвездий.

— А вот и Волк — вон он, над Единорогом. Где-то должен быть и Малый Волк, только я никак не найду его. Мы отыскали его вместе над самым горизонтом.

— Они — как мы, правда? Большой Волк и Малый Волк. А мы — большой Северьян и маленький Северьян.

Я согласился, и он надолго уставился в небо, жуя кусок высушенного мяса, что я ему дал. Потом сказал:

— А где книжка со сказками? Я показал ему.

— У нас тоже была книжка, и мама всегда читала ее нам с Северой.

— Севера была твоей сестрой?

— Мы были близнецами, — кивнул он. — Послушай, большой Северьян, а у тебя была сестра?

— Не знаю. У меня нет семьи — все умерли. Давно, я тогда был совсем маленький. А какую сказку ты хочешь?

Он попросил меня показать книгу, и я протянул ее ему. Полистав страницы, он вернул книгу мне.

— У нас была не такая.

— Я и не сомневался.

— Тогда поищи сказку про мальчика, у которого есть большой друг и близнец. И чтобы про волков тоже было.

Я выбрал легенду и начал читать. Читал я быстро, стараясь опередить наступление темноты.

19. СКАЗКА О МАЛЬЧИКЕ ПО ПРОЗВИЩУ ЛЯГУШОНОК

Часть первая. Юное Лето и ее сын

За тридевять земель на вершине горы жила-была прекрасная женщина по имени Юное Лето. Она была королевой той страны, но король, муж ее, был сильным и безжалостным человеком. Он мстил ей ревностью за ревность и убивал любого, кого подозревал в связи с нею.

Однажды Юное Лето гуляла в саду и увидала неизвестный цветок, прекрасней которого никогда не встречала. Он был алее и душистее любой розы, но стебель был гладкий, как слоновая кость, и совсем без колючек. Она сорвала его и унесла в укромное место, но когда, любуясь, она склонилась над ним, он показался ей вовсе не цветком, но возлюбленным, о котором она давно мечтала, — могучим и нежным, как поцелуй. Соки растения вошли в нее, и она понесла. Однако королю она сказала, что ребенок — его, и, поскольку охрана при ней была надежная, король ей поверил.

Вскоре родился мальчик, и нарекли его, по желанию матери, Вешним Ветром. Когда он появился на свет, все звездочеты горы явились, чтобы составить его гороскоп; собрались даже величайшие маги Урса. Долго трудились они,

все рассчитывали да чертили карты; девять раз сходились они на священный совет и наконец объявили, что в битвах Вешний Ветер не будет знать равных и все его дети доживут до зрелых лет. Эти пророчества пришлись королю весьма по душе.

Вешний Ветер подрастал, и мать его с тайной радостью замечала, что сердцем сын больше тянется к полям, цветам и плодам. Всякое растение пышно распускалось от его прикосновения, и он охотнее брался за садовый нож, чем за меч. Но когда он вырос, разразилась война, и пришлось ему взять копье и щит. Поскольку нрава он был кроткого и во всем повиновался королю (которого почитал своим отцом и который сам считал себя таковым), многие полагали, что пророчество не сбудется. Но они ошибались. В самый разгар сражения он оставался хладнокровен, и отвага его была тщательно выверена, а осторожность благоразумна. Никто из генералов не изобретал таких хитростей и уловок, никто из офицеров не исполнял поручений так ревностно. Солдаты, которых он вел на врагов короля, были так хорошо вымуштрованы, что казались выкованными из закаленной бронзы, их преданность ему не знала границ: они были готовы следовать за ним

в Царство Теней — самую далекую от солнца страну. И люди говорили, что Вешний Ветер рушит их башни и топит их корабли, хотя Юное Лето совсем не того хотела.

С тех пор военные походы часто приводили Вешний Ветер на Урс, и там он спознался с двумя братьями-королями. У старшего росли сыновья, у младшего же была единственная дочь, и звали девочку Лесная Птичка. Когда девочка повзрослела, ее отца убили, а дядя, не желавший, чтобы она рождала сыновей, наследников дедова престола, внес ее имя в свиток жриц-девственниц. Вешний Ветер опечалился, ибо принцесса сияла красотой, а ее отец был его другом. Однажды он явился на Урс один и у ручья увидел спящую Лесную Птичку, и она пробудилась от его поцелуев.

От их союза родились двое сыновей-близнецов, но хотя жрицы ее Ордена помогали Лесной Птичке скрывать беременность от дяди-короля, прятать младенцев они уже не могли. Не успела Лесная Птичка увидеть своих детей, жрицы уложили их в корзину для зерна на пуховые одеяльца, унесли на берег того самого ручья, где Вешний Ветер застал ее врасплох, спустили корзину на воду и ушли.

Часть вторая. Лягушонок находит новую мать

Долго плыла корзина — плыла по соленым водам и пресным. Другие дети давно бы умерли, но сыновья Вешнего Ветра умереть не могли, ибо еще не достигли зрелости. Закованные в чешуйчатую броню водяные чудища плескались вокруг корзины, и обезьяны бросались в нее палками и орехами, а она все плыла и плыла, пока не прибило ее к берегу, где две бедные женщины-сестры стирали одежду. Добрые женщины увидели корзину и закричали, однако от этого было мало проку; тогда они подоткнули юбки, вошли в воду и вытащили корзину на берег.

Поскольку мальчиков нашли в реке, их назвали Рыбка и Лягушонок; сестры показали их своим мужьям, и когда те увидели, что младенцы наделены замечательной красотой и силой, каждая взяла себе одного. Та, что выбрала Рыбку, была женой пастуха, а та, что выбрала Лягушонка, — женой лесоруба.

Женщина окружила Лягушонка лаской и заботой, держала его у своей груди, ибо недавно

потеряла собственное дитя. Когда же муж уходил в дикие леса за дровами, она привязывала ребенка на спину платком, и потому сказители, певцы Древней мудрости, называли ее сильнейшей из всех женщин, ведь за спиной она держала целую империю.

Миновал год. Лягушонок научился стоять и даже делал первые шаги. Однажды вечером лесоруб и его жена сидели у костра на поляне среди дикого леса. Пока женщина готовила ужин, голенький Лягушонок подошел к костру погреться и остановился совсем рядом. Лесоруб, простой и добрый человек, спросил:

— Ну как, нравится?

Лягушонок кивнул и, хотя прежде никто не слыхал от него ни слова, промолвил:

— Алый цветок.

Говорят, при этих словах Юное Лето заметалась в своей постели за тридевять земель на вершине горы.

Лесоруб и его жена застыли в изумлении, но не успели ни поделиться друг с другом услышанным, ни попросить Лягушонка сказать еще что-нибудь, ни даже решить, что расскажут при встрече пастуху и его жене. Потому что все вокруг внезапно загудело — знающие люди говорят, что

ничего ужасней на Урсе не слыхали. Те немногие, до кого он донесся, не могли подобрать для него названия; он походил на гул пчелиного роя, на кошачий вой, как если бы кошка была размером с корову, и на звук, который издает глашатай, когда только учится своему ремеслу, — монотонное горловое пение, раздающееся со всех сторон одновременно. Это был охотничий клич смилодона, близко подкравшегося к добыче, вопль, повергающий в смятение даже мастодонтов, и они, бывает, бросаются прочь, не разбирая дороги, и получают удар клыков в спину.

Воистину, Панкреатору ведомы все тайны. Сама вселенная наша есть его долгое слово, и лишь малая толика происходящего остается вне этого слова. И значит, такова была его воля, что недалеко от костра возвышался холм, где в далекие времена находился склеп; лесоруб и его жена и не подозревали, что двое волков устроили там себе жилище, дом с низким потолком и толстыми стенами, с освещенными гнилушками галереями, уходящими вниз между обветшавших надгробий и разбитых урн, — именно такой, что нравится волкам. Там лежал волк и грыз бедренную кость корифодона; волчица, его жена, кормила щенков молоком. Они услыхали вблизи клич смилодо-

на и прокляли его на своем волчьем Мрачном Наречии, ибо ни один почитающий закон зверь не станет охотиться подле жилища другого зверя-охотника, а волки дружны с оной. Когда проклятие было завершено, волчица сказала:

— Какую добычу мог отыскать Мясник, этот безмозглый пожиратель бегемотов, если ты, о мой супруг, ты, способный учуять ящериц, шныряющих между камней в горах за пределами Урса, остаешься спокоен и безмятежен?

— Какое мне дело до падали? — огрызнулся волк. — Червей из утренней травы я тоже не вытаскиваю, и на лягушек на мелководье не охочусь.

— Но ведь и Мясник не стал бы ради них петь охотничью песнь, — возразила волчица.

Волк поднялся и понюхал воздух.

— Он охотится на сына Месхии и дочь Месхианы; от такой добычи добра не жди.

Волчица кивнула, ибо знала, что сыновья Месхии — единственные из живых тварей, кто истребляет всех и вся, если хоть один из их рода оказывается убит. Потому что Панкреатор отдал им Урс, а они отвергли дар.

Охотничья песнь смолкла, и Мясник издал такой рев, что с деревьев посыпались листья; а

вслед за тем раздался его крик, ибо испокон веку проклятия волков были сильны.

— От чего он пострадал? — осведомилась волчица, вылизывая лицо одной из дочерей. Волк снова понюхал воздух.

— Пахнет горелым мясом! Он прыгнул и попал в костер. Волк и его жена рассмеялись — беззвучно, как смеются волки, обнажив зубы; уши их стояли торчком, подобно шатрам кочевников в пустыне: они прислушивались, как пробирался сквозь чащу Мясник в поисках добычи.

Вход в волчье логово был открыт, ибо, если хотя бы один из взрослых волков находился дома, можно было не беспокоиться, что кто-нибудь войдет: выбиралось всегда меньшее. Луна ярко освещала его — она всегда желанный гость в жилище волка, — но внезапно стало темно. У входа стоял ребенок. Темнота, должно быть, пугала его, но он чувствовал сильный запах молока и не уходил. Волк оскалился, однако волчица ласково заговорила:

— Входи, дитя Месхии. Здесь тебя ждет еда, тепло и уют. Здесь ты найдешь лучших на свете товарищей для игр — ясноглазых и быстроногих.

Заслышав такие речи, мальчик вошел, и волчица, потеснив своих насытившихся детей, пустила

его к своим сосцам.

— Какой нам прок от этого создания? — удивился волк. Волчица рассмеялась.

— Грызешь старую кость и еще спрашиваешь! Разве ты забыл время, когда вокруг бушевала война и армии принца Вешнего Ветра прочесывали поля и леса? Тогда сыновья Месхии не охотились на нас — они охотились друг на друга. А после сражений выходили мы — ты, я, и весь Волчий Совет, и даже Мясник, и Тот Кто Смеется, и Черный Убийца, — рыскали среди мертвых и умирающих и вдоволь лакомились чем хотели.

— Это правда, — ответил волк, — принц Вешний Ветер на славу нам удружил. Но то был принц, а это просто щенок Месхии.

Волчица улыбнулась.

— Его шкура и шерсть на голове пахнут дымом сражений. (То был дым от Алого Цветка.) Когда первые колонны воинов выйдут из ворот его города, мы с тобой давно будем прахом, но они произведут на свет тысячи других, которые послужат пищей нашим детям и детям наших детей.

Волк кивнул, он понимал, что жена мудрее его, что, хотя его нюху и было доступно все лежавшее за пределами Урса, она умела видеть сквозь пелену грядущих лет.

— Я буду звать его Лягушонком, — решила волчица. — Потому что, как ты и сказал, о мой супруг. Мясник и впрямь охотился на лягушек.

Ей хотелось польстить своему мужу, ибо он всегда с готовностью откликался на ее прихоти; на самом же деле в жилах Лягушонка текла кровь людей, что жили на вершине горы за пределами Урса, людей, чьи имена не могут долго храниться в тайне.

Снаружи раздался неистовый хохот. Это был голос Того Кто Смеется:

— Он там, господин! Он там, там, там! Вот следы, вот, вот они! Он вошел в эту дверь.

— Видишь, что получается, когда называешь зло по имени, — заметил волк. — Легок на помине. Таков закон.

Он вынул меч и пощупал острие.

В дверях снова потемнело. Дверь была узкой, но лишь в храмах и в домах глупцов двери делают широкими, а волки глупцами не были, в нее свободно проходил только Лягушонок. Мясник же занял собою весь проход; наклонив голову и ворочая плечами, он протискивался внутрь. Стены дома были так толсты, что дверной проход напоминал коридор.

— Что тебе нужно? — спросил волк, вылизывая

лезвие меча.

— То, что принадлежит мне и только мне, — отвечал Мясник. В схватке смилодоны пользуются двумя кривыми ножами — по одному в каждой руке, — да и крупнее они волков, однако Мясник не осмеливался вступать в бой с волком на столь тесном пространстве.

— Он не твой и никогда твоим не был, — зарычала волчица. Она посадила Лягушонка на пол и подошла к непрошеному гостю почти вплотную — он мог бы ударить ее, если б посмел. Ее глаза метали молнии. — Ты не имел права охотиться, и дичь твоя противозаконна. А теперь я накормила его своим молоком, и он навсегда стал волком, луна тому свидетель.

— Что ж, я и мертвых волков видел, — усмехнулся Мясник.

— Да, и жрал их трупы, когда ими даже мухи гнушались. Возможно, когда-нибудь ты и мой сожрешь, если меня придавит упавшее дерево.

— Так ты говоришь, он волк? Тогда его надо представить Совету. — Мясник облизнул губы, но язык его был сух. В поле он еще, пожалуй, и встретился бы с волком, но столкнуться с обоими сразу не решался; к тому же он знал, что, стоит ему перекрыть дверь, они схватят Лягушонка

и отступят в подземелье, в лабиринт между поваленными камнями могильника, где волчица очень скоро обойдет его и ударит со спины.

— А тебе-то что за польза от Совета Волков? — рявкнула волчица.

— Может, не меньшая, чем ему, — проворчал Мясник и пошел искать более легкой добычи.

Часть третья. Золото Черного Убийцы

Совет Волков собирается каждое полнолуние. Являются все, кто в силах ходить, ибо всякий уклонившийся считается предателем; на него может пасть подозрение, что он нанялся за объедки стеречь скот сыновей Месхии. Волк, пропустивший два Совета, обязан предстать перед судом, и, если суд признает его виновным, волчицы убивают его.

Волчата также должны быть показаны Совету, и любой взрослый волк, если пожелает, может осмотреть их, дабы убедиться, что их отец истинный волк. (Случается, что волчица по злобе ложится с псом, но, хотя щенки часто похожи на волчат, на них всегда можно отыскать белое пятнышко, поскольку белый был цветом Месхии, хранившего в памяти чистое сияние Панкреатора; его сыновья по сей день оставляют белую метку на всем, к чему прикасаются.)

И вот в полнолуние волчица предстала перед Советом Волков; волчата резвились у ее ног, а Лягушонок — и впрямь похожий на лягушонка, ибо лившийся в окна лунный свет окрашивал его кожу зеленью — жался к ее меховой юбке. Вожак

Стаи восседал на самом высоком месте; если появление на Совете сына Месхии и удивило его, у него и ухо не дрогнуло. Он обратился к Стае:

Смотрите, волки! Вот их пять,
И каждый волком хочет стать.
Свидетели пускай придут,
И праведный свершится су-у-уд!

На Совете родители не имеют права защищать своих детей, буде кто-либо бросит им вызов; но в другое время всякая обида, причиненная волчатам, приравнивается к убийству.

«И праведный свершится су-у-уд!» — отзывались стены, и в долине сыновья Месхии позакрывали на засовы двери своих жилищ, а дочери Месхианы крепче прижали к груди детей.

Тогда из-за последнего волка поднялся Мясник и выступил вперед.

— Тут и думать нечего! — заревел он. — Ума у меня, конечно, маловато, я слишком силен, чтобы быть умным, это понятно, но здесь, перед вами, четверо волчат, а пятый не волчонок вовсе, а моя добыча.

— А по какому праву он подал голос? — возмутился волк-отец. — Сам-то он уж точно не волк.

— Выступить на Совете может всякий, если волки потребуют его свидетельства, — раздались

протестующие голоса. — Говори, Мясник!

Тогда волчица выхватила из ножен меч и приготовилась к последней схватке, если дело дойдет до драки. Глаза ее зловеще сверкали — сущий демон, ибо ангел часто оказывается лишь демоном, встающим между нами и нашим противником.

— Не волк, говоришь? — продолжал Мясник. — Это точно, не волк. Все мы знаем волчий запах, и облик, и повадки. Эта волчица выдает сына Месхии за своего, но всем известно, что если у кого мать волчица, тот еще не волк.

— Волк тот, у кого отец и мать волки! — воскликнул волк. — Я признаю, что этот детеныш мой сын!

Все захохотали, а когда хохот унялся, чей-то чужой смех еще долго раздавался среди присутствующих. Это был Тот Кто Смеется, он явился подсказывать Мяснику, как отвечать перед Советом Волков.

— Многие говорили так! — внушал он. — Только после их щенки доставались на обед Стае! Хо-хо-хо!

— Их убивали за белую шерсть, — сказал Мясник, — а у этого щенка и ее нет, только шкура, на которой шерсть растет. Как он может остаться в живых? Отдайте его мне!

— За детеныша должны заступиться двое, — объявил Вожак, — так гласит закон. Кто из вас защитит его? Он сын Месхии, но вправе ли мы назвать его также и волком? Помимо родителей за него должны заступиться двое.

И вот поднялся Нагой; его почитали членом Совета, ибо он был наставником юных волков.

— Мне никогда не приходилось учить сына Месхии, — сказал он. — Может быть, я и сам узнаю что-нибудь новое. Я вступаюсь за него.

— Нужен еще голос, — сказал Вожак. — Кто еще выскажется в пользу детеныша?

Воцарилось молчание. И тогда из глубины зала выступил Черный Убийца. Все трепетали перед ним, ибо, хотя его мех был нежнее меха самого маленького волчонка, глаза его грозно сверкали во мраке ночи.

— До меня здесь говорили двое, и они не были волками, — молвил он. — Почему бы и мне не сказать свое слово? У меня есть золото.

Он показал кошель.

— Говори! Говори! — закричали все.

— Закон также гласит, что жизнь детеныша можно купить, — сказал Черный Убийца и высыпал золото в ладонь; и так была выкуплена империя.

Часть четвертая. Рыбкина борозда

Если пересказать все приключения Лягушонка — как он жил среди волков, учился искусству охоты и боя, — это займет множество книг. Но те, в чьих жилах течет кровь людей, — что живут на вершине горы за пределами Урса, в конце концов слышат голос этой крови. В один прекрасный день он принес на Совет Волков огонь и молвил: «Вот Алый Цветок. Его именем я всхожу на царство». И никто ему не возразил, и он повел волков за собой и назвал их своим народом; приходили к нему и люди, и волки, сам же он, будучи еще отроком, казался выше мужчин своего окружения, ибо кровь Юного Лета текла в его жилах.

Однажды ночью, в час, когда зацветает шиповник, она явилась к нему во сне и поведала о матери, Лесной Птичке, о ее отце и дяде, и о том, что у него есть брат. Он разыскал брата — тот стал пастухом, — и вдвоем они отправились к королю требовать наследства, а с ними шли волки, Черный Убийца и много людей. Король уже состарился, его сыновья умерли, не оставив потомства, поэтому он отдал братьям все; Рыбка забрал себе город и угодья, а Лягушонок — порос-

шие девственными лесами холмы.

Однако число людей, последовавших за ним, все росло. Они воровали женщин из окрестных селений, у них рождались дети, и когда ставшие ненужными волки ушли в леса, Лягушонок решил, что его народу требуется город с домами, где люди могли бы жить, и крепостной стеной, которая защищала бы их от врагов в военное время. Он пошел к стадам Рыбки, выбрал белую корову и белого быка, запряг их в плуг и пропахал борозду, вдоль которой намеревался выстроить стену. Когда же Рыбка явился с просьбой вернуть ему скот, все уже было готово к строительству. Увидев борозду и узнав, что это будущая стена, он рассмеялся и перепрыгнул через нее; люди же Лягушонка, решив, что насмешка над замыслом губит дело в зародыше, убили его. Ведь он к тому времени уже достиг зрелости, поэтому предсказание, сделанное при рождении Вешнего Ветра, сбылось.

Когда Лягушонок увидел мертвого брата, он похоронил его в борозде, дабы земля обильней плодоносила. Ибо так учил его Нагой, который звался также Жестоким.

20. КОЛДОВСКОЙ КРУГ

С первым утренним лучом мы вошли в заросли горного леса, словно в дом. Позади нас в траве, на ветвях кустов и на камнях играли солнечные зайчики; мы пробрались сквозь занавес из переплетенных лиан, такой густой, что мне пришлось разрубать его мечом, и увидели перед собой лишь колонны стволов в полумраке. Не слышно было ни птичьей трели, ни жужжания насекомых. Ни единый порыв ветра не нарушал молчаливого покоя. Голая почва под ногами была поначалу столь же каменистой, как и склоны гор, но не прошли мы и лиги, как она стала мягче, и наконец мы набрели на невысокую лестницу, ступени которой были, несомненно, прорублены лопатой.

— Посмотри туда! — Мальчик тыкал пальцем во что-то красное непонятной формы, торчавшее из самой верхней ступени.

Я остановился и пригляделся. Это была петушиная голова; из птичьих глаз высовывались спицы из какого-то темного металла, а в клюв была вдета сброшенная змеиная кожа.

— Что это? — прошептал мальчик, широко

раскрыв глаза.

— Наверное, какая-то ворожба. — Ведьмина? А что она значит?

Я задумался, припоминая то немногое, что знал о черной магии. У Теклы в детстве была кормилица, которая завязывала и распускала узлы, чтобы ускорить роды, и утверждала, что в полночь видела лицо будущего мужа Теклы (уж не мое ли?) в блюде из-под свадебного пирога.

— Петух возвещает наступление будущего дня, — объяснил я мальчику, — и колдуны верят, что его крик на заре вызывает солнце. Его ослепили, думаю, для того, чтобы он не знал, когда наступит заря. Если змея сбрасывает кожу, это считается символом очищения или новой юности. Ослепленный петух удерживает старую кожу.

— И что это значит? — повторил мальчик.

Я ответил, что не знаю, но в глубине души не сомневался, что здесь ворожили против пришествия Нового Солнца. У меня защемило сердце: кто-то пытался помешать обновлению, на которое я так надеялся в детстве и в которое сейчас верил с трудом. В то же время меня не оставляла мысль о том, что я хранитель Когтя. Враги Нового Солнца непременно уничтожат его, попади он к ним в руки.

Не прошли мы и сотни шагов, как увидали свисающие с деревьев полоски красной материи: иногда простой, но порой испещренной черными письменами, разобрать которые я не смог; скорее всего это были символы и идеограммы, которыми особенно любят пользоваться шарлатаны, подражая языку астрономов, дабы приписать себе больше знаний, чем они имеют на самом деле.

— Нам лучше вернуться, — шепнул я, — либо пойти в обход.

Не успел я произнести эти слова, как позади послышался шорох. На мгновение мне показалось, что существа на тропинке — демоны с огромными глазами и черно-бело-красными полосами; но потом я разглядел, что это всего лишь люди с разрисованными телами. Они вытянули вперед руки с железными когтями. Я обнажил «Терминус Эст».

— Мы тебя не тронем, — сказал один из них. — Уходи. Оставь нас, если хочешь.

Мне показалось, что под краской у него была белая кожа и светлые волосы южанина.

— Только попробуйте меня тронуть. У меня длинный меч, и я убью вас обоих, прежде чем вы сделаете хоть шаг.

— Тогда уходи, — сказал светловолосый. — Ес-

ли, конечно, согласен оставить ребенка у нас.

Я оглянулся, ища взглядом Северьяна. Он исчез.

— Однако, если хочешь, чтобы его тебе возвратили, отдай мне свой меч и следуй за нами.

Без тени страха раскрашенный человек приблизился ко мне и протянул обе руки. Стальные когти мелькнули между пальцами: они были прикреплены к узким железным пластинам на ладонях.

— Я не стану просить дважды.

Я вложил меч в ножны, расстегнул перевязь и отдал все ему.

Он закрыл глаза. Веки были покрыты черными точками, подобно раскраске некоторых гусениц, из-за которой птицы принимают их за змей.

— Выпил много крови.

— Это правда, — ответил я.

Он открыл глаза и устремил на меня долгий немигающий взгляд. Его разрисованное лицо, как и лицо другого, стоявшего позади, было бесстрастно, словно маска.

— Новый меч был бы здесь бессилен, но этот может принести беду.

— Надеюсь, он будет мне возвращен, когда я и мой сын покинем вас. Что вы сделали с маль-

чиком?

Ответа не последовало. Люди обошли меня с двух сторон и двинулись по тропинке в том же направлении, в каком шли мы с Северьяном. Я немного помедлил и отправился следом за ними.

Место, куда меня привели, можно было назвать деревней, но не в обычном смысле — оно не походило ни на Сальтус, ни даже на скопления лачуг автохтонов, которые иногда нарекают деревнями. Деревья здесь были больше и стояли друг от друга дальше, чем в лесах, виденных мною ранее, а кроны их сплетались в нескольких сотнях кубитов над головой, образуя непроницаемую крышу. Поистине деревья эти были столь огромны, что казалось, их возраст исчислялся веками; в стволе одного из них были пробиты окна, а к двери вела лестница. На ветвях другого виднелось жилище в несколько этажей; к сучьям третьего было подвешено нечто напоминавшее громадное гнездо иволги. Отверстия-люки под ногами не оставляли сомнении в наличии подземных ходов.

Меня подвели к одному из люков и велели спуститься в темноту по грубо сколоченной лестнице. На миг во мне всколыхнулся неведомо откуда взявшийся страх; казалось, лестница уходит очень глубоко, в подземелья, подобные

тем, что скрывались под мрачной сокровищницей обезьянолюдей. Но я ошибся. Спустившись на глубину не более моего собственного роста, взятого четырехкратно, и пробравшись сквозь какие-то рваные циновки, я очутился в подземной комнате.

Люк над моей головой захлопнулся, и все погрузилось в темноту. Я ощупью обследовал комнату и обнаружил, что она всего три шага в длину и четыре — в ширину. Пол и стены были земляными, а потолок сложен из необструганных бревен. Никакой мебели не было и в помине.

Когда мы попали в плен, близился полдень. Через семь стражей стемнеет. Не исключено, что к тому времени меня уже проводят к какому-нибудь представителю здешней власти. В этом случае я сделаю все возможное, чтобы убедить его в нашей безобидности, и упрошу отпустить меня и ребенка с миром. Если же нет, я взберусь по лестнице наверх и попытаюсь высадить люк. Я уселся на землю и стал ждать.

Уверен, что я не спал; но я пустил в ход все свое умение воскрешать прошлое, и мне удалось хотя бы в воображении покинуть это зловещее место. Некоторое время я, как в детстве, наблюдал за животными в некрополе за крепостной стеной

Цитадели. Вот в небесах караваны гусей; вот лиса преследует зайца; вот они снова мчатся передо мной в траве, а вот отпечатки их лап на снегу. За Медвежьей Башней на куче отходов лежит Трискель — как будто мертвый; я приближаюсь к нему, он вздрагивает и поднимает голову, чтобы лизнуть мне руку. Вот я сижу рядом с Теклой в ее тесной камере; мы читаем друг другу и прерываемся, чтобы обсудить прочитанное.

«Мир стремится к концу, словно вода в часах», — говорит она. «Предвечный мертв, кто же воскресит его? Кто сможет?» — «Часы неминуемо останавливаются, когда умирает их владелец». — «Это только предрассудок». Она отнимает у меня книгу и берет мои руки в свои. Ее длинные пальцы очень холодны. «Когда их владелец лежит на смертном одре, некому налить свежей воды. Он умирает, и сиделки смотрят на циферблат, чтобы заметить время. Потом часы находят остановившимися, а время на них — неизменным». — «Ты говоришь, что часы умирают раньше их владельца; следовательно, если вселенная стремится к концу, это не значит, что Предвечный мертв; это значит, что он никогда не существовал». — «Но он же болен. Оглянись вокруг. Посмотри на эти башни над головой. А знаешь, Северьян, ведь ты

никогда их не видел!» — «Но ведь он еще может попросить кого-нибудь наполнить механизм водой», — предполагаю я и, осознав смысл своих слов, заливаюсь краской. Текла смеется.

«С тех пор как я впервые сняла перед тобой одежды, не замечала за тобой этого. Я положила твои ладони себе на грудь, и ты покраснел, как ягодка. Помнишь? Значит, говоришь, он может кого-то попросить? И где же наш юный атеист?»

Я кладу руку ей на бедро.

«Смущен, как и в тот раз, в присутствии божества». «Значит, ты и в меня не веришь? Пожалуй, ты прав. Должно быть, о такой, как я, мечтают все молодые палачи — о прекрасной узнице, еще не изуродованной пытками, призывающей вас насытить томление ее плоти». Я стараюсь быть галантным. «Моя мечта не в силах воспарить так высоко». «Неправда. Ведь я сейчас целиком в твоей власти». В камере, кроме нас, был еще кто-то. Я окинул взглядом забранную решеткой дверь, фонарь Теклы с серебряным отражателем, потом все углы. В камере потемнело, Текла и даже я сам растворились во мраке, однако то, что вторглось в мою память, не исчезало.

— Кто ты, — спросил я, — и что хочешь сделать с нами?

— Ты хорошо знаешь, кто мы, а мы знаем, кто ты, — ответил бесстрастный голос, самый властный из всех, что мне приходилось слышать. Сам Автарх так не говорил.

— И кто же я?

— Северьян из Нессуса, ликтор Тракса.

— Да, я Северьян из Нессуса, — подтвердил я, — но я больше не ликтор Тракса.

— Допустим.

Голос умолк, и постепенно я догадался, что мой собеседник не намерен меня расспрашивать: скорее он принудит меня, если я желаю свободы, самому открыться перед ним. У меня руки чесались схватить его — он явно находился не дальше нескольких кубитов от меня, — но я знал, что он, вне всякого сомнения, вооружен теми стальными когтями, какие мне продемонстрировала его охрана. Мне также хотелось, как не раз прежде, достать из кожаного мешочка Коготь, хотя ничего глупее в этот момент нельзя было придумать. Я сказал:

— Архон Тракса приказал мне убить одну женщину. Вместо этого я позволил ей бежать и был вынужден покинуть город.

— Миновав охрану с помощью магии.

Я всегда считал всех самозваных чудотворцев

шарлатанами; теперь же я уловил в голосе моего собеседника нечто такое, что навело меня на новую мысль: пытаясь обмануть других, они в первую очередь обманывали себя. В голосе звучала насмешка, но не над магией, а надо мной.

— Может, и так, — ответил я. — Что тебе известно о моей власти?

— Что она недостаточна, чтобы ты мог освободиться.

— Я не пытался освободиться и тем не менее был свободен. Он забеспокоился.

— Ты не был свободен. Ты просто вызвал дух этой женщины!

Я вздохнул, стараясь, чтобы он этого не услышал. Как-то раз в вестибюле Обители Абсолюта одна девочка приняла меня за высокую женщину — это Текла на время заменила собой мою личность. Теперь же, по-видимому, Текла, о которой я вспоминал, говорила моими устами.

— В таком случае я некромант и повелеваю душами усопших, ибо та женщина мертва.

— Ты сказал, что освободил ее.

— Не ее, а другую, лишь отчасти напомнившую мне ее. Что вы сделали с моим сыном?

— Он не называет тебя отцом.

— Он капризный мальчик.

Ответа не последовало. Подождав немного, я встал и еще раз ощупал стены своей подземной тюрьмы; как и прежде, я наткнулся на сырую почву. Вокруг не было ни искорки света, ни единый звук не долетал до моих ушей, но я допускал, что люк можно накрыть каким-нибудь переносным сооружением, а если крышка еще и мастерски сделана, она могла подниматься бесшумно. Я ступил на нижнюю перекладину лестницы. Она заскрипела.

Я поднялся на следующую перекладину, потом еще на одну, и каждый раз раздавался скрип. Я попробовал ступить на четвертую, но почувствовал, как что-то острое, похожее на лезвие кинжала, впилось мне в голову и плечи. Струйка крови из правого уха потекла на шею.

Отступив на третью перекладину, я поднял руку. То, что я принял за рваную циновку, когда спускался в подземелье, оказалось парой дюжин бамбуковых щепок, остриями вниз закрепленных на стенках люка. Спустился я без труда, потому что отклонил их в сторону своим телом; но теперь они мешали мне подняться, подобно тому как зазубрины на гарпуне мешают рыбе ускользнуть. Взявшись за одну из них, я попробовал сломать ее, но там, где требовались усилия обеих рук, одна

оказалась беспомощна. Будь у меня время и достаточно света, я бы, возможно, сумел преодолеть преграду; свет я еще мог добыть, но рисковать был не вправе. Я спрыгнул на пол.

Я обследовал комнату еще раз, но ничего нового не обнаружил. Тем не менее мне казалось совершенно невероятным, чтобы мой собеседник сошел по лестнице, не издав ни звука, хотя я и допускал, что он мог пройти сквозь бамбук, обладая специальными знаниями. Опустившись на четвереньки, я ощупал пол. Ничего.

Я попробовал сдвинуть лестницу, но она была прочно закреплена на своем месте; тогда я встал в ближайший к люку угол, подпрыгнул как можно выше и провел рукой по стене. Потом отступил на полшага в сторону и снова подпрыгнул. Когда я оказался примерно напротив того места, где недавно сидел, я нашел то, что искал: прямоугольный лаз, в кубит высотой и два кубита шириной, расположенный чуть выше моей головы. Мой собеседник, вероятно, тихонько вылез из него по веревке и вернулся тем же способом; однако более правдоподобным мне показалось предположение, что он просто просунул в лаз голову и плечи, чтобы его голос звучал так, будто он сам находится со мною в комнате. Я покрепче

ухватился за края лаза, подпрыгнул и втянул себя внутрь.

21. ПОЕДИНОК МАГОВ

Комната, в которую я попал, спасаясь из заточения, очень напоминала предыдущую, хотя и находилась выше. Разумеется, в ней также царила непроглядная тьма; однако теперь я был уверен, что за мной не наблюдают. Я достал из мешочка Коготь, и он озарил помещение неярким светом, которого тем не менее было достаточно, чтобы осмотреться.

Лестницы в комнате не было, но имелась узкая дверь, ведущая, как я предложил, в третье подземное помещение. Спрятав Коготь, я вошел в нее, но оказался в тесном, не шире дверного проема, тоннеле, столь запутанном, что я успел свернуть дважды, не пройдя и шести шагов. Сначала я решил, что тоннель представляет собою просто преграду для света — чтобы скрыть отверстие в стене комнаты, куда меня поместили. Однако в этом случае трех поворотов было бы достаточно. Тоннель, казалось, то уходил вглубь, то разветвлялся, и повсюду был кромешный мрак. Я снова достал Коготь.

Свет его показался мне несколько ярче, но,

наверное, потому, что пространство было темным; однако все, что мне удалось разглядеть, я уже знал на ощупь. Вокруг — ни души. Я стоял в лабиринте с земляными стенами и потолком из необструганных поленьев (нависавшим теперь прямо над головой), его частые повороты быстро убивали свет.

Я хотел спрятать Коготь, но в этот миг почувствовал резкий враждебный запах. Мне было далеко до чутья волка из сказки — по правде говоря, остротой обоняния я уступаю и многим людям. Запах показался мне знакомым, но лишь некоторое время спустя я вспомнил, что точно такой же стоял в вестибюле в утро нашего побега, когда я вернулся за Ионой после разговора с девочкой. Она сказала, что кто-то чужой рыскал среди заключенных; а потом я обнаружил на полу и на стенах рядом с лежащим Ионой какое-то липкое вещество.

Коготь я убирать не стал; блуждая по лабиринту, я несколько раз натыкался на зловонный след, но встретить существо, которое его оставило, мне так и не пришлось. Целую стражу, если не больше, я плутал по запутанным переходам и наконец вышел к лестнице, выводившей в неглубокую открытую шахту. В квадратное отверстие навер-

ху лился дневной свет, который ослепил меня и несказанно обрадовал. Какое-то время я просто стоял под его струей, не торопясь поставить ногу на первую перекладину. Ведь если я поднимусь, меня, наверное, тут же схватят, и все же голод и жажда так истомили меня, что удержаться я не мог, а при мысли о мерзкой твари, которая рыскала в поисках меня, — я не сомневался, что это была одна из зверюшек Гефора, — мне сразу захотелось ринуться наверх.

Наконец я со всеми предосторожностями вскарабкался и высунул голову наружу. Я думал, что окажусь в деревне, но ошибся: подземный лабиринт привел меня к потайному выходу за ее пределами. Высокий безмолвный лес был здесь гораздо гуще, а свет, показавшийся мне из подземелья столь ослепительным, на самом деле обернулся зеленым переливом листвы. Я выбрался и обнаружил оставленную за собой нору, столь ловко упрятанную в корнях, что я мог бы пройти от нее в двух шагах и не заметить. Я бы с удовольствием завалил ее чем-нибудь тяжелым, чтобы преградить выход преследовавшему меня чудовищу, но поблизости не было ни камня, ни другого подходящего предмета.

Следуя старой испытанной привычке искать

подходящий склон и всегда идти под гору, я вскоре обнаружил ручеек. Над ним в листве виднелся просвет, и я смог приблизительно определить, что провел под землей восемь-девять страж. Исходя из посылки, что поселение не может располагаться далеко от источника пресной воды, я отправился вдоль ручья и вскоре вышел к самой деревне. Оставаясь в кромешной тьме леса, я завернулся в свой угольно-черный плащ и некоторое время внимательно осматривал селение. Вот по поляне прошел человек — на нем не было краски, как на тех двоих, что остановили нас на тропинке. Вот еще один вылез из укрепленной на ветвях хижины, спустился к ручью, напился и вернулся назад.

С наступлением темноты странный поселок пробудился. Из древесной хижины появилось около дюжины мужчин; они принялись складывать в кучу поленья посередине поляны. Еще трое, облаченные в длинные мантии, с вилкообразными посохами в руках вышли из дома-дерева. Когда костер запылал, из темноты возникли и другие, должно быть, охранявшие лесные тропы, и расстелили перед огнем кусок ткани.

Один из людей в мантиях повернулся к костру спиной, а двое других опустились перед ним на

колени; в них было нечто такое, что выделяло их из общей толпы, но их повадка напоминала мне скорее экзультантов, чем иеродулов в садах Обители Абсолюта, — под ней скрывалось сознание превосходства, даже если за это превосходство приходилось платить разрывом с обычными людьми. Мужчины, в краске и без нее, расселись, скрестив ноги, вокруг костра лицом к этим троим. До моего слуха доносились гул голосов и четкая речь стоявшего, однако слов я не различал, поскольку расстояние между нами было слишком велико. Прошло немного времени, и двое согбенных поднялись. Один из них распахнул мантию наподобие шатра, и из-под нее вышел сын Бекана, которого я называл своим. Второй таким же образом достал «Терминус Эст» и вытянул вперед, демонстрируя всем сверкающее лезвие и черный опал на рукояти. Затем поднялся один из раскрашенных людей и направился в мою сторону (я даже испугался, что он меня заметит, хотя мое лицо и было спрятано под маской). Он поднял крышку люка и исчез под землей. Вскоре он появился из другого люка, расположенного ближе к костру, и суетливо побежал к троим в мантиях, желая им что-то сообщить.

В содержании его слов сомневаться не приходи-

лось. Я расправил плечи и выступил из темноты.

— Там меня уже нет, — произнес я. — Я здесь. Раздался общий вздох удивления, доставивший мне истинное удовольствие, хоть я и понимал, что могу скоро умереть.

Один из облаченных в мантию людей — тот, что стоял посередине, — сказал:

— Как видишь, уйти от нас ты не можешь. Ты был свободен, но мы заставили тебя вернуться.

Я узнал этот голос — он допрашивал меня в подземной комнате.

— Если ты прошел достаточно далеко по Пути, — возразил я, — тебе должно быть известно, что твоя власть надо мной не так сильна, как может показаться непосвященным. (Подражать речи таких людей совсем не трудно, ибо и сами они подражают речи аскетов или жриц, подобных Пелеринам.) Ты похитил моего сына, который также приходится сыном Говорящему зверю, и это тебе должно быть известно, если ты успел его допросить. Ради его возвращения я отдал свой меч твоим рабам и на время отдал себя в твои руки. Теперь я забираю меч назад.

На плече у человека есть одна точка; если сильно нажать на нее большим пальцем, вся рука оказывается парализованной. Я положил руку на

плечо человека, державшего «Терминус Эст», и он уронил меч к моим ногам. Проявив большую смекалку, чем я мог ожидать от ребенка, малыш Северьян подхватил меч и подал мне. Средний в мантии поднял посох и крикнул: «К оружию!», и его свита поднялась в едином порыве. У многих на руках были когти, которые я уже описывал, другие выхватили кинжалы.

Я повесил «Терминус Эст» на полагающееся ему место на перевязи и сказал:

— Надеюсь, вы не допускаете мысли, что этот древний меч служит мне оружием? У него более высокое предназначение, и вам лучше других следовало бы это знать.

— Именно так нам и говорил Абундантий, — поспешил ответить человек в мантии, который привел маленького Северьяна. Второй стоял, потирая плечо.

Я взглянул на среднего, о котором скорее всего и шла речь. В его холодных как камень глазах читался недюжинный ум.

— Абундантий мудр, — сказал я, размышляя, нельзя ли изловчиться и убить его так, чтобы нас не успели атаковать остальные. — Полагаю, ему также известно и о проклятии, которое падет на голову всякого, кто причинит зло магу.

— Так, значит, ты маг, — произнес Абундантий.

— Я вырвал из рук архона его добычу и прошел невидимым сквозь самую гущу его войска, и ты еще сомневаешься? Да, меня называют магом.

— Тогда докажи, что ты маг, и мы будем почитать тебя как брата. Если же ты потерпишь поражение или откажешься от состязания — нас много, а у тебя только меч.

— Поражение немыслимо, если испытание будет честным, — сказал я. — Хотя ни у тебя, ни у твоих людей нет права меня испытывать.

Он был слишком умен, чтобы позволить втянуть себя в спор.

— Условия испытания известны всем собравшимся, кроме тебя, и каждый знает, что они справедливы. Все, кого ты здесь видишь, или выдержали их, или надеются выдержать.

Меня привели в прочное бревенчатое сооружение, которое я раньше не заметил, поскольку оно было скрыто среди деревьев. Вход был только один, окна вовсе отсутствовали. Когда внесли факелы, я увидел, что в единственной комнате не было ничего, кроме сплетенного из трав ковра, длина же ее настолько превосходила ширину, что помещение напоминало коридор.

Абундантий обратился ко мне:

— Здесь тебе предстоит сразиться с Декуманом. — Он указал на человека, которому я пережал руку, а тот был слегка удивлен, что его так отличили. — У костра ты одолел его. Теперь же он должен победить тебя, если сможет. Если хочешь, сядь здесь, ближе к двери, чтобы не опасаться, что мы придем к нему на помощь. Он сядет в дальнем конце. Вам запрещено сближаться, а также прикасаться друг к другу, как ты коснулся его у костра. Вы должны читать заклинания, а утром мы явимся посмотреть, кто одержал победу.

Я взял малыша Северьяна за руку и пошел в дальний темный конец помещения.

— Я сяду здесь, — сказал я. — Я полностью доверяю вам и не сомневаюсь, что вы не станете помогать Декуману, однако и вам неведомо, есть ли у меня союзники в окрестных лесах. Вы обещали доверять мне, и я взамен обещаю доверять вам.

— Ребенка тебе лучше оставить у нас, — сказал Абундантий.

Я покачал головой.

— Он пойдет со мной. Он мой, и, когда вы украли его на лесной тропе, вы лишили меня половины моей волшебной силы. Больше я с ним

не расстанусь.

Поразмыслив, Абундантий кивнул.

— Воля твоя. Нас заботит только его безопасность.

— Ему ничто не грозит, — сказал я.

На стенах были закреплены железные скобы, и, прежде чем удалиться, четверо нагих людей вдели в них факелы. Декуман уселся, скрестив ноги, у двери с посохом на коленях. Я тоже сел и усадил мальчика рядом с собой.

— Мне страшно, — прошептал он, зарывшись личиком в мой плащ.

— Неудивительно. За последние три дня тебе много пришлось пережить.

Декуман начал медленно и ритмично читать заклинание.

— Расскажи-ка мне, малыш, что случилось с тобой на тропинке? Я искал тебя, но ты куда-то пропал.

Лаской и увещеваниями мне удалось успокоить его; он перестал плакать.

— Это все они, раскрашенные люди с когтями, они вышли, а я испугался и убежал.

— И все?

— Нет, пришли другие раскрашенные люди и поймали меня, заставили залезть в темную нору.

А потом они меня разбудили, подняли на землю, один человек накрыл меня плащом, но тут ты пришел и спас меня.

— Тебя о чем-нибудь спрашивали?

— Меня расспрашивал какой-то человек, когда я сидел в темноте.

— Все ясно. Маленький Северьян, ты не должен от меня убегать, как тогда на тропинке, понимаешь? Бежать можно только тогда, когда я побегу. Если бы ты не убежал, когда мы встретили раскрашенных людей, мы бы сейчас здесь не сидели.

Мальчик кивнул.

— Декуман, — позвал я, — нам нужно поговорить.

Он не обратил на меня внимания, и лишь бормотание его сделалось громче. Он сидел, подняв голову, и, казалось, неотрывно смотрел на потолочные балки, только глаза его были закрыты.

— Что он делает? — спросил мальчик.

— Читает заклинание.

— А оно не навредит нам?

Я покачал головой.

— Нет, такое колдовство не более чем шарлатанство, так же как и сцена с твоим появлением из-под мантии того, другого, — тебя и в нору-то посадили, чтобы потом незаметно поднять.

Произнося все эти слова, я чувствовал, что имею дело отнюдь не с шарлатаном. Декуман сосредоточивал на мне свое сознание, обнаруживая при этом редкий дар концентрации, и я был словно голый в ярко освещенном зале под взглядами тысяч людей. Пламя одного из факелов задрожало, вспыхнуло и погасло. В комнате стало темнее, но незримый свет разгорался все ярче.

Я встал. Существует несколько способов убийства, при которых не остается следов, и, мысленно перебирая их, я шагнул вперед.

В мгновение ока стены ощетинились пиками — по элю[1] с каждой стороны. Конечно, это были не копья, которыми вооружены солдаты, — энергетическое оружие с головками, испускающими молнии, а обычные деревянные жерди с железными наконечниками, похожими на те, что используют уроженцы Сальтуса. Но на близком расстоянии и они могли убить, поэтому я сел обратно.

— Наверное, они стоят с той стороны и смотрят на нас сквозь щели в стене, — сказал мальчик.

— Да, теперь я и сам это понял.

— И что же нам делать? — спросил он и, не

---

1 notes: ~ N1 ~

1
эль (истор.) равен 45 дюймам, или 1,14 метра

услышав ответа, спросил снова: — Кто эти люди, отец?

В первый раз он назвал меня отцом; я крепче прижал его к себе, и путы, которыми Декуман оплетал мой мозг, ослабли.

— Это только догадка, но скорее всего мы с тобой попали в школу магов — это такие колдуны, которые верят, будто познали тайные науки. Принято считать, что у них повсюду есть последователи — хотя я предпочитаю в это не верить, — и они очень жестоки. Ты когда-нибудь слышал о Новом Солнце? Это такой человек, о котором было пророчество, что он явится, чтобы растопить льды, и мир опять станет добрым.

— Он убьет Абайю, — к моему изумлению, прибавил мальчик.

— Да, он должен сделать это и еще многое. Говорят, он уже приходил однажды, но это было давно. Ты знал об этом? Он покачал головой.

— В тот раз он явился, чтобы установить мир между человечеством и Предвечным. Поэтому ему дали имя Миротворец. После себя он оставил знаменитую реликвию, драгоценный камень, который прозвали Коготь.

Моя рука непроизвольно потянулась к нему, и сквозь мягкую кожу, из которой был сшит

мешочек, я ощутил его присутствие, хоть и не развязывал тесемки. Стоило мне коснуться его, как невидимое марево, которым Декуман окутал мое сознание, бесследно исчезло. Не понимаю, почему я так долго пребывал в уверенности, что Коготь непременно нужно достать из потайного места, чтобы он проявил силу. Той ночью я понял, что заблуждался, и от души расхохотался.

Декуман оборвал заклинание и открыл глаза. Маленький Северьян еще крепче прижался ко мне.

— Ты больше не боишься?

— Нет, — ответил я. — А ты заметил, что мне было страшно? Он серьезно кивнул.

— Так вот, — продолжал я свой рассказ, — зная о существовании той реликвии, некоторые люди решили, что когти были оружием Миротворца. Сам я порой сомневаюсь, что этот человек вообще существовал; но если он когда-нибудь и жил, то использовал свое оружие по большей части против себя. Понимаешь?

Сомневаюсь, что мальчик действительно понял, однако он снова кивнул.

— Когда мы шли по тропинке, то видели следы ворожбы против пришествия Нового Солнца. Раскрашенные люди — это, наверное, те, кто прошел

испытание, — вооружены железными когтями. Думаю, они хотят помешать приходу Нового Солнца, чтобы занять его место и узурпировать власть. Если…

За стеной послышался крик.

22. У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ

Мой смех лишь на краткий миг нарушил сосредоточенность Декумана. Крика же за стеной он как будто и не слышал. Тенета, спавшие с меня, стоило мне схватиться за Коготь, заплетались снова, медленнее, но прочнее.

О таких ощущениях всегда есть соблазн сказать, что они невыразимы, однако это редко бывает правдой. Я чувствовал себя голым, подвешенным между двумя наделенными разумом светилами, и почему-то знал, что светила эти суть полушария Декуманова мозга. Свет лился на меня со всех сторон, но этот свет словно исходил от раскаленных печей, уничтожая и парализуя меня. В этом сиянии все казалось никчемным и сам я был мал и ничтожен.

Моя сосредоточенность, таким образом, в определенном смысле не пострадала. Во мне зрело неясное предчувствие, что крик мог означать некий поворот событий в мою пользу. Позже, много позже, чем следовало, я поднялся на ноги.

Что-то рвалось сквозь дверь. Сначала, пусть это и покажется абсурдным, мне пришла в го-

лову мысль, что это грязь — будто некая стихия сотрясла Урс, и мы проваливаемся на дно зловонного болота, и вязкая жижа вот-вот затопит нас. Неумолимо, беззвучно она растекалась вокруг дверного проема, и в этот миг погас еще один факел. Еще немного, и она достала бы Декумана. Я окликнул его, предупреждая об опасности.

Не знаю, подействовал ли мой окрик или же чудовище коснулось его, но он очнулся. Я снова почувствовал, как чары отпустили меня, сеть, державшая меня меж двух одинаковых светил, лопнула. Источники света распались и медленно померкли, а я точно увеличился в объеме, затем меня закружило без смысла и направления, пока я не осознал себя прочно стоящим на ногах в зале испытаний с цепляющимся за мой плащ маленьким Северьяном.

На руке Декумана сверкнули когти. Я и не заметил, что они у него были раньше. Что бы собой ни представляло это почти бесформенное чудовище, коготь Декумана отсек кусок его плоти легко, словно масло. Хлынула кровь, тоже черная или, может быть, исчерна-зеленая. Но Декуман также истекал кровью — красной, и, когда чудовище захлестнуло его, он растаял под ним словно воск.

Я поднял мальчика, и он обхватил меня руками

за шею, а ногами за талию. Я собрался с силами и подпрыгнул, но мои пальцы лишь скользнули по потолочной балке, ухватиться за нее я не сумел. Чудовище слепо, но целенаправленно разворачивалось к нам. Возможно, оно шло на запах, однако я давно подозревал, что оно улавливало мысли — вот почему оно не могло обнаружить меня в вестибюле, где я мысленно уподобился Текле, и так быстро нашло меня в зале испытаний, где мозг Декумана сосредоточился на моем.

Я снова подпрыгнул и на этот раз промахнулся по меньшей мере на пядь. Чтобы достать хотя бы один из двух горящих факелов, нужно было подбежать к чудовищу. Так я и сделал: схватил факел, но, когда я вынимал его из скобы, он погас.

Держась за скобу одной рукой, я подпрыгнул в третий раз и подтянулся; теперь мне удалось левой рукой ухватиться за гладкую тонкую балку. Балка прогнулась, но я, с мальчиком за плечами, ухитрился подтянуться еще выше и поставить на скобу ногу.

Внизу темное бесформенное существо вздымалось, опадало и надувалось снова. Не отпуская балку, я выхватил «Терминус Эст». Удар был глубок, но не успел я вытащить лезвие из вязкой плоти, как рана закрылась и затянулась. Тогда

я ткнул мечом в соломенную кровлю — уловка, признаюсь, позаимствованная у Агии. Кровля была плотной, из толстых листьев, перетянутых прочными волокнами. Первые отчаянные попытки разрушить ее ни к чему не привели, но с третьего раза мне удалось сбить большую связку. Одним концом она задела последний факел и, ярко вспыхнув, загасила его. Через образовавшуюся брешь я выпрыгнул в ночную темноту.

Не разбирая дороги, с обнаженным мечом в руке, я ринулся вниз, и остается лишь удивляться, как я не разбился сам и не погубил ребенка. Оказавшись на твердой земле, я Уронил и меч, и мальчика и упал на колени. Красное зарево от загоревшейся крыши с каждым мигом все разрасталось. Мальчик всхлипнул; я приказал ему не убегать, потом одной рукой поднял его на ноги, другой схватил «Терминус Эст» и побежал сам.

Всю ночь напролет мы вслепую продирались сквозь лесные дебри. Насколько мог, я старался двигаться в гору — не только потому, что наш путь лежал на север, а следовательно, вверх, но и во избежание опасности свалиться в пропасть. Начинало светать, а мы так и не выбрались из леса и не имели ни малейшего представления о том, где находимся. Я взял мальчика на руки,

и он уснул.

Спустя еще стражу я понял, что чем дальше мы будем идти, тем круче окажется склон, и наконец перед нами возник занавес из переплетенных лиан, точь-в-точь как тот, который я изрубил два дня назад. Я хотел было осторожно уложить спящего мальчика на землю и достать меч, но в этот самый миг заметил слева от себя яркий поток дневного света, льющийся сквозь дыру в занавесе. Торопливо, почти бегом, я устремился к ней и вышел на каменистое плато, поросшее колючей травой и кустарником. Еще несколько шагов, и я оказался у чистого ручья, поющего между камней, — сомнений быть не могло: это был тот самый ручей, у которого мы с малышом ночевали два дня назад. Я не знал и даже думать не хотел о том, преследовало ли нас еще бесформенное чудовище. Просто лег на берегу ручья и уснул.

Я видел лабиринт, похожий и в то же время не похожий на темные подземелья магов. Ходы были шире и порой образовывали галереи, величественные, как в Обители Абсолюта. Некоторые и впрямь были обставлены стенными зеркалами, и я видел в них себя, с изможденным лицом и в разорванном плаще, а рядом Теклу, полупрозрачную, в прелестном струящемся платье. Мимо

со свистом проносились планеты, следуя кривым, запутанным, им одним ведомым орбитам. Голубой Урс, как младенца, нес зеленую луну, не касаясь ее. Красный Вертанди превратился в Декумана: кожа его облезла, и он плавал в луже собственной крови.

Меня несло, я падал, руки и ноги судорожно дергались. На миг передо мною открылись истинные звезды в залитом солнцем небе, но сон тянул меня все дальше, неумолимый, как силы гравитации. Я шел мимо зеркальной стены; сквозь нее я видел бегущего в страхе мальчика, одетого в старую, заплатанную серую рубаху, какую я носил в ученичестве: он, мне казалось, бежал с четвертого уровня в Атриум Времени. Держась за руки, прошли Доркас и Иолента; они улыбались друг другу, но меня не заметили. Хлынул дождь, и автохтоны, меднокожие и кривоногие, в перьях и каменьях, заплясали вокруг своего шамана. Огромная, как туча, в воздухе проплыла ундина, заслоняя собою солнце.

Я пробудился. Теплый дождь капал мне на лицо. Малыш Северьян лежал рядом; он еще спал. Я поплотнее закутал его в плащ и отнес назад к тому месту, где в занавесе из сплетающихся лиан мною была прорублена дыра. За этим занавесом,

под могучими кронами деревьев дождь не мог нас достать. Мы легли и снова уснули. На этот раз никаких снов я не видел, а когда очнулся, занималась бледная заря, возвещая, что мы проспали целый день и целую ночь.

Мальчик был уже на ногах и гулял поблизости между стволов. Он показал мне ручей, я умылся и побрился, насколько мог тщательно, не имея горячей воды, — последний раз я брился в доме у подножия скалы. Затем мы разыскали знакомую тропу и снова двинулись на север.

— А вдруг мы опять встретим разноцветных людей? — забеспокоился мальчик, но я ободрил его и велел никуда не убегать, потому что теперь я смогу справиться с разноцветными людьми. На самом же деле меня больше тревожили Гефор и та тварь, которую он послал по моему следу. Если чудовище не сгинуло в огне, оно, возможно, двигалось сейчас нам навстречу: хоть оно, очевидно, и боялось солнца, сумрака лесных дебрей ему вполне бы хватило.

На тропу вышел всего один раскрашенный человек, но не для того, чтобы загородить нам путь: он пал на землю и распростерся ниц. Я хотел было убить его и разом со всем покончить; нас строго наставляли, что убивать и наносить

тяжкие телесные повреждения мы имеем право только по приказу судьи, но чем дальше я уходил от Нессуса и чем ближе подступал к театру военных действий в горах, тем больше ослабевали во мне прежние убеждения. Некоторые мистики утверждают, что испарения, поднимающиеся над полем брани, оказывают влияние на мозг даже вдали от сражений — везде, куда их занесет ветер. Возможно, они и правы. Тем не менее я просто велел ему встать на ноги и убраться с дороги.

— О Великий Маг! — воскликнул он. — Что сделал ты с ползучей тьмою?

— Отослал ее назад, в бездну, из которой вызвал, — ответил я, будучи уверен (ведь чудовище так и не повстречалось нам), что Гефор его отозвал. Если, конечно, оно не погибло.

— Души пятерых из нас переселились в мир иной, — сказал раскрашенный человек.

— В таком случае вы могущественнее, чем я предполагал. За одну ночь оно способно убить многие сотни.

Я был далек от уверенности, что он не накинется на нас сзади, но он не сделал этого. Тропа, по которой я еще вчера шел узником, была теперь свободна. Никто из охраны нас не окликал; полоски красной материи были частично оборваны и

валялись под ногами — я не мог понять, почему. Тропа была вся истоптана, но следы кто-то уже успел разровнять — возможно, граблями.

— Что ты ищешь? — спросил мальчик. Я отвечал тихо, ибо опасался, что за деревьями прячутся соглядатаи:

— След животного, от которого мы бежали прошлой ночью.

— Ну и как, нашел?

Я покачал головой. Мальчик помолчал немного, потом снова спросил:

— Послушай, Большой Северьян, а откуда оно взялось?

— Помнишь легенду? Оно явилось с одной из запредельных гор.

— С той, где жил Вешний Ветер?

— Не думаю, чтобы именно с той.

— А как оно сюда попало?

— Его привез один злой человек. А теперь, малыш Северьян, помолчи немного.

Если я и обошелся с мальчиком резко, то лишь потому, что меня очень беспокоила одна мысль. Гефор, должно быть, тайно вывез своих зверюшек на корабле, где служил сам, это ясно; и когда он гнался за мной по дороге из Нессуса, он вполне мог держать ночниц при себе, в каком-нибудь

запечатанном ящичке: при всем внушаемом ими ужасе они были не плотнее паутины — Иона хорошо знал об этом.

Но как он управлялся с чудовищем, напавшим на нас в зале испытаний? Оно появлялось и в вестибюле Обители Абсолюта вскоре после прихода Гефора, но каким образом? Не могло же оно, как пес, последовать за Гефором и Агией, когда они направились на север, в Тракс! Я вызвал в памяти его образ, каким увидел его, когда оно расправлялось с Декуманом, и попытался прикинуть, сколько же оно могло весить: как несколько человек и уж не меньше, чем боевой конь. Чтобы его спрятать и перевезти, несомненно, потребовалась бы большая повозка. И Гефор волок эту повозку через горы? Верилось с трудом, как и в то, что это вязкое страшилище ехало в повозке вместе с саламандрой, которая погибла в Тракс на моих глазах.

Наконец мы вошли в селение. Жители, казалось, покинули его. Обгорелые останки зала испытаний еще дымились. Я поискал тело Декумана — тщетно, конечно; однако я обнаружил его наполовину сгоревший посох. Он оказался полым и гладким внутри; я сообразил, что, если снять набалдашник, из него получалась непло-

хая трубка для метания отравленных стрел. Не приходилось сомневаться, что, окажись я в силах до конца противостоять заклинаниям Декумана, посох был бы использован по назначению.

Мальчик, должно быть, проследил за моим взглядом и по выражению лица догадался, о чем я думал.

— А тот человек взаправду был колдун. Он почти заколдовал тебя. Я кивнул.

— А ты говорил, что он ненастоящий.

— Есть вещи, малыш Северьян, о которых я знаю не больше тебя. Я и не думал, что он настоящий. Я повидал здесь слишком много мошенничества — потайная дверь в подземной комнате, куда меня посадили, и то, как они «явили» тебя из-под мантии. И все-таки на свете есть много загадочного, и если хорошенько поискать, обязательно что-нибудь да обнаружишь. И тогда можно стать, как ты сказал, настоящим колдуном.

— Если бы они и в самом деле умели колдовать, они могли бы научить всех, что надо делать.

Я лишь покачал головой, но с тех пор немало думал о словах мальчика. Будь его мысль облечена в более зрелую форму, она бы выглядела еще убедительней, и все-таки я предвижу два возражения.

Во-первых, из поколения в поколение колдуны передают слишком мало знаний. Сам я прошел подготовку в одной из тех прикладных наук, которые, можно сказать, рождены в нас самой природой; мне известно, что научный прогресс гораздо меньше зависит от теоретических рассуждений и систематических исследований, как принято считать, чем от передачи надежной информации, добытой случайно или благодаря озарению. Смысл существования охотников за тайными знаниями — хранить их даже после смерти или же передавать, но, передавая, они намеренно искажают и затемняют их, так что знания теряют почти всю свою ценность. Говорят, что иногда эти люди сообщают все накопленные познания своим возлюбленным или детям, однако сама их природа такова, что ни тех, ни других они почти никогда не имеют, а если и имеют, то утрачивают свое искусство.

Во-вторых, само существование подобного искусства подразумевает наличие противодействия. Силы первого рода мы зовем темными, хотя порой их обладатели пользуются неким смертным сиянием, как Декуман; силы второго рода мы называем светлыми, хотя временами их действие сопровождается тьмою, подобно тому

как добрый человек, ложась спать, задергивает полог кровати. И все-таки во всех этих толках о свете и тьме есть свой резон, ибо становится ясно, что одно подразумевает другое. В легенде, прочитанной мною маленькому Северьяну, говорилось о том, что вселенная есть не что иное, как бескрайнее слово Предвечного. Таким образом, мы суть слоги этого слова. Однако любое произнесенное слово бессмысленно, если нет других слов — тех, что не произнесены. Если зверь кричит однообразно, его крик никому ничего не скажет; даже у ветра есть множество голосов, и, сидя дома и прислушиваясь, мы знаем, дождь на дворе или ведро. Силы, что мы зовем темными, представляются мне словами, которых Предвечный, если он вообще существует, не произносил; эти слова, должно быть, пребывают в некой квазиреальности, дабы их можно было отделить от слова произнесенного. Невысказанное может быть важно, но не важнее того, что высказано. Так, одного сознания существования Когтя мне было достаточно, чтобы противостоять чарам Декумана.

Если искатели темных знаний находят искомое, разве не возможно, что и искатели знаний светлых обретают свое? Не им ли более подо-

бает передавать свою мудрость потомкам? Так Пелерины из поколения в поколение хранили Коготь; при этой мысли моя решимость найти их и вернуть сокровище неизмеримо возросла; ибо в ночь, когда я встретил альзабо, я осознал как никогда ясно, что когда-нибудь неминуемо наступит смерть, и, может быть, очень скоро.

Поскольку гора, к которой мы направлялись, стояла севернее и, следовательно, отбрасывала тень на покрытую густым лесом седловину, лианы по ту сторону не росли. Неяркая зелень листьев сделалась еще бледнее, погибшие деревья встречались все чаще, лес становился более низкорослым. В куполе из переплетенных крон, под которым мы шли целый день, появился просвет, шагов через сто — еще один, и вот наконец открылось небо.

Затем перед нами предстала гора, да так близко, что ее уже трудно было принять за гигантского человека. Но склоны тяжелыми складками ниспадали из-под густых облаков — и то были высеченные из камня складки его одежды. Как часто, поднимаясь ото сна, он, наверное, надевал их, не подозревая, что они будут запечатлены здесь на века — столь огромными, что человеческий взгляд окажется не способным охватить

их разом.

23. ПРОКЛЯТЫЙ ГОРОД

Назавтра около полудня мы снова обнаружили воду, и больше на этой горе вода нам не встречалась. От мяса, оставленного мне Касдо, осталось всего ничего. Я поделил эти жалкие остатки, и мы напились из ручья, вытекавшего из-под земли тоненькой струйкой, не шире моего большого пальца. Отсутствие воды показалось мне странным: ведь на вершине и склонах горы я видел так много снега; позже я обнаружил, что там, где снежный покров кончался и откуда с приходом лета могли бы устремиться талые воды, снег был начисто сметен ветром. Но выше белые сугробы накапливались веками.

Наши одеяла пропитались росой, и мы расстелили их на камнях для просушки. Хотя день был пасмурный, сухой горный ветер высушил их за стражу-другую. Я знал, что ночь нам предстояло провести высоко на склонах — как я уже ночевал, когда бежал из Тракса. Грядущее наступление ночи ничуть не угнетало меня. Не столько потому, что мы уходили от опасностей, с которыми пришлось столкнуться в лесах, сколько из-за

ощущения оставленной позади мерзости. Я чувствовал скверну на себе и надеялся, что холодный ветер гор очистит меня. Некоторое время я не осознавал причины этого чувства; позже, когда начался крутой подъем, я догадался, что меня мучили воспоминания о том, как я лгал колдунам, вслед за ними притворяясь, будто обладаю огромным могуществом и посвящен в великие таинства. Эта ложь была оправданной — она помогла мне спасти свою жизнь и жизнь малыша Северьяна. И все же, прибегнув к ней, я уронил свое достоинство. Мастер Гурло, которого я возненавидел незадолго до ухода из гильдии, лгал часто; и теперь я не знал, была ли его лживость причиной моей ненависти, или же я ненавидел ложь потому, что лгал он.

И все же у мастера Гурло было надежное оправдание, наверное, более надежное, чем у меня. Он лгал во имя сохранения гильдии, ради расширения ее казны: в отчетах, представляемых разным чиновникам, он преувеличивал наши заслуги и скрывал ошибки. Поступая так, он, по сути будучи главою гильдии, ратовал за упрочение собственного положения — это не вызывало сомнений, — но также и за мое продвижение, и Дротта, и Роша, и Эаты, и всех учеников и подмастерьев,

которым предстояло унаследовать более высокий пост. Если б он был просто тем ограниченным, жестоким человеком, за которого себя выдавал, я знал бы наверняка, что он использует ложь исключительно в личных целях. Но я понимал, что это не так; возможно, многие годы он, как я теперь, занимался самокопанием.

Я не мог с уверенностью сказать, что действовал ради спасения маленького Северьяна. Когда он убежал, мне, наверное, следовало не сдавать меч, а вступить в бой — так было бы лучше для него. Я единственный, кому моя послушная капитуляция принесла непосредственную выгоду: вступи я в бой, я мог быть убит. И когда я бежал из подземелья, меня в равной мере заботило и возвращение «Терминус Эст», и спасение маленького Северьяна; за мечом я возвращался и в шахту обезьянолюдей, когда мальчика со мною не было. Без меча я бы превратился в обычного бродягу.

Минула стража, оставив мои размышления позади, и теперь я карабкался по отвесной скале с мечом и мальчиком на спине, так и не решив для себя, насколько каждый из них мне нужен. К счастью, я был бодр, а подъем не особенно труден, и, добравшись до вершины, мы оказались на старой дороге.

Мне приходилось бывать во многих странных местах, но нигде я не испытывал столь сильного ощущения аномалии. По левую руку, шагах в двадцати, эта широкая дорога обрывалась, срезанная оползнем; перед нами она простиралась безупречно ровная, как в тот день, когда была построена, — гладкая черная каменная лента вилась наверх по колоссу, чье лицо было скрыто за облаками.

Я опустил мальчика на землю, и он крепко вцепился мне в руку.

— Мама говорила, что по дорогам ходить нельзя, тут солдаты.

— Права твоя мама, — ответил я. — Но она собиралась спускаться под гору, где находятся солдаты. Когда-то они наверняка были и здесь, но умерли задолго до того, как самое крупное дерево этой чащобы пустило росток.

Мальчик продрог, я дал ему одеяло и показал, как в него заворачиваться и придерживать края, чтобы получился плащ. Случайному очевидцу мы бы показались одной маленькой серой фигуркой с непропорционально огромной тенью.

Мы вошли в туманное марево, и я удивился, что на такой высоте вообще может быть туман. Лишь когда мы поднялись выше и сверху поглядели

на залитую солнцем пелену, я увидел, что это было облако, одно из тех, что казались такими далекими с седловины.

Да и сама седловина, что лежала теперь внизу, на тысячи кубитов возвышалась над Нессусом и устьем Гьолла. Как же Далеко я забрел, что в здешних краях леса могли расти на такой высоте; я был почти у пояса Урса, где всегда стоит лето и лишь в горах меняется климат. Если бы я отправился на запад, прочь от этих гор, то, по словам мастера Палаэмона, я очутился бы в таких тлетворных тропических джунглях, насыщенных влажными испарениями и кишащих насекомыми, что лес, оставленный нами позади, в сравнении с ними показался бы раем. Но и там я обнаружил бы печать смерти, ибо хотя солнце и посылало на них свои лучи столь же обильно, как на любой другой участок Урса, их мощь была все же не той, что в прежние времена. Ледник полз на юг, и растительность умеренного пояса отступала; тропические же деревья вымирали, освобождая пришельцам пространство.

Пока я смотрел вниз на облако, мальчик шел вперед. Потом он обернулся и, глядя на меня сияющими глазами, крикнул:

— Кто построил эту дорогу?

— Несомненно, те же рабочие, что высекли на горе изображение человека. Они наверняка были весьма многочисленны и имели более мощные машины, чем те, что известны нам. И все-таки нужно же им было как-то увозить сколотый камень. Когда-то по этой дороге грохотали тысячи телег и повозок.

Я недоумевал: ведь железные колеса таких телег режут даже прочные мостовые Тракса и Нессуса, а эта дорога были гладкой, словно отшлифованной. По ней гуляли только солнечные лучи да ветер.

— Смотри, Большой Северьян! Там рука!

Мальчик указывал на отрог высоко над нашими головами. Я вытянул шею, но поначалу ничего нового не увидел все та же серая стена недружелюбных скал. Вдруг в конце с на солнце что-то сверкнуло. Все сомнения рассеялись: я видел золото, и золото это, как я сразу же понял, было кольцом Под ним я увидел большой палец, мертвым камнем лежащим вдоль скалы; этот палец в длину достигал сотни шагов, прочие же возвышались над ним словно горы.

Денег у нас не было, и я понимал, сколь важно нам их иметь, когда в конце концов нам придется спуститься на обитаемые земли. Если меня

все еще разыскивали, золото могло направить преследователей по ложному пути. К тому же золото поможет купить малышу Северьяну место ученика какой-нибудь хорошей гильдии, ибо бродить со мной все время он, разумеется, не мог. Я предположил, что огромное кольцо было каменным и лишь сверху покрыто пластинками золота; но и в этом случае площадь этих пластинок была такова, что если их сорвать и скатать вместе, кусок получился бы немалый. Тщетно я гнал от себя мысль, что не могли тоненькие пластинки сохраниться через столько веков. Они давно должны были отстать, отвалиться. Если же кольцо представляло собой цельный кусок чистого золота, то это могло стоить целое состояние; однако за все богатства Урса нельзя было купить это могучее изваяние, а тот, кто заказал его, вероятно, владел несметными сокровищами. Даже если кольцо и не было золотым до самого пальца, толщина металла все равно поражала воображение.

С этой мыслью я устремился наверх, и вскоре мальчик на своих маленьких ножках уже не поспевал за мною. Порой дорога становилась такой крутой, что я с трудом представлял, как спускались по ней груженные камнем телеги.

Дважды мы натыкались на трещины: одна из них была такой широкой, что мне пришлось сначала перебросить через нее мальчика, а потом уже перепрыгнуть самому. Я надеялся отыскать воду, прежде чем мы остановимся на ночлег, но не смог, а когда стемнело, мы не нашли лучшего укрытия, чем каменная расщелина; мы завернулись в одеяла и в мой плащ и крепко уснули.

К утру мы оба изнывали от жажды. Сезон дождей ожидался не раньше осени, однако я сказал мальчику, что сегодня, пожалуй, может пойти дождь, и мы двинулись в путь в приподнятом настроении. Он научил меня приглушать жажду, положив в рот камешек, — неизвестная мне ранее хитрость горных жителей. Ветер становился все холоднее, а воздух — разреженнее. Дорога то и дело сворачивала, и временами нам удавалось ловить несколько солнечных лучей.

Петляя, дорога уводила нас все дальше и дальше от нашей Цели, пока наконец гора вовсе не скрыла от нас и солнце, и кольцо: мы оказались где-то на уровне колен сидящего изваяния. Дорога в последний раз круто взяла вверх — настолько круто, что здесь кстати пришлись бы ступеньки. И вдруг впереди взвился целый лес башен с тонкими шпилями — они словно парили в чистом,

прозрачном воздухе.

— Тракс! — радостно воскликнул мальчик; очевидно, мать Рассказывала ему о городе чудесные истории и, когда они со Стариком покинули родной дом, обещала отвести его туда.

— Нет, — ответил я, — это не Тракс. Этот город скорее похож на мою Цитадель — на Башню Сообразности, Башню Ведьм, Медвежью Башню и Колокольную Башню.

Он вытаращил глаза.

— Нет, конечно же, это не Цитадель. Я был в Траксе — это каменный город. А эти башни из металла, как и наши.

— У них есть глаза, — заметил малыш Северьян. Он был прав. Поначалу я думал, что у меня разыгралось воображение, тем более что они были не на всех башнях. Потом я понял, что некоторые лица просто смотрели в другую сторону и, кроме глаз, у башен были плечи и руки; в действительности же они оказались металлическими статуями катафрактов, вооруженных до зубов воинов.

— Это не настоящий город, — сказал я мальчику. — Мы наткнулись на охрану Автарха, которая ждет лишь одного его слова, чтобы сокрушить всякого, кто посмеет его тронуть.

— А на нас они не нападут?

— Что, страшно? Они могли бы раздавить нас с тобой словно мышат. Но они ничего нам не сделают, я уверен. Это всего лишь статуи, идолы, поставленные здесь в память о его могуществе.

— А вон большие дома! — сказал мальчик, указывая вперед.

Действительно, здания едва доходили башням-статуям до пояса, и поначалу мы их не заметили. Мне снова вспомнилась Цитадель, где жилые строения, никогда не бросавшие вызова звездам, перемежались башнями. Возможно, это было всего лишь воздействие разреженного воздуха, но мне внезапно почудилось, будто эти металлические люди медленно поднялись, а потом, вскинув руки к небу, исчезли в вышине, как мы когда-то при свете факелов ныряли в темные воды резервуара.

Сметенный ветром на дорогу щебень, должно быть, хрустел под моими сапогами, но память моя не сохранила никаких звуков. Наверное, все терялось перед величием горной вершины, и мы приближались к статуям бесшумно, словно ступали по мхам. Наши тени, которые после восхода тянулись сначала за спиной, а потом по левую руку, превратились теперь в темные лужицы под

ногами. Я обратил внимание, что на нас устремлены глаза всех башен — видимо, некоторые я просто не заметил сразу (сказал я себе), хоть они и сверкали на солнце.

Наконец мы выбрались на дорожку, которая вилась между башнями и окружавшими их домами. Я ожидал увидеть руины, как в покинутом городе Апу-Пунхау. Все дома были заперты, таинственны и безмолвны; но казалось, построены они были всего лишь несколько лет назад. Ни одной проваленной крыши; ползучие стебли лиан не вытеснили из стен ни одного серого квадратного камня. Окон не было, и архитектурой эти дома не напоминали ни замки, ни крепости, ни склепы, ни иные привычные мне постройки. Они были начисто лишены украшений и внешнего изящества, но сработаны были на совесть, а разнообразие форм говорило о различном предназначении зданий. Сверкающие фигуры стояли меж ними, словно скованные внезапным леденящим ветром, и вовсе не походили на памятники.

Я выбрал дом наугад и сказал мальчику, что мы ворвемся внутрь и, если нам повезет, найдем там воду, а может быть, даже пищу. Глупое бахвальство! По прочности двери не уступали стенам, а крыша — фундаменту. Будь у меня даже топор,

я и то не смог бы пробиться внутрь, а пускать в дело «Терминус Эст» я не решился. Мы потеряли несколько страж, пытаясь отыскать дверь послабее. Второй и третий дома оказались столь же неприступны, как и первый.

— Вон круглый дом, — сказал наконец мальчик. — Пойду взгляну на него.

Ничуть не сомневаясь, что в этом безлюдном месте мальчику ничего не грозит, я отпустил его одного. Вскоре он вернулся.

— Дверь открыта!

24. ТРУП

Мне так и не удалось выяснить, каким целям служили Другие здания. Предназначение же этого, круглого, с куполом, было столь же непонятно. У него были металлические стены, но не из глянцевито-темного металла, как на башнях Цитадели, а из какого-то светлого сплава, похожего на шлифованное серебро.

Это сверкающее здание стояло на ступенчатом пьедестале, и я с восхищенным изумлением смотрел на него в окружении катафрактов во всем великолепии древнего вооружения, открыто стоящих посреди улиц. В нем было пять дверей по периметру (ибо мы не отважились войти сразу, а обошли его сначала кругом), и все они были распахнуты. Я внимательно осмотрел двери и пол перед ними, пытаясь определить, давно ли они открыты; однако на такой высоте пыли никогда не бывает много, и я ничего не смог выяснить наверняка. Окончив осмотр, я сказал мальчику, что войду первым, и шагнул внутрь.

Ничего не произошло. Даже когда мальчик последовал за мной, двери не захлопнулись,

никакой неведомый враг не накинулся на нас, воздух не насытился энергией, и пол не ушел из-под ног. И все же у меня возникло чувство, что мы попали в ловушку, будто, карабкаясь по горе, измученные голодом и жаждой, мы были свободны, а сейчас потеряли свободу. Не будь со мной мальчика, я бы, пожалуй, повернулся и убежал. Но в нынешней ситуации я не мог обнаружить страха или суеверия; я был обязан найти еду и воду.

В здании мы увидели множество устройств, которые я не берусь даже назвать. Это не были ни предметы мебели, ни ящики, ни машины в моем понимании этого слова. Почти все они имели самые причудливые формы: у некоторых были ниши для сидения, хотя сидящему пришлось бы согнуться в три погибели и лицезреть какой-нибудь выступ устройства вместо собеседников; другие были снабжены альковами, где когда-то, возможно, отдыхали здешние обитатели.

Эти устройства стояли по краям широких, стремивших к центру здания коридоров, прямых, словно оси колеса. Бросив взгляд вдоль коридора, в котором мы стояли, я увидел смутные очертания чего-то красного, а поверх него что-то коричневое, гораздо меньших размеров.

Поначалу я не обратил на них внимания, но, удостоверившись, что описанные мною устройства не представляют для нас ни ценности, ни опасности, взял мальчика за руку и направился к ним.

Красный предмет оказался чем-то вроде ложа очень замысловатой конструкции, снабженным ремнями, которыми можно было бы пристегнуть узника. Его окружали механизмы, предназначенные, как я решил, для освещения и подачи питания. Ложе помещалось на небольшой платформе, а на нем лежали останки человека о двух головах. Сухой разреженный воздух гор давно иссушил тело — оно, как и таинственные здания, могло находиться здесь и год, и тысячу лет. Человек, возможно, даже экзультант, был высокого роста и мощного сложения. Теперь же я мог бы, пожалуй, играючи вырвать его руку из сустава. На нем не было ни набедренной повязки, ни иной одежды, и, хотя мы привыкли к внезапным изменениям детородных органов, было странно видеть их такими сморщенными. На головах еще оставались волосы, и мне показалось, что на правой они были когда-то черными, а на левой соломенного цвета. Глаза на обеих головах были сомкнуты, а рты раскрыты, обнажая сохранившиеся зубы. Я заметил, что ремни, предназначенные

для удержания этого существа на ложе, не были застегнуты.

Как бы то ни было, в тот момент меня более всего занимал механизм, подававший ему некогда пищу. Я сказал себе, что старинные машины отличались зачастую удивительной долговечностью, а этой, несмотря на длительный простой, повезло с условиями хранения. Я принялся крутить все диски и нажимать на все рычаги, которые только мог найти, пытаясь заставить машину выдать нам хоть какую-нибудь пищу. Мальчик некоторое время наблюдал, как я дергаю там и сям за разные ручки, а потом спросил:

— Мы будем голодать?

— Нет, — отвечал я. — Без еды мы способны продержаться гораздо дольше, чем ты можешь предположить. Куда важнее достать воду, но если мы здесь ничего не найдем, то дальше в горах наверняка есть снег.

— А почему он умер?

Не знаю, отчего, но я не решался дотронуться до трупа; мальчик же провел пухлым пальчиком по высохшей руке.

— Все люди умирают. Удивительно другое — как же такое чудище вообще жило на свете? Обычно они погибают при рождении.

— А может быть, его просто бросили здесь, когда уходили из этого города?

— То есть бросили его здесь живым? Пожалуй, могло быть и так. Возможно, он не прижился бы в дальних землях. А может быть, он просто не захотел уходить. Вероятно и то, что его привязали к этому ложу за какое-то преступление. Может, он был склонен или к сумасшествию, или к приступам ярости. Если одно из этих предположений справедливо, то он, должно быть, провел последние дни в скитаниях по горам, сюда же возвращался за едой и питьем, а когда запасы иссякли, он умер.

— Тогда воды здесь нет, — резонно заметил мальчик.

— Верно. Но мы не знаем, так ли это произошло на самом деле. Он мог умереть и по другой причине, прежде чем кончились запасы. В этом случае правильно было бы предположить, что он служил забавой или талисманом людям, которые высекли на горе изображение. Очень уж мудрено здесь все устроено, чтобы содержать игрушку. По-моему, я никогда не смогу запустить эту машину.

— Пожалуй, нам лучше спуститься, — заявил мальчик, когда мы вышли из круглого дома.

Я обернулся, посмотрел назад и мысленно посмеялся над своими прежними страхами. Двери были по-прежнему открыты, ничто не стронулось с места, все оставалось неизменным. Если когда-нибудь здесь и была ловушка, ее потайные механизмы покрыла ржавчина много веков назад.

— Да, ты прав, — сказал я. — Но уже вечер — смотри, какие длинные у нас тени. Я бы не хотел, чтобы ночь застигла нас, когда мы будем спускаться по другому склону, поэтому я намерен добраться до кольца, которое мы видели утром. Может быть, мы найдем не только золото, но и воду. Мы заночуем в круглом доме — он спасет нас от ветра, — а утром, с первым лучом солнца, начнем спускаться по северному склону горы.

Мальчик кивнул, давая понять, что мои намерения ему ясны, и с готовностью засеменил следом за мной. Я же отправился искать дорогу к заветной цели. Кольцо было надето на южной руке, поэтому нам пришлось вернуться на склон, по которому мы взбирались, хотя на статуи катафрактов и здания мы вышли с юго-востока. Я боялся, что восхождение будет нелегким, но у основания широкой груди и предплечья обнаружил то, о чем давно мечтал: узкую лестницу. Она

уходила вверх на сотню ступеней, так что подъем все равно был изнурительным, и большую часть пути я нес мальчика на себе.

Рука представляла собой гладкий камень, но была достаточно широкой, чтоб я мог не опасаться, что мальчик соскользнет вниз, коль скоро мы придерживались центра. Я приказал ему не выпускать мою руку и нетерпеливо зашагал вперед. Ветер рвал за спиной мой плащ.

Слева под ногами виднелся подъем, который мы преодолели вчера, еще ниже тянулась седловина между горами в зеленом покрывале лесов. За нею в туманной дымке вдалеке высилась гора, на которой Бекан и Касдо когда-то построили себе дом. На ходу я старался разглядеть их хижину или хотя бы место, где она стояла, и наконец мне удалось найти взглядом скалу, по которой я спускался, прежде чем ее обнаружил, — крошечный цветной мазок на склоне той, не столь высокой, горы с радужным пятнышком водопада в середине.

Я остановился и, обернувшись, взглянул на вершину горы, по склону которой мы шли. Лицо и снежная митра были теперь хорошо видны; видел я и левое плечо, столь огромное, что на нем могла проводить учения тысяча кавалеристов

под командованием своего хилиарха.

Мальчик опередил меня и теперь указывал куда-то и кричал; указывал он вниз, на дома и металлические статуи стражей. Я не сразу разобрал слова, но спустя мгновение понял, что их лица на три четверти оборотились в нашу сторону; на те же три четверти они были повернуты к нам и нынешним Утром. Значит, статуи ворочали головами. Впервые я догадался проследить за их взглядом — они смотрели на солнце.

Я кивнул мальчику и крикнул:

— Вижу!

Мы стояли на запястье, оставалось миновать сравнительно небольшую поверхность кисти: она была и шире, и безопаснее руки. Я двинулся с места, а мальчик рванулся вперед. Кольцо блестело на указательном пальце — этот палец был больше ствола самого толстого дерева. Малыш Северьян взбегал на него, без труда удерживая равновесие, потом я увидел, как он вытянул ручонки, чтобы коснуться кольца.

Последовала вспышка — не столь, правда, яркая в послеполуденном солнечном свете; окрашенная фиолетовыми тенями, она показалась всполохом тьмы.

Мальчик почернел и упал замертво. Какую-то

долю секунду он еще жил: голова дернулась назад, руки широко раскинулись. Взвился клуб дыма и тут же был рассеян ветром. Тело упало, теряя конечности, словно мертвое насекомое, покатилось и исчезло в расщелине между указательным и средним пальцами.

Я, насмотревшийся на своем веку и на сожжения, и на четвертования, лично применявший пыточное клеймо (я очень живо помнил волдыри на щеках Морвенны), с трудом заставил себя подойти к нему.

В узкой расщелине между пальцами лежали кости, но то были старые кости, рассыпавшиеся у меня под ногами, когда я спрыгнул вниз, подобно тем, которыми были усеяны тропинки в нашем некрополе; я не стал даже нагибаться к ним. Я достал Коготь. Когда на пиру у Водалуса вынесли тело Теклы, я не применил его, а потом бранил себя за это; Иона упрекнул меня тогда в сумасбродстве, сказал, что, каким бы могуществом ни обладал Коготь, вернуть жизнь куску жареного мяса он бы все равно не смог.

Если бы только он подействовал сейчас и возвратил мне маленького Северьяна, я почел бы за счастье отвести малыша в безопасное место, а потом выхватить «Терминус Эст» и перерезать

себе глотку. Ведь если бы Коготь оказался властен сделать это, он вернул бы и Теклу, догадайся я тогда пустить его в ход. Текла же была частью меня самого, и уже ничто не могло ее воскресить.

Мне показалось, что камень источал слабое свечение, ясную прозрачную ауру; затем тело мальчика осыпалось золой и развеялось по ветру.

Я поднялся, спрятал Коготь и двинулся прочь, спрашивая себя, скольких трудов мне будет стоить выбраться из этого узкого места и добраться до основания руки. (В конце концов мне пришлось установить «Терминус Эст» лезвием вниз и поставить ногу на поперечину рукоятки, а потом, оказавшись наверху, отползти назад вниз головой, чтобы ухватить за эфес и втянуть меч за собою.) Сознание мое помутилось, и, хотя память мне не изменила, малыш Северьян смешался с другим мальчиком, Йадером, который жил с умирающей сестрой в лачуге на скале в Траксе. Того, кто был мне так дорог, я спасти не смог; другого, который почти ничего не значил для меня, я излечил. Оба мальчика слились в единый образ. То была, несомненно, некая защитная реакция моего сознания, предоставившего мне убежище от безумия; но мною владело странное чувство,

что, пока жив Йадер, не мог до конца исчезнуть и мальчик, которого мать нарекла Северьяном.

Я хотел было задержаться на кисти руки и обернуться, но не смог — по правде говоря, я испугался, что подойду к краю и брошусь вниз. Я не останавливался до тех пор, пока не достиг узкой длинной лестницы, ведущей вниз к широкому выступу горы. Там я сел и снова отыскал взглядом цветное пятно — скалу, под которой стоял дом Касдо. Мне вспомнился лай бурого пса, встретившего меня в лесу на подходе к дому. Он сыграл труса, этот пес, когда появился альзабо, но он же погиб, вонзив клыки в зоантропа, когда я, тоже струсив, стоял поодаль в нерешительности. Мне вспомнилось милое усталое лицо Касдо и личико мальчика, осторожно выглядывавшего из-за ее юбки; вспомнился старик, сидевший, скрестив ноги, спиной к очагу, и его рассказ о Фехине. Все они были мертвы: Севера и Бекан, которых я даже не видел, старик, пес, Касдо, а теперь и малыш Северьян; даже Фехин. Все умерли, все затерялись во мгле, окутывающей дни нашей жизни. Время представляется мне непроницаемой оградой из железных прутьев — нескончаемым частоколом лет; и мы несемся мимо, подобно Гьоллу, пока не впадаем в море, откуда возвращаемся лишь

каплями дождя.

Там, на руке гигантской статуи, я испытал дерзновенное желание подчинить себе время, желание столь сильное, что по сравнению с ним стремление к далеким солнцам казалось не более существенным, чем мечта мелкого вождя с перьями на голове завоевать соседнее племя.

Там я и сидел, пока горы на западе не закрыли собою солнце. Я ожидал, что спуск по лестнице окажется менее утомительным, чем подъем, но жажда вконец изнурила меня, а при каждом шаге болели колени. Сумерки быстро сгущались, ветер обдавал ледяным холодом. Одно из одеял сгорело вместе с мальчиком; я развернул то, что осталось, и обернул им плечи и грудь под плащом.

Преодолев половину спуска, я остановился передохнуть.

От дневного света остался лишь узкий багровый серп. Он становился все тоньше, потом и вовсе исчез, и, пока он таял, металлические гиганты катафракты разом подняли руки в прощальном салюте. Они стояли внизу, молчаливые и непреклонные, и я был готов поверить, что их так и изваяли с поднятыми руками, как предстали они пред моим взором теперь.

Восхищение на время вытеснило из моей души

горечь потери, я стоял недвижим и любовался ими, не смея пошевелиться. Ночь стремительно спускалась на горы, и в последних мутных сумерках я увидел, как огромные руки опустились.

Ошеломленный, я вернулся в безмолвный город, раскинувшийся на коленях высеченной в горе фигуры. Одно чудо на моих глазах не оправдало ожиданий, зато я узрел другое; даже если чудо кажется бессмысленным, в нем кроется неисчерпаемый источник надежды, ибо оно свидетельствует, что при всей скудности наших знаний наши поражения — а их всегда больше, чем мелких, незначительных побед, — могут иметь такую же ценность.

Возвращаясь к круглому зданию, где мы с мальчиком должны были заночевать, я умудрился, как последний глупец, сбиться с дороги. Сил на поиски у меня не осталось. Поэтому я отыскал защищенное от ветра место, подальше от металлического стража, растер усталые ноги, закутался в одеяло и сразу же заснул. Однако вскоре меня разбудила чья-то осторожная поступь.

25. ТИФОН И ПЬЯТОН

Заслышав шаги, я поднялся и обнажил меч. Так, с мечом наперевес, я простоял под покровом темноты по меньшей мере стражу — так мне, во всяком случае, показалось, хотя наверняка гораздо меньше. Еще дважды слышал я эти мягкие быстрые шаги, однако в моем уме они вызвали образ человека крупного: какой-то мужчина атлетического телосложения, мощный, но проворный, куда-то торопился, почти бежал.

Небо пышно блистало звездами; такими яркими их видит мореплаватель и сверяет по ним свой путь, когда они раскидывают над континентами бескрайнее, сверкающее золотом покрывало. Неподвижные фигуры стражей и здания купались в разноцветных огнях десяти тысяч солнц и были видны как днем. Нас охватывает ужас при одной лишь мысли о ледяных равнинах Диса, антипода нашего солнца, — но скольким солнцам мы представляемся антиподами? Жители Диса (если таковые существуют) знают лишь вечную звездную ночь.

Пока я стоял в звездном сиянии, я несколько

раз чуть не заснул; в полудреме я тревожился о мальчике — не разбудил ли я его, когда вставал, и где искать ему пищу, когда взойдет солнце. Потом в мои беспокойные мысли вторглось воспоминание о его гибели, подобно тому как ночь нахлынула на горы черной волною безысходности и отчаяния. Я понял тогда, что должна была чувствовать Доркас после смерти Иоленты. В отличие от Доркас и Иоленты, между мною и мальчиком не было чувственного влечения, но их плотская любовь никогда не возбуждала во мне ревности. Конечно, мое чувство к мальчику было столь же глубоко, как и чувство Доркас к Иоленте (и, несомненно, глубже привязанности Иоленты к Доркас). Если бы Доркас об этом знала, если бы ее любовь ко мне была столь же сильна, как моя к ней, ее ревность не знала бы границ.

Больше не слыша шагов, я завернулся поплотнее в одеяло, лег и заснул. Я был почти уверен, что на этот раз вообще не проснусь или проснусь от удара ножом в горло, однако ничего такого не произошло. Во сне я видел воду, а когда пробудился, солнце уже стояло высоко, я был один и едва мог пошевелиться от холода.

Меня больше не заботили ни таинственные шаги, ни стражи, ни кольцо, — ничто в этом

проклятом месте. Я желал одного — поскорее его покинуть и, сам не знаю почему, был рад, что на пути к северо-западному склону горы мне не придется идти мимо круглого здания.

Меня не раз посещало чувство, будто я схожу с ума, ибо на мою долю выпало множество великих приключений, а величайшее приключение есть то, что сильнее всего воздействует на сознание. Так вышло и на этот раз. Между ступнями катафракта появился человек, он был крупнее и гораздо шире меня в плечах — будто одно из чудовищных созвездий пало с ночного неба на Урс и облачилось в человеческую плоть. Ибо у этого человека было две головы, как у великана-людоеда в забытой сказке из «Книги чудес Урса и Неба».

Я машинально потянулся к рукояти меча. Одна из голов расхохоталась; пожалуй, это был первый и последний раз, когда кто-то смеялся при виде моего обнаженного меча.

— Тебе нечего бояться, — сказал человек. — Ты, как я погляжу, вооружен не хуже меня. Как зовут твоего друга?

Сколь ни был я удивлен, его дерзость привела меня в восхищение.

— «Терминус Эст», — ответил я и развернул к нему лезвие, чтобы он мог прочесть надпись.

— «Се Есть Черта Разделяющая». Прекрасно сказано, тем более что изречение прочитано здесь и сейчас, ибо наше время есть граница между старым и новым, и грянут невиданные в нашем мире перемены. Моего друга зовут Пьятон, но это имя, боюсь, значит не особенно много. Твоему он годится разве только в слуги, хотя как воин он, может, и превосходит твоего.

Услыхав свое имя, вторая голова широко раскрыла глаза, которые до сих пор были полуприкрыты, и уставилась на меня. Губы шевельнулись, словно она хотела что-то сказать, но не издали ни звука. Я решил, что эта голова страдает идиотизмом.

— Можешь спрятать свой меч. Я, как видишь, безоружен, хоть и имею лишнюю голову; как бы то ни было, я не желаю тебе зла.

С этими словами он поднял руки и повернулся сначала в одну сторону, потом в другую, дабы я мог убедиться, что он совершенно наг, что, впрочем, и без того было видно.

— Не сын ли ты того мертвого человека, которого я видел в круглом доме? — осведомился я, убирая «Терминус Эст» в ножны.

Он шагнул ко мне.

— Ничуть не бывало. Я и есть тот самый чело-

век. Из глубины моей памяти, словно из бурых вод Птичьего Озера, возникла Доркас, и я ощутил, как ее мертвая рука хватает мою.

— И я вернул тебя к жизни? — вырвалось у меня.

— Скажем лучше, что ты меня разбудил. Ты думал, что я мертв, а я лишь высох от жажды. Я напился и, как видишь, ожил. Вода дает жизнь, выкупаться — значит, возродиться.

— Все это замечательно, коли ты не лжешь, однако я сам умираю от жажды и не в состоянии думать ни о чем другом. Ты сказал, что напился, и говоришь со мной, как друг. Прошу тебя, докажи свою дружбу. Я очень давно не ел и не пил.

Та голова, что говорила со мной, улыбнулась.

— Твое желание самым чудесным образом совпадает с моими намерениями, в тебе уместно все, даже одежда, и мне это нравится. Я как раз собирался пригласить тебя туда, где еда и питье в изобилии. Следуй за мной.

В тех обстоятельствах я последовал бы куда угодно за всяким, кто пообещал бы мне воду. Теперь же я пытаюсь себя убедить, что пошел из любопытства, в надежде раскрыть тайну гигантских катафрактов; но, роясь в воспоминаниях о том дне, не нахожу ничего, кроме отчаяния и

жажды. Перед мысленным взором струились серебряные нити водопада у дома Касдо, бил Пророческий Фонтан Обители Абсолюта и несся поток из открытого мною шлюза Винкулы на вершине скалы в Траксе.

Двуглавый человек шествовал впереди меня спокойно и уверенно, нимало не сомневаясь в том, что я следую за ним и не собираюсь атаковать его сзади. Повернув за угол, я впервые обнаружил, что мы находимся вовсе не на знакомой радиальной улице, ведущей к круглому зданию. Но теперь оно возникло прямо перед нами. Дверь — не та, в которую входили мы с малышом Северьяном — была, как и прежде, открыта. Мы вошли внутрь.

— Вот мы и пришли, — сказала говорящая голова. — Залезай.

Мой провожатый махнул рукой в сторону похожего на лодку предмета, обтянутого изнутри тканью наподобие лотосовидной лодки в саду Автарха; только эта была предназначена для плавания не по воде, а по воздуху. Когда я дотронулся До планшира, лодка затряслась и закачалась, хотя я едва коснулся ее.

— Это, должно быть, флайер, — сказал я. — Мне никогда не доводилось видеть его так близко.

— Против настоящего флайера этот все равно что, скажем, воробей против стрижа. Или крот, или игрушечная птичка, которую ребятня гоняет ракетками. Учтивость, однако, требует, чтобы ты сел в него первым. Уверяю, никакой опасности нет.

Несмотря на его увещевания, я отпрянул. В этом судне было что-то таинственное, и я не мог заставить себя занести в него ногу.

— Я пришел из Нессуса, с восточного берега Гьолла, — сказал я, — и там нас учили, что почетный член любого экипажа ступает на борт последним и первым покидает его.

— Именно, — отвечала говорящая голова, и, прежде чем я сообразил, что происходит, двуглавый человек обхватил меня за талию и закинул в лодку, как я мог бы закинуть ребенка. Лодка слегка осела и закачалась под тяжестью моего тела, а через миг отчаянно заскрипела — это двуглавый вскочил в нее позади меня. — Или ты возомнил себя выше меня?

Он прошептал какие-то слова, и судно двинулось с места. Поначалу оно скользило медленно, но постепенно начало набирать скорость.

— Истинная учтивость, — рассуждал он, — должна быть достойна своего имени. Ибо лишь в

ней заключена правда. Когда плебей преклоняет колени перед монархом, он отдает свою голову во власть последнего. Он знает, что его властелин может отсечь ее, если пожелает. Простолюдины говорят — или скорее говаривали в старые добрые времена, — что во мне нет любви к правде. Правда, однако, в том, что именно правду я и люблю: открытое признание факта.

Все это время мы лежали, растянувшись, на дне лодки, почти вплотную друг к другу — расстояние между нами было не шире ладони. Голова-идиот по имени Пьятон таращила на меня глаза и бормотала что-то нечленораздельное.

Я попытался сесть. Двуглавый схватил меня железной хваткой и потянул назад.

— Это опасно. Такие суда рассчитаны на то, чтоб в них лежали. Ты же не хочешь потерять свою голову? Поверь мне, это ничуть не лучше, чем иметь лишнюю.

Лодка наклонилась вперед и нырнула в темноту. На миг я испугался, что мы вот-вот разобьемся, но это ощущение сменилось опьянением скорости, напомнившим мне детство, когда мы катались зимой на еловых лапах между мавзолеями. Привыкнув к стремительному движению, я спросил:

— Ты и родился таким, каков сейчас? Или Пьятон каким-то образом очутился на тебе позднее?

Я начинал понимать, что моя жизнь будет зависеть от того, много ли мне удастся узнать об этом странном существе. Говорящая голова расхохоталась.

— Меня зовут Тифон. Можешь так меня и называть. Ты слыхал обо мне? Когда-то я правил этой планетой и многими другими.

Я был уверен, что он лжет, и ответил:

— Слухи о тебе все еще живы… Тифон.

Он снова расхохотался.

— А ты был готов назвать меня Владыкой или иным подобным именем? Тебе это еще предстоит. Нет, я не был рожден таким, я вообще не был рожден в том смысле, какой ты вкладываешь в это слово. И Пьятон не был приращен ко мне. Это я был привит к нему. Что ты на это скажешь?

Лодка неслась так стремительно, что воздух свистел у нас над головами, однако спуск уже не казался таким крутым, как раньше. Когда я снова заговорил, лодка уже шла ровно.

— Ты сам пожелал этого? — Таков был мой приказ.

— Но это странно. Зачем тебе это понадобилось?

— Чтобы жить, разумеется. — Хотя Тифон находился менее чем в кубите от меня, я не мог разглядеть в темноте ни одного лица. — Всякая жизнь борется за свое сохранение — это мы называем Законом Существования. Видишь ли, наши тела умирают задолго до нас. Справедливо было бы утверждать, что мы умираем только потому, что умирают они. Мои врачи — разумеется, это были лучшие врачи многих миров — сказали мне, что я мог бы получить новое тело, и их первоначальное намерение состояло в том, чтобы вложить мой мозг в другой череп, предварительно очищенный от прежнего содержимого. Замечаешь порочность такого решения?

Я искренне сомневался в серьезности его слов, однако ответил, что ничего такого не замечаю.

— Лицо, мое лицо! Я бы утратил свое лицо, то, перед которым люди привыкли склоняться! — В темноте его рука схватила мою. — Я сказал врачам, что не согласен. Тогда один из них предложил пересадить всю голову целиком. Он сказал, что это даже упростит им задачу, поскольку сложная нервная система, управляющая зрением и речью, не будет затронута. Я обещал ему палатинат в случае успеха.

— Рискну предположить… — начал я. Тифон

опять рассмеялся.

— Что разумнее было бы снять с нового тела прежнюю голову. Да я и сам так считал. Но технология создания нервных соединений оказалась весьма сложной, и поэтому мой врач предложил лучший выход — я обеспечил ему проведение всех экспериментов, — а именно: перенести хирургическим путем лишь сознательные функции. Впоследствии бессознательные перенеслись ко мне сами собой. После этого можно было ампутировать старую голову. Конечно, остался бы шрам, но его можно было скрыть под рубашкой.

— Однако была допущена какая-то оплошность? Я успел отодвинуться от него, насколько позволяло узкое дно лодки.

— Дело было за временем. — Жесткая, неумолимая энергия, звучавшая в его голосе, постепенно ослабевала. — Пьятон был одним из моих рабов — не самым крупным, но никто не мог сравниться с ним силой. Мы всех подвергли испытаниям. Мне и в голову не пришло, что у человека с его физической мощью столь же мощной окажется связь функций всего организма с сердцем.

— Понимаю, — вставил я, хотя не понял ровным счетом ничего.

— То были времена великих смут. Мои астро-

номы доложили мне, что солнечная активность начнет постепенно сходить на нет. Но затухание будет происходить так медленно, что человек за свою жизнь его не заметит. Они ошиблись. За несколько лет температура мира упала на две тысячные доли, а потом стабилизировалась. Урожаи снизились, начался голод, люди взбунтовались. Тогда мне и следовало их покинуть.

— Почему ты этого не сделал?

— Я чувствовал необходимость сильной власти. Сильная власть может быть только единоличной, и не важно, рука ли это правителя или чья-нибудь еще… И вдруг откуда ни возьмись появился некий кудесник — такие всегда сваливаются как снег на голову. Бунтовщиком-то он, собственно, не был, хотя некоторые министры уверяли меня в обратном. Я к тому времени уже обосновался-здесь до полного излечения, и, поскольку он мог исцелять болезни и исправлять уродства, я приказал привести его к себе.

— Это был Миротворец, — догадался я, а мгновение спустя был готов вырвать свой болтливый язык.

— Да, таково было одно из его имен. Ты знаешь, где он сейчас?

— Он умер много тысячелетий назад.

— И все-таки, как мне представляется, он не покинул мир?

Это замечание чрезвычайно встревожило меня, и я опустил глаза к мешочку, чтобы проверить, не пробивается ли сквозь него лазоревый свет.

В этот миг нос нашего судна поднялся, и мы устремились наверх. Свист ветра над нами сменился ураганным ревом.

26. ОЧИ МИРА

Не исключено, что лодка управлялась светом — как только вокруг стало светло, она тут же остановилась. На склоне горы я умирал от холода, но это было ничто по сравнению со здешней стужей. Ветер стих, но я не помню, чтобы самой лютой зимой стоял такой мороз. Когда я попытался сесть, у меня закружилась голова.

Тифон выпрыгнул из лодки.

— Давно я здесь не был. Как хорошо снова оказаться дома!

Мы находились в огромном, как бальная зала, пустом помещении, выдолбленном в цельном камне. Свет проникал через два круглых окна в противоположной стене. Тифон поспешно зашагал к ним. Окна располагались шагах в ста друг от друга, а в диаметре достигали примерно десяти кубитов. Я шел за ним, пока не заметил, что его босые ноги оставляют четкие темные следы. Из окон на каменный пол намело много снега. Я опустился на колени, сгреб его целую горсть и набил им рот.

В жизни не ел я ничего вкуснее. Соприкоснув-

шись с моим воспаленным языком, снег таял, превращаясь в нектар. В тот миг я свято верил, что почел бы за счастье провести остаток дней вот так, на коленях, с набитым снегом ртом. Тифон оглянулся и, увидев меня, рассмеялся.

— Я и забыл, что ты умираешь от жажды. Пей вволю. Времени у нас предостаточно. Я хотел показать тебе кое-что, но это может подождать.

Пьятон тоже пошевелил губами, и мне показалось, что на лице идиота мелькнуло сострадание. Это привело меня в чувство — может быть, лишь потому, что я уже успел съесть несколько горстей снега. Проглотив еще одну, я, не вставая с колен, сгреб новую и спросил с набитым ртом:

— Ты рассказывал мне о Пьятоне. А почему он не может говорить?

— Ему, бедняге, не хватает дыхания. — У него наступила эрекция, и он помог себе рукой. — Как я уже говорил, я управляю всеми сознательными функциями своего организма, а вскоре смогу управлять и бессознательными. Посему, хоть Пьятон и в состоянии пока шевелить губами и языком, он подобен музыканту, нажимающему на клапаны трубы, играть на которой не в силах. Скажи мне, когда ты утолишь жажду, и я провожу тебя туда, где есть пища.

Я проглотил очередную порцию снега.

— Жажда больше не мучит меня. И я действительно очень голоден.

— Прекрасно, — сказал он и, повернувшись к окнам спиной, подошел к боковой стене комнаты. Я тоже приблизился к ней и увидел, что она вовсе не каменная, как мне до сих пор казалось. Стена была сделана из хрусталя или толстого дымчатого стекла; сквозь нее я увидел хлеба и множество невиданных яств, застывших в идеальной гармонии, словно на натюрморте.

— Ты владеешь талисманом власти, — сказал Тифон. — Дай его мне, и мы сможем открыть шкаф.

— Я что-то не понимаю, о чем ты. Тебе нужен мой меч?

— Мне нужно то, что висит у тебя на шее, — ответил он и протянул руку. Я отпрянул.

— Он не имеет никакой власти.

— В таком случае ты ничего не теряешь. Дай его мне.

Пока Тифон говорил, голова Пьятона едва заметно качнулась из стороны в сторону.

— Это всего лишь бесполезная побрякушка, — сказал я. — Когда-то я думал, что она наделена большой властью, но однажды я попытался

вернуть жизнь одной прекрасной женщине, и эта штуковина оказалась бессильна. А вчера мне не удалось воскресить мальчика, с которым я путешествовал. Откуда ты знаешь об этой вещи?

— Я все время за тобой следил. Я забрался повыше, и мне было хорошо вас видно. Когда мое кольцо убило ребенка и ты к нему подошел, я заметил священный огонь. Тебе, собственно, не обязательно отдавать камень мне в руки — не хочешь, не надо, — просто сделай то, что я тебе скажу.

— Ты мог бы нас предупредить, — заметил я.

— А зачем? Тогда вы ничего для меня не значили. Ты хочешь есть или нет?

Я достал камень. Ведь в конце концов его уже видели и Доркас, и Иона, да и Пелерины, говорят, выносили его на обозрение по большим праздникам. Он лежал у меня на ладони, померкший, как простой осколок синего стекла.

Тифон с любопытством склонился над ним.

— Ничего особенного. А теперь встань на колени. Я повиновался.

— Повторяй за мной: «Клянусь могуществом моего талисмана, что в благодарность за пищу, которая будет мне дарована, я навечно стану рабом того, чье имя Тифон…»

Меня затягивало в тенета, по сравнению с которыми сеть Декумана была робкой пробой руки. Тифон опутывал меня столь искусно, что я почти не чувствовал ловушки, однако ощущал тяжесть каждой стальной петли.

— «…и сложу к его ногам все, чем владею теперь и буду владеть в грядущие дни, и себя самого, нынешнего и грядущего, живого или мертвого, ему в угоду».

— Я уже нарушал клятвы раньше, — сказал я. — Если я поклянусь сейчас, то непременно нарушу свой обет.

— В таком случае тебе лучше все-таки поклясться, — ответил он. — Это не более чем формальность. Прими клятву, и я освобожу тебя от нее, как только ты насытишься.

Я не сдавался.

— Ты говорил, что любишь правду. Теперь я понимаю, почему: правда связывает людей.

Я положил Коготь обратно в мешочек. Не сделай я этого, миг спустя камень был бы безвозвратно потерян. Тифон схватил меня, прижав мои руки к бокам так, что я не мог вытащить «Терминус Эст», и бросился со мною к окнам. Я сопротивлялся изо всех сил, но был беспомощен, как щенок в руках силача.

Вблизи огромное окно казалось чем-то совсем иным: в комнату словно врывалась часть внешнего мира, но, вопреки ожиданиям, я увидел не поля и деревья, составлявшие пейзаж подножия горы, но просто кусок неба. Каменная стена комнаты, меньше кубита толщиной, проплыла мимо меня, едва попадая в поле зрения, как смутная демаркационная линия между воздухом и водой, заметная, если плыть с открытыми глазами.

В следующий миг я оказался за стеной. Тифон держал меня за лодыжки, и то ли мои сапоги были слишком толсты, то ли я просто-напросто перепугался, но мне казалось, что меня вообще никто не держит. Спиной я был повернут к телу горного массива. Мягкий мешочек с Когтем болтался у меня под головой, зацепившись за подбородок. Я отчетливо помню глупый минутный страх, что «Терминус Эст» выскользнет из ножен.

Я напряг мышцы живота и приподнялся, как гимнаст, висящий на перекладине, зацепившись за нее ступнями. Тифон опустил одну мою голень, чтобы нанести мне удар кулаком в зубы, отчего я с криком откинулся вниз. Изо рта, застилая глаза, хлынула кровь, и я попытался обтереть ее рукой.

Мною овладело сильнейшее искушение выхватить меч, подняться снова и обрушить его

на Тифона; однако я понимал, что у него будет достаточно времени, чтобы разгадать мои намерения и выпустить меня. Даже если бы моя затея удалась, я бы все равно погиб.

— Я повелеваю тебе, — раздался надо мной голос Тифона, показавшийся таким далеким в этом золотом безбрежье, — испросить у твоего талисмана помощь, которую только он способен тебе оказать.

Он умолк, и каждый миг казался мне вечностью.

— Он может тебе помочь?

Я собрался с мыслями и выкрикнул:

— Нет!

— Понимаешь ли ты, где находишься?

— Вижу. На лице. На лице горы-автарха.

— Это мой лик — разве ты не видел? Это я был автархом. И я иду снова. Ты находишься у моих глаз, спиной к радужной оболочке правого глаза. Постигаешь? Ты всего лишь слеза, одна-единственная моя слезинка. Если я захочу, то через миг уроню тебя, и ты запятнаешь мое одеяние. Кто может спасти тебя, владелец Талисмана?

— Ты, Тифон.

— Только я?

— Только Тифон.

Он подтащил меня назад, и я уцепился за него, как когда-то мальчик цеплялся за меня, и держался, пока снова не оказался в огромной зачерепной полости горы.

— А теперь, — сказал Тифон, — предпримем еще одну попытку. Ты должен снова подойти вместе со мною к глазу, но на этот раз — добровольно. Может быть, тебе будет легче, если мы подойдем не к правому глазу, а к левому.

Он взял меня за руку. Думаю, в известном смысле я шел добровольно, коль скоро я переставлял ноги; но еще никогда я не ходил с такой неохотой. От прямого отказа меня удерживала лишь память о только что пережитом унижении. Мы остановились у самого края глаза; Тифон жестом приказал мне выглянуть наружу. Под нами колыхался океан облаков, синий в тени и розовый в солнечном свете.

— Автарх, — спросил я, — как мы оказались здесь? Ведь судно, в котором мы летели, так долго неслось вниз по туннелю.

Он только пожал плечами.

— А почему гравитация должна служить Урсу, если она может служить Тифону? И все-таки Урс красив. Взгляни! Перед тобою мантия мира. Прекрасна, не правда ли?

— Воистину прекрасна, — согласился я.

— Она может стать твоей мантией. Я уже говорил тебе, что был автархом над многими мирами. И снова стану автархом, но на этот раз мои владения будут гораздо обширнее. Я сделал этот мир, старейший из всех, своей столицей. То была моя ошибка, ибо я слишком долго медлил и наступила катастрофа. Когда пришло время бежать, путь к побегу был для меня закрыт: те, кого я поставил командовать кораблями, способными достичь звезд, уже улетели на них, и эта гора стала моей западней. Подобная ошибка не повторится. Моя столица будет в другом месте, а этот мир я дарую тебе, и ты будешь править им как мой вассал.

— Но я не совершил ничего, чтобы заслужить столь высокую честь.

— Никто, даже ты, владелец Талисмана, не вправе требовать от меня оправдания моим поступкам. Лучше взгляни на свою империю.

Пока он говорил, далеко под нами родился ветер. Облака вскипели под его напором, выстроились, словно ратники, в шеренги и поплыли на восток. Под ними я увидел горы и прибрежные равнины, а за равнинами еле различимую синюю полоску моря.

— Смотри! — Там, в горах на северо-востоке,

куда Тифон указывал пальцем, что-то блеснуло. — Там применили какое-то мощное энергетическое оружие. Наверное, один из нынешних правителей или его противники. Кто бы то ни был, его местонахождение теперь обнаружено, и он будет повержен. Армии нынешнего века слабы. Наши цепы разобьют их словно мякину.

— Откуда ты все это знаешь? — удивился я. — Ты же был мертв, пока мы с сыном не обнаружили тебя.

— Верно. Но с тех пор я прожил без малого день и успел объять мыслью далекие страны. В морях тоже обитают силы, которые будут править. Но они станут нашими рабами, а северные орды уже сейчас служат им.

— А жители Нессуса? — Меня бросило в дрожь, и я едва стоял на ногах.

— Нессус будет твоей столицей, если ты этого захочешь. Со своего престола в Нессусе ты будешь присылать мне дань прекрасными женщинами и мальчиками, древними книгами и приборами и всеми ценностями, производимыми на Урсе.

Он снова указал куда-то. Я увидел сады Обители Абсолюта, словно брошенный на траву золотисто-зеленый платок, а за ними Стену Нессуса и сам великий город. Вечный город раскинулся

на многие сотни лиг, и даже башни Цитадели терялись в бесконечной череде крыш и извилистых улиц.

— Таких высоких гор не бывает, — сказал я. — Будь сия высочайшей в мире и стой она на вершине другой, столь же высокой, я и то не смог бы увидеть столько, сколько вижу сейчас.

Тифон положил руку мне на плечо.

— Высота этой горы зависит от моей воли. Или ты забыл, чей на ней лик?

Я смотрел на него в недоумении.

— Глупец, — сказал он. — Ты видишь моими глазами. А теперь достань свой талисман. На нем ты присягнешь мне.

Я вынул Коготь — в последний, как мне показалось, раз — из сшитого Доркас кожаного мешочка. Далеко внизу что-то пошевелилось. Зрелище из окна залы по-прежнему восхищало своим великолепием, но это был всего лишь вид, доступный каждому человеку, взобравшемуся на вершину могучего пика: голубая чаша Урса. Сквозь облака я видел колени горы со множеством прямоугольных домов, круглым зданием в центре и катафрактами. Последние медленно поворачивали головы от солнца к нам, наверх.

— Они приветствуют меня, — сказал Тифон.

Пьятон тоже пошевелил губами, однако не в такт Тифону. На этот раз я принял это к сведению.

— Недавно ты стоял около другого глаза, — заметил я, — но они не стали тебя приветствовать. Они салютуют Когтю. Ответь, автарх, что станется с Новым Солнцем, когда оно наконец явится? Будешь ли ты преследовать его, как преследовал Миротворца?

— Присягни мне и поверь, что, когда оно придет, я буду его господином, а оно — моим самым жалким рабом.

Я нанес удар.

Есть такой удар — нижней частью ладони в нос, — в результате которого расщепленная кость врезается в мозг. Однако действовать нужно стремительно, ибо, заметив угрозу, человек инстинктивно вскидывает руки, чтобы защитить лицо. Я был не так ловок, как Тифон, но он закрыл руками собственное лицо, я же ударил Пьятона и услышал тот легкий роковой хруст, который означает смерть. Сердце, многие тысячелетия служившее не своему хозяину, перестало биться.

Через миг я ногой столкнул тело Тифона в пропасть.

27. НА ГОРНЫХ ТРОПАХ

Летающая лодка не желала мне повиноваться, ибо я не знал нужного слова. (Мне не раз приходило в голову, что Пьятон, помимо прочего, пытался сообщить мне и заклинание, как передал просьбу отнять у него жизнь; и я пожалел, что не прислушался к нему раньше.) Наконец я смирился с необходимостью спуститься из правого глаза, и это был самый тяжелый спуск в моей жизни. В процессе своего затянувшегося повествования я не раз повторял, что ничего не забываю; но из этого эпизода я почти ничего не помню: я был так обессилен, что двигался словно во сне. Когда наконец я вступил в безмолвный загадочный город, раскинувшийся у ног катафрактов, стояла ночь, и я улегся у стены, чтобы укрыться от ветра.

Красота гор поистине поразительна, это признает даже тот, кто встретился там лицом к лицу со смертью; в этом случае она, пожалуй, в особенности очевидна; а те охотники, что отправляются вверх по склонам сытыми и добротно одетыми и такими же возвращаются, вообще редко видят горы. Там весь мир кажется чашею чистой, спо-

койной, ледяной воды.

В тот день я преодолел длинный спуск и выбрался на высокогорные равнины, раскинувшиеся на многие лиги, — равнины, пышно поросшие сладкой травой и цветами, которые ниже на склонах и не встретишь: маленькие, скорые в цветении, прелестные и невинные, какими розы никогда не будут.

Почти со всех сторон равнины были окаймлены скалами. Мне неоднократно казалось, что дальше пути на север нет и мне придется повернуть; но всякий раз я находил проход — вверх или вниз — и продолжал путь. Под собой я не замечал ни одного солдата, ни пешего, ни конного, что, с одной стороны, успокаивало — ибо я все еще опасался, не гонятся ли за мной патрули архона, — а с другой, тревожило, поскольку я, очевидно, удалился от дороги, по которой шло снабжение армии.

Я вспомнил альзабо, и мне сделалось не по себе: не исключено, что в здешних горах водилось много подобных тварей. Да и вправду ли он умер? Откуда мне знать, какими регенерирующими силами он был наделен? И хотя при свете дня я забывал о нем, изгонял его из памяти и заставлял себя больше тревожиться из-за солдат, хотя я

пытался утешить себя созерцанием множества великолепных горных пиков, водопадов и дальних пейзажей, по ночам он возвращался ко мне в мыслях, и я, съежившись под плащом и одеялом, дрожал как в лихорадке и, казалось, слышал его легкую поступь и скрежет когтей.

Если, как это часто говорят, мир сотворен по единой схеме (предшествовавшей ли сотворению мира или выявленной за миллионы лет его существования, по неумолимой логике порядка и развития, — неважно), тогда во всех вещах должны присутствовать как миниатюрное отображение высшего величия, так и увеличенный отпечаток мелких материй. Пытаясь отвлечься от воспоминаний об ужасе, пережитом при встрече с альзабо, я предался размышлениям о природе этого существа, а именно — о его способности вживлять в себя волю и память людей. Обнаружить сущностную связь с мелкими тварями труда не составило. Альзабо можно сравнить с некоторыми насекомыми, которые прикидываются травинками и прутиками, дабы сделаться незаметными для врагов. С одной стороны, никакого обмана здесь нет: существуют и настоящие травинки и прутики. С другой — под их видом скрываются насекомые. Таков и альзабо. Когда

Бекан, вещая устами чудовища, пожелал воссоединиться с женой и сыном, он верил, что изъявляет собственную волю, да так оно и было. И все же его воля способствовала бы насыщению альзабо, чьи потребности и устремления скрывались за голосом Бекана.

Неудивительно, что соотнести природу альзабо с высшей истиной оказалось значительно труднее; но в конце концов я пришел к заключению, что она подобна процессу поглощения материальным миром мыслей и поступков людей, которые, покинув этот мир, оставили в нем следы своей деятельности — назовем их, в широком смысле, произведениями искусства: здания, песни, войны, открытия; они продлевают Жизнь своим творцам и после кончины последних. Именно в этом смысле маленькая Севера подала альзабо идею подвинуть стол, чтобы добраться до люка, хотя самой Северы уже не было на свете.

Моей советчицей была Текла, и хотя я не особенно рассчитывал на нее, когда обращался к ее памяти, а она была не слишком толковой советчицей, все же ее в свое время нередко предупреждали об опасностях, которые таят в себе горы; и она теперь, стоило забрезжить рассвету, направляла меня то вверх, то вперед, то вниз

— чаще вниз, в долины, туда, где тепло.

Голод меня больше не мучил, ибо у того, кто долго не ест, чувство голода пропадает. На смену ему пришла слабость, а вместе с ней чистота и ясность сознания. С тех пор как я вылез из правой глазницы, минуло двое суток, и вот под вечер я набрел на пастушескую хижину, по виду напоминавшую каменный улей, и обнаружил в ней котелок с кукурузной мукой.

Всего в дюжине шагов бил горный источник, но разжечь огонь мне было нечем. Я убил весь вечер, собирая пустые птичьи гнезда с находящейся в полулиге от хижины скалы, а ночью высек огонь мечом, сварил похлебку (на такой высоте это заняло много времени) и съел ее. И как ранее в случае со снегом, теперь мне казалось, что я в жизни не ел ничего вкуснее — у похлебки был еле уловимый, но все же явственный привкус меда, словно высушенные зерна сохранили нектар живого растения; так некоторые камни хранят в сердцевине морскую соль — память Урса.

Считая своим долгом расплатиться за угощение, я перетряхнул ташку в поисках сколь-нибудь равноценной вещи, которую я мог бы оставить пастуху. Жертвовать коричневой книгой Теклы я не хотел и успокаивал совесть, убеждая себя,

что пастух наверняка не умеет читать. Сломанный точильный камень я тоже не мог уступить — то была память о зеленом человеке, да и какой прок от такого подарка здесь, где вокруг в траве полно камней? Денег у меня не было, — все до последней монетки я отдал Доркас. Наконец я остановился на алой накидке, которую нашел в грязи в каменном городе на пути в Тракс. Накидка была основательно перепачкана, тонкая ткань не обещала особого тепла, но я надеялся, что кисти и яркий цвет порадуют хозяина угощения.

Я так и не понял, как она оказалась в том месте, где мы ее нашли; неясно также, преднамеренно ли бросил ее тот странный человек, что вызвал нас, дабы возродиться на короткое время, или же она случайно осталась лежать, когда дождь растворил его и обратил в прах, коим он пробыл так долго. Несомненно, древняя сестринская община жриц повелевает силами, которые пускает в ход чрезвычайно редко или же никогда, и было бы естественно предположить, что помимо прочего они обладают способностью оживлять мертвых. Если это так, он вполне мог призвать их, как призвал нас, а накидка осталась по случайному стечению обстоятельств.

И все-таки, даже если мое предположение

верно, все это могло произойти по воле некой высшей власти. Именно таким образом большинство мудрецов объясняют очевидный парадокс: хотя мы вольны поступать по своему выбору, совершить преступление или из человеколюбивых побуждений похитить из Эмпиреев знак священного отличия, каждый наш шаг направляет Предвечный, и всяк служит ему равно: и тот, кто повинуется, и тот, кто идет наперекор.

Но и это не все. Из коричневой книги Теклы и из частных бесед с ней самою мне было известно мнение некоторых мудрецов, полагавших, будто настоящее кишит мириадами мельчайших существ, представляющих собой лишь краткое мгновение, — и они действительно бесконечно малы, но в глазах людей и по сравнению с ними огромны: ведь для людей их властелин столь громаден, что они его не видят. (Именно из-за необъятных размеров он становится ничтожно малым, так что, соотнося себя с ним, мы словно шагаем по континенту, а видим лишь горы, леса, болота и пески; и, хотя и чувствуем в башмаках мелкие камешки, мы никогда не осознаем, что земля, которую мы проглядели, каждый миг нашей жизни пребывает с нами, даже в дороге.)

Есть и другие мудрецы: эти, подвергая сомне-

нию власть, которой якобы служат упомянутые существа (назовем их амшаспандами), тем не менее признают факт их существования. Их утверждения основываются не на опыте человечества (его накопилось достаточно), к которому я присовокупляю свой собственный, ибо я видел такое существо в книге с зеркальными страницами в палатах Отца Инира, — а скорее на теории, опровергнуть которую в принципе невозможно: они говорят, что если вселенная нерукотворна (во что они предпочитают не верить по причинам не вполне философского свойства), то она должна была существовать всегда, вплоть до сего дня. А коли она существовала всегда, то само время простирается в бесконечность за пределы настоящего, и в этом безбрежном океане времени все мыслимое по необходимости является преходящим. Существа, подобные амшаспандам, мыслимы, ибо эти мудрецы и многие другие мыслили о них. Но если столь могущественные существа однажды обрели жизнь, как они могут погибнуть? Посему они живы и поныне.

Так, из парадоксальной природы знания следует, что, хотя существование Илема, праисточника всех вещей, может быть подвергнуто сомнению, существование его служителей несомненно.

И поскольку такие существа есть, они наверняка вторгаются в нашу жизнь (если это можно назвать вторжением) посредством «случайностей», подобных той, что принесла мне в руки алую накидку, которую я оставил в хижине. Ведь не требуется безграничного могущества, чтобы вмешаться во внутреннюю структуру муравейника, любой ребенок может разворошить его палкой. Ничего более ужасного я и помыслить себе не могу. (Ведь собственная смерть, которую принято считать столь пугающей, что она приобретает немыслимые масштабы, не особенно меня тревожит; о чем я действительно не в силах думать — возможно, благодаря моей безупречной памяти, — так это о собственной жизни.)

Но существует и другое объяснение. Не исключено, что все стремящиеся служить Теофанию и даже все те, кто служит ему лишь на словах, какими бы разными они ни казались нам и сколько бы между собой ни враждовали, тем не менее связаны единой нитью, подобно марионеткам, мальчику и деревянному человечку, что явились мне как-то раз во сне; в какие бы схватки они ни вступали, ими управляет невидимая рука, которая дергает за тесемки и того и другого. Если это так, то встреченный нами шаман мог быть

другом и союзником жриц, которые, странствуя, распространили свою культуру на те самые земли, где он, в первобытной древности, под мерную литургию барабана и кроты, приносил некогда жертвы в маленьком храме каменного города.

Под вечер следующего дня я вышел к озеру Диутурн. Именно его, а вовсе не море я видел на горизонте, прежде чем Тифон вторгся в мое сознание и сковал его, — если вообще встреча с Тифоном и Пьятоном не была видением или сном, от которого я пробудился, разумеется, в том же месте, где и заснул. Но озеро Диутурн действительно похоже на море: оно столь огромно, что мысль бессильна охватить его, а ведь именно в мыслях рождаются отклики, вызываемые этим словом; без мысли озеро было бы всего лишь участком Урса, залитым солоноватой водой. Озеро Диутурн лежит на высоте гораздо большей, чем настоящее море, однако я потратил почти всю светлую часть дня, чтобы добраться до берега.

Спуск запомнился мне надолго, и даже сейчас, когда мой разум хранит воспоминания о стольких людях, я лелею память о редкостных по красоте картинах, окружавших меня, ибо пока я шагал, одно время года сменяло другое. Когда я вышел из хижины, позади меня, справа

и надо мной простирались бескрайние снежные и ледяные пространства, темневшие еще более холодными скалами — скалами, беспрестанно обдуваемыми ветром, так что снег, не задерживаясь на них, осыпался и таял на нежной луговой траве, по которой я ступал, — первой весенней траве. Я шел дальше, травы набирали силу, и зелень их становилась сочнее. Под ногами снова зазвенели, застрекотали насекомые (я заметил это только потому, что давно их не слышал), и новый шум напомнил мне звук настраиваемых струн в Голубой Зале перед началом первой кантилены — звук, к которому я, бывало, прислушивался, лежа у открытого окна на койке в общей спальне для учеников.

Начали попадаться кусты, которые, несмотря на упругую силу ветвей, не могли жить на тех высотах, где росли нежные травы; при ближайшем рассмотрении они оказались и не кустами вовсе, а деревьями, которые я видел прежде. В ином климате они вырастают до исполинских размеров, здесь же, в условиях короткого лета и суровой зимы, чахнут, и стволы их Разветвляются на несколько самостоятельных прочных побегов. На одном из этих карликовых деревьев я обнаружил дрозда в гнезде — первую за время

моих скитаний по горам птицу, если не считать парящих над вершинами хищников. Пройдя еще лигу, я увидал кавий; грызуны высовывали пятнистые головы с зоркими черными глазами из нор, темневших меж голых камней, и тревожным свистом предупреждали сородичей о моем приближении.

Еще лига, и кролик опрометью выскочил у меня из-под ног и, петляя, в страхе бросился прочь. Я, конечно, не мог его догнать. До этого я шел очень быстрым шагом и теперь чувствовал, что совсем обессилел — не только от голода и болезни, но и от разреженного воздуха. Словно меня подтачивала другая хворь, о которой я не подозревал, пока не возвратился к целительным деревьям и кустам.

Отсюда озеро уже не казалось затуманенной голубой линией, предо мной простиралась холодная безмятежная водная гладь с редкими пятнами лодочек, которые, как я позже узнал, были по большей части построены из тростника; на краю залива чуть правее выбранного мною направления виднелась опрятная деревушка.

Подобно тому как я не чувствовал слабости, не осознавал я и одиночества, обрушившегося на меня со смертью мальчика, пока не увидел лодки

и круглые соломенные крыши деревни. Это было больше, чем просто одиночество. Прежде я никогда особенно не нуждался в людском обществе, если только это не было общество друга. Поэтому я не спешил вступать в разговор с незнакомцами и вообще не любил незнакомые лица. Оставшись один, я в некотором смысле утратил себя как личность: для дрозда и для кролика я был не Северьяном, но Человеком. Многие люди находят удовольствие в абсолютном одиночестве, особенно в одиночестве посреди пустыни, потому что им нравится исполнять эту роль. Я же снова хотел обрести индивидуальность и потому искал свое отражение в зеркале других индивидуальностей, чтобы доказать себе, что я не такой, как они.

28. УЖИН У СТАРЕЙШИНЫ

Когда я добрался до окраины селения, уже завечерело. Солнце отбрасывало на гладь озера огненно-золотую дорожку, словно в продолжение деревенской улицы, которая уходила теперь на самый край света, зовя человека в запредельные миры. Передо мной предстала деревня, маленькая и убогая, но мне, так долго скитавшемуся высоко в горах вдали от жилья, и она показалась завидным убежищем.

Постоялого двора здесь не было, а поскольку никто из жителей, выглядывавших из окон, не изъявлял желания принять меня, я спросил, где дом старейшины, оттолкнул открывшую мне дверь толстуху и расположился со всеми удобствами. Когда наконец явился старейшина посмотреть, кто ворвался к нему незваным гостем, я уже грелся у его очага, склонившись над «Терминус Эст» с точильным камнем и масленкой в руках. Он начал с почтительного приветствия, но любопытство так разбирало его, что даже в поклоне он не мог удержаться, чтобы не поднять голову и не взглянуть на меня. Я чуть было не

расхохотался, однако вынужден был сдержать себя, дабы не погубить свои планы.

— Мы рады господину оптимату, — пропыхтел старейшина, раздувая морщинистые щеки. — Очень, очень рады. Мое скромное жилище и все наше бедное селение в твоем распоряжении.

— Я не оптимат, — возразил я, — я Великий мастер Северьян из Ордена Взыскующих Истины и Покаяния, более известного как гильдия палачей. Ты, старейшина, будешь называть меня мастером. Путь мой был долог и многотруден, и если ты обеспечишь мне добрый ужин и сносную постель, обещаю до утра не беспокоить иными требованиями ни тебя, ни твоих людей.

— Я предоставлю тебе свою собственную кровать, — поспешно отвечал он, — и лучший ужин, какой только удастся собрать.

— У тебя наверняка имеется свежая рыба и водная дичь. Приготовь и то и другое. И рису в придачу. — Мне вспомнилось, как однажды, рассуждая об отношениях гильдии с остальным миром, мастер Гурло сказал мне, что самый легкий способ подчинить себе человека — это потребовать от него то, чего он не может выполнить. — Принеси меду, свежего хлеба и масла, этого, пожалуй, будет достаточно. Само собой ра-

зумеется, овощи и салат, но до них я не охотник, поэтому разрешаю удивить меня каким-нибудь новым вкусным блюдом, чтобы было что рассказать по возвращении в Обитель Абсолюта.

Глаза старейшины округлились, а при упоминании об Обители Абсолюта, о которой сюда наверняка доходили лишь самые противоречивые слухи, они и вовсе чуть не вылезли из орбит. Он пробормотал что-то невразумительное о деревенском стаде (кажется, что на этих высотах слишком слабый скот и масла добыть не удастся), но я знаком велел ему удалиться да напоследок ухватил его за шиворот, поскольку он не сразу закрыл за собою дверь.

Когда он ушел, я отважился снять сапоги. Никогда нельзя позволять себе расслабляться при заключенных (а старейшина и жители его деревни оказались теперь моими узниками, хоть и не содержались в заточении), однако я не сомневался, что никто не осмелится войти в комнату, пока еда не будет готова. Почистив и смазав «Терминус Эст», я несколько раз провел по нему точильным камнем, чтобы подправить края.

Закончив с мечом, я достал из мешочка другое сокровище и осмотрел его при ярком свете очага. С тех пор как я покинул Тракс, он ни разу не

прижимался к моей груди, подобно железному пальцу, — в самом деле, блуждая в горах, я порой вообще о нем забывал, а один или два раза, вспомнив, в ужасе хватался за него, думая, что потерял его. Здесь, в доме старейшины, в квадратной комнате с низким потолком, где камни выставляли из стен круглые, как у городских чиновников, животы и грели их в тепле очага, его сияние было не столь ярко, как в лачуге одноглазого мальчика, но и не столь безжизненно, как под взглядом Тифона. Теперь же он испускал мерное свечение, и я представлял, как блики исходящей от него энергии играли на моем лице. Еще никогда знак в форме полумесяца, находящийся в самом его сердце, не проступал так отчетливо; и как бы темен ни был тот знак, из него звездообразно излучался свет.

Я спрятал камень, слегка устыдившись, что забавлялся с такой священной вещью, словно с игрушкой, достал коричневую книгу и собрался читать. Но, хотя нервное возбуждение утихло, я был так истощен, что старинные малоразборчивые буквы заплясали в неровном свете очага перед моими глазами, и вскоре я сдался: история, которую я читал, казалась мне то полнейшей бессмыслицей, то летописью моей собственной

жизни, повествующей о бесконечных скитаниях, бесчинствах толпы, потоках крови. Наконец мне показалось, что на странице мелькнуло имя Агии, но, приглядевшись, я понял, что это было слово «однажды»: «Агия она прыгнула, и, извернувшись между щитками панциря…»

Текст казался простым и понятным и вместе с тем не поддающимся осмыслению, словно отражение зеркала в водной глади. Я закрыл книгу и убрал в ташку, словно бы и вовсе ничего не читал. Агия, должно быть, и в самом деле прыгнула с соломенной крыши дома Касдо. И, конечно, ей пришлось изворачиваться, ибо казнь Агилюса она выставила убийством. Гигантская черепаха, которая, согласно мифу, поддерживает мир и, следовательно, воплощает собою галактику с ее законом всеобщего коловращения, а без него мы лишь бесцельно блуждали бы в пространстве; в древние времена она являла собою ныне Утраченный Универсальный Закон, по которому можно было проверять правильность своих действий. Ее спинной панцирь символизировал небесную сферу, а пластрон — плоскости всех миров. Щитки панциря становятся, таким образом, воинством Теологуменона, слабо мерцающим, наводящим ужас…

Не будучи уверен, что все это я действительно прочитал, я достал книгу снова и попробовал отыскать ту страницу, но не смог. Умом я понимал, что слишком устал и проголодался, что свет от очага был неровен, потому-то и сбились мои мысли; но я ощущал знакомый страх, посещавший меня всегда, когда какое-нибудь незначительное происшествие пробуждало во мне предчувствие начинающегося безумия. Я сидел, неподвижно уставившись в огонь, и мне представлялось более вероятным, чем хотелось бы, что однажды вследствие удара по голове или же без всякой причины воображение и разум поменяются во мне местами — совсем как двое старых друзей, которые каждый день приходят в парк и садятся на одни и те же места и однажды, новизны ради, решают ими поменяться. Тогда все фантомы моего сознания предстали бы передо мною как живые, а люди и вещи реального мира явились бы неясными призраками, какими мы видим наши страхи и честолюбивые устремления. На нынешнем этапе повествования эти мысли, должно быть, кажутся провидческими; но да послужит мне извинением признание, что память Давно и часто терзает меня, ввергая в подобные размышления.

Мои болезненные фантазии прервал робкий стук в дверь. Я натянул сапоги и крикнул:

— Входи!

Некто, старательно избегавший попадаться мне на глаза, хотя я и не сомневался, что это был старейшина, распахнул дверь, и вошла молодая женщина с медным подносом, заставленным едой. Она опустила поднос передо мной, и только тогда я увидел, что на ней совершенно ничего нет, кроме браслетов, которые я поначалу принял за грубо сработанные украшения. Она поклонилась, поднеся руки ко лбу, как принято у северян, и тускло сверкавшие обручи, обхватывавшие ее запястья, оказались кандалами из закаленной стали, соединенными длинной цепью.

— Вот твой ужин, Великий мастер, — произнесла она и попятилась к выходу. Ее округлые бедра прижались к двери; одной рукой она попыталась отодвинуть щеколду, раздался слабый скрежет, но дверь не поддавалась. Очевидно, тот, кто впустил девушку внутрь, придерживал дверь снаружи.

— Вкусно пахнет, — сказал я. — Ты сама это приготовила?

— Не все. Рыбу и жареные пирожки.

Я встал и, прислонив «Терминус Эст» к гру-

бым камням стены, чтобы не испугать девушку, подошел к подносу. Там была молодая утка, поджаренная и нарезанная кусочками, уже упоминавшаяся рыба, пирожки (приготовленные, как потом выяснилось, из тростниковой муки и рубленых моллюсков), запеченный в золе картофель и салат из грибов и зеленых овощей.

— А где же хлеб? — воскликнул я. — Где масло и мед? Они за это поплатятся.

— Мы надеялись, Великий мастер, что пирожки тебе понравятся.

— Насколько я понимаю, это не твоя вина. С тех пор как я возлег с Кириакой, прошло много времени, и я пытался не смотреть на молодую рабыню, но не мог. Длинные черные волосы до пояса, темная, почти медная кожа и тонкая талия, что редко встречается у женщин-автохтонок. Черты ее лица были весьма приятны и только слегка резковаты. У Агии, несмотря на светлую кожу и веснушки, скулы были гораздо шире.

— Благодарю тебя, Великий мастер. Мне приказано остаться и прислуживать тебе у стола. Если тебе это неугодно, скажи ему, чтобы открыл дверь и выпустил меня.

— Я скажу ему, — громко произнес я, — чтобы убирался из-под двери и не подслушивал мои

разговоры. Ты ведь говоришь о своем хозяине? О старейшине этой деревни?

— Да, о Замбдасе.

— А тебя как зовут?

— Пиа, Великий мастер.

— Сколько тебе лет, Пиа?

Она сказала, и я улыбнулся, узнав, что ей столько же лет, сколько мне.

— А теперь ты будешь мне прислуживать. Я устроюсь у огня, где сидел, когда ты вошла, а ты подашь мне еду. Тебе не приходилось прислуживать у стола?

— О да, Великий мастер, я каждый раз прислуживаю.

— В таком случае ты знаешь, что делать. Что ты посоветуешь мне в качестве первого блюда? Рыбу?

Она кивнула.

— Тогда неси ее сюда. Захвати вино и несколько твоих пирожков. Ты сама ела?

Она покачала головой, ее черные волосы заволновались.

— Нет, но мне не пристало есть вместе с тобой.

— Но у тебя все ребра наружу.

— Меня за это побьют, Великий мастер.

— Тебя никто не тронет, пока я здесь. Однако я

не настаиваю. Я только хочу проверить, не подмешали ли в пищу чего-нибудь такого, что я не мог бы дать своему псу, будь он по-прежнему со мной. Если подмешали, то скорее всего в вино. Если это один из обычных сельских сортов, то на вкус оно будет терпким, но сладким. — Я наполнил глиняный кубок до половины и протянул ей. — Пей, и если ты не свалишься на пол в конвульсиях, я тоже выпью немного.

Ей стоило немалых трудов осушить кубок; наконец с полными слез глазами она протянула его мне. Я налил себе вина и пригубил, найдя его отвратительным, как того и ожидал.

Я усадил девушку рядом с собой и заставил съесть одну изжаренную в масле рыбу. Потом сам съел две. Они оказались настолько же вкуснее вина, насколько нежное личико девушки было приятней сморщенной физиономии старейшины. Рыба была, несомненно, поймана сегодня и в воде гораздо холоднее и чище, чем мутный поток устья Гьолла, где ловилась рыбешка, к которой я привык в Цитадели.

— Здесь всех рабов заковывают в цепи? — спросил я, когда мы разделили пирожки. — Или ты, Пиа, проявила особый норов?

— Я одна из озерных людей, — ответила она,

и, будь я знаком с местными обстоятельствами, объяснение было бы исчерпывающим.

— А я думал, что озерные люди живут здесь. — Я описал рукой в воздухе круг, имея в виду дом старейшины и его деревню.

— Нет-нет, это береговые люди. Мой народ живет на островах посреди озера. Но иногда ветер прибивает сюда наши острова, и Замбдас боится, как бы я не увидела свой дом и не уплыла. Цепь очень тяжелая — видишь, какая она длинная? — и снять ее я не могу. Она утопит меня.

— Если только ты не найдешь бревно, на которое можно ее положить, пока ты будешь работать ногами. Она притворилась, что не слышит.

— Отведай утки, Великий мастер.

— С удовольствием, но не раньше, чем ты съешь кусок. Однако прежде расскажи мне еще о своих островах. Так, значит, их прибивает сюда ветром? Признаюсь, никогда не слыхал, чтобы ветер гнал по воде острова.

Пиа не отрывала вожделеющего взгляда от утки — должно быть, в здешних краях утка считалась редкостным лакомством.

— Я слышала, что существуют неподвижные острова, но никогда их не видела. Это, наверное, очень неудобно. Наши перемещаются с места

на место, а мы иногда привязываем к деревьям паруса, чтобы плыть быстрее. Правда, поперек ветра они плавают плохо, потому что днища у них устроены не по-умному, как у лодки, а по-глупому, как у корыта. Иногда они даже переворачиваются.

— Мне бы хотелось когда-нибудь повидать твои острова, Пиа, — сказал я. — Мне бы также хотелось вернуть тебя туда, поскольку, как мне кажется, ты рвешься домой. Я кое-чем обязан человеку, имя которого очень похоже на твое, и, прежде чем покинуть эти места, я попытаюсь помочь тебе. А пока подкрепи свои силы, поешь утки.

Она взяла кусок и, пощипав его, начала отделять волокна мяса, которые собственными пальчиками отправляла мне в рот. Утка была очень вкусной, она еще не успела остыть и слегка дымилась, а мясо имело легкий привкус петрушки — наверное, из-за водорослей, которыми здесь питались утки, — было сочным и даже жирным. Уничтожив добрую половину ножки, я съел несколько листиков салата, чтобы освежить рот.

Потом я, кажется, поел еще немного, как вдруг мое внимание привлекло какое-то движение в пламени. От обгоревшего поленца отвалился ку-

сок и, пламенея, упал в золу под решетку; однако вместо того, чтобы лежать там спокойно, угасая и обугливаясь, он встал стоймя и обернулся Рошем — Рошем с его огненно-рыжей шевелюрой, полыхавшей настоящим пламенем, Рошем с факелом в руке, каким я помнил его, когда мы были детьми и бегали купаться в резервуаре под Колокольной Башней.

Я так удивился, увидев его здесь, уменьшенного до размеров пылающего микроморфа, что обернулся к Пиа и указал на него. Она, похоже, ничего не увидела; но на ее плече, полускрытый ее черными ниспадающими волосами, стоял Дротт, размером с мой большой палец. Когда я попытался сказать ей об этом, то вместо голоса услыхал шипение, скрежет и лязг. Страха я не почувствовал, только некое отрешенное удивление. Я точно знал, что произносимые мною звуки не были человеческой речью, и смотрел на перекошенное от ужаса лицо Пиа, как на древнее живописное полотно из галереи старого Рудезинда в Цитадели; заговорить же словами или хотя бы сдержать поток нечленораздельных звуков я не мог. Пиа вскрикнула.

Дверь распахнулась. Она так долго была закрыта, что я и думать забыл, что она могла оказаться

незапертой; но теперь она была открыта, и в проеме стояли двое. Сначала это были люди, люди, у которых вместо лиц висели звериные шкуры, гладкие, словно мех выдры, но все-таки люди. Через миг они превратились в растения, высокие голубовато-зеленые стебли, из которых торчали острые как бритвы причудливые угловатые мертвые листья. В них прятались пауки — черные, мягкотелые, многоногие. Я попытался подняться со стула, и они прыгнули на меня, таща за собою сеть паутины, переливавшуюся в пламени очага. Я только успел взглянуть в лицо Пиа, и ее широко распахнутые глаза и искаженный гримасой рот врезались мне в память; в следующую секунду сапсан со стальным клювом обрушился на меня сверху и сорвал с моей шеи Коготь.

29. ЛОДКА СТАРЕЙШИНЫ

Меня заперли в темноте, где, как выяснилось позже, я просидел всю ночь и большую часть утра. Поначалу я даже не замечал мрака: галлюцинациям освещение не нужно. Я до сих пор помню их так же отчетливо, как и все, что со мной происходило, но не стану докучать тебе, мой далекий читатель, и описывать всю череду фантомов, хотя сделать это сейчас не составило бы большого труда. Что действительно нелегко, так это выразить охватившие меня чувства.

Конечно, я мог бы утешить себя мыслью, что всему виной проглоченный мною наркотик, а именно — грибы, подмешанные в салат (я и сам об этом догадывался, а впоследствии получил подтверждение в беседах с лекарями, пользовавшими раненых из армии Автарха); ведь мысли Теклы и сама ее личность были заключены в кусочке ее плоти, который я проглотил на пиру у Водалуса, с тех пор познав новый источник и утешения, и беспокойства. Но я не сомневался, что дело не в наркотике, ибо все мои видения — забавные, жуткие, пугающие и просто гротески

— были плодом моего собственного сознания. Или сознания Теклы, которое стало частью моего.

Либо, что вероятнее, плодом нашего общего переплетенного сознания — я понял это, наблюдая в темноте за проходящей передо мною вереницей светских дам — экзультанток, женщин непомерно высокого роста, чопорная стать которых напоминала дорогие фарфоровые вазы, с лицами, напудренными жемчужной и алмазной пылью, с глазами огромными, как у Теклы, что достигалось закапыванием в них с раннего детства вещества, содержавшего незначительное количество какого-то яда.

Северьян — я сам, только в годы ученичества, юноша, что бегал купаться под Колокольной Башней, едва не утонул однажды в Гьолле, праздно шатался в одиночестве среди руин некрополя летними днями и, находясь на самом дне отчаяния, передал украденный нож шатлене Текле, — этот Северьян исчез.

Но он не умер. Отчего же он прежде думал, что всякая жизнь должна заканчиваться смертью и никак иначе? Он не умер, но растаял, как тает навеки в пространстве звук, становясь неразличимой и неотъемлемой частицей некой импровизированной мелодии. Тот, юный, Севе-

рьян ненавидел смерть, и милостью Предвечного, которая есть наше проклятье и погибель (как справедливо считают многие мудрецы), он не умер.

Женщины изогнули длинные шеи и глянули на меня сверху вниз. Их прекрасные овальные лица были пропорциональны, бесстрастны, но вместе с тем похотливы; внезапно на меня снизошло понимание, что они не принадлежали — или больше не принадлежали — ко двору Обители Абсолюта, но сделались куртизанками Лазурного дома.

Вереница этих соблазнительных и неживых женщин все тянулась, и с каждым ударом моего сердца (которые я чувствовал тогда острее, чем когда-либо прежде или впоследствии, словно у меня в груди стучал барабан) они меняли роли, сохраняя свою внешность до мельчайшей детали. Как это часто бывает в снах, когда тот или иной человек является на самом деле кем-то другим, на кого он ни в малейшей степени не похож, так и эти женщины сейчас знаменовали присутствие Автарха, а через миг они будут проданы на ночь за пригоршню орихальков.

Все это время, а на самом деле гораздо дольше, я страдал от острой боли по всему телу. Паутина,

которая при ближайшем рассмотрении оказалась обычной рыболовной сетью, так и осталась на мне; но я был связан еще и веревками, причем одна рука оказалась накрепко прижатой вдоль тела, а Другая вывернутой наверх, так что пальцы почти касались лица и уже онемели. Когда действие наркотика достигло своего апогея, я перестал контролировать естественные отправления, и теперь мои штаны были пропитаны холодной, отвратительно пахнувшей мочой. Галлюцинации являлись все реже и протекали не столь бурно, и меня охватило отчаяние при виде жалкого моего состояния; я содрогался при мысли о том, что со мной сделают, когда наконец выведут из темной кладовки, где я был заперт. Не исключено, что старейшина как-то прознал, что я не тот, за кого себя выдавал, а следовательно, и то, что я бежал от правосудия архона, — иначе он никогда не посмел бы так поступить со мною. Мне оставалось лишь гадать, сам ли он расправится со мной (скорее всего утопит), сдаст какому-нибудь местному этнарху или вернет в Тракс. Я принял решение покончить с собой, если мне предоставят такую возможность, но надежда на это едва брезжила, и в отчаянии я был готов убить себя немедленно.

Наконец дверь открылась. Хотя свет проник из сумрачной комнаты с толстыми стенами, он чуть не ослепил меня. Двое мужчин выволокли меня наружу, словно мешок муки. Оба носили густые бороды, и скорее всего это они были людьми со звериными шкурами вместо лиц, напавшими на нас с Пиа. Они поставили меня вертикально, однако мои ноги подкашивались, и им пришлось развязать веревку и снять сети, опутавшие меня, стоило мне освободиться из сетей Тифона. Когда я снова смог стоять, они дали мне кружку воды и кусок соленой рыбы.

Через некоторое время явился старейшина. Он принял важную позу — очевидно, он всегда так стоял, когда отдавал распоряжения, — но голос его дрожал. Почему он до сих пор боялся меня, я понять не мог, но он действительно испытывал страх передо мной. Терять мне было нечего, даже наоборот, одна попытка могла вернуть мне все, поэтому я приказал освободить себя.

— Я не могу этого сделать, Великий мастер, — ответил он. — Я всего лишь подчиняюсь приказу.

— И кто же посмел отдать приказ обойтись так с представителем твоего Автарха?

Он прокашлялся.

— Приказ пришел из замка. Вчера вечером мой почтовый голубь отнес туда твой сапфир, а сегодня утром прилетел другой с распоряжением переправить тебя туда.

Сначала я подумал, что он имеет в виду Замок Копья, где находился один из штабов димархиев, но очень скоро сообразил, что здесь, по меньшей мере в двух сотнях лиг от крепости Тракса, старейшина не мог знать таких подробностей. Я спросил:

— О каком замке ты говоришь? И не нарушу ли я приказ, если помоюсь, прежде чем явлюсь туда? Дадут мне выстирать одежду?

— Это, пожалуй, можно, — неуверенно проговорил он и обратился к одному из бородачей: — Каков нынче ветер?

Тот в ответ повел плечом, что для меня не значило ровным счетом ничего, но старейшина явно сделал какой-то вывод.

— Ладно, — сказал он мне, — освободить тебя мы не можем, но вымоем и накормим, если ты голоден.

Он собрался было уйти, но обернулся ко мне и прибавил, почти извиняясь:

— Замок близко, Великий мастер, а Автарх далеко. Сам понимаешь. В прошлом мы много

страдали, но теперь живем спокойно.

Я был готов с ним спорить, но он не дал мне такой возможности. Дверь захлопнулась за его спиной.

Вскоре пришла Пиа, одетая на этот раз в рваную робу. Мне ничего не оставалось делать, как подвергнуться новому унижению — раздеться и вымыться с ее помощью; однако я воспользовался случаем и шепнул ей на ухо, чтобы она отправила мой меч со мной, куда бы меня ни повезли, ибо я надеялся бежать даже ценой присяги таинственному владельцу замка и клятвы объединить с ним свои усилия. Как и прежде, когда я посоветовал ей доверить тяжесть кандалов бревну, она притворилась, что не слышит меня; но спустя стражу, когда меня одели и повели к лодке на виду у всей деревни, я увидал ее бегущей вслед за нашей маленькой процессией с прижатым к груди «Терминус Эст». Очевидно, старейшина хотел оставить столь замечательное оружие себе и громко протестовал, но мне удалось убедить его, пока меня втаскивали на борт, что, прибыв в замок, я непременно проинформирую хозяина о существовании моего меча, и старейшина сдался.

Мне еще не приходилось видеть лодки, подоб-

ной этой. Формой она напоминала шебеку, имела острую удлиненную корму, такой же острый, но еще более вытянутый нос и широкую среднюю часть. Корпус же отличался неглубокой посадкой и был сделан из связанного в пучки тростника наподобие корзины. В таком неустойчивом корпусе не могло быть уступа для обычной мачты, и вместо нее возвышалась треугольная связка жердей. Узкое основание этого треугольника тянулось от планшира до планшира, а равные по длине стороны поддерживали блок, предназначенный, как выяснилось, когда мы со старейшиной забрались на борт, для подъема косого рея, к которому крепился льняной парус в широкую полоску. Меч старейшина уже держал в руках, но как только лодку оттолкнули, Пиа, звеня цепью, прыгнула на борт.

Старейшина пришел в ярость и ударил ее, однако, поскольку в таком утлом суденышке особенно не развернешься (того и гляди опрокинется), он разрешил ей остаться, и она, рыдая, удалилась на нос. Я рискнул осведомиться о причине ее желания непременно ехать с нами, хотя и сам, пожалуй, догадывался.

— Моя жена очень круто с ней обходится, когда меня нет дома, — ответил старейшина. — Бьет

ее, заставляет целыми днями заниматься черной работой. Ей это, разумеется, полезно, к тому же она тем сильнее радуется моему возвращению. Но ей больше по душе ездить со мной, и я не могу винить ее.

— Я тоже, — сказал я, отворачиваясь от его зловонного дыхания. — Кроме того, она посмотрит на замок, которого наверняка никогда не видела.

— Ну, стены-то она видела сто раз. Она родом из озерных людей, их носит по воде ветром, и они все видят.

Ветром несло и нас. Он наполнял прозрачным, как душа, воздухом полосатый парус и гнал наше широкобокое суденышко по волнам, раскачивая и подбрасывая, пока деревня не исчезла за линией горизонта. Белые горные пики по-прежнему оставались в поле зрения, теперь казалось, будто они вырастают прямо из озера.

30. НАТРИЙ

Оружие у этих рыболовов было самое примитивное — даже племена автохтонов, населявшие окраины Тракса, имели более совершенное вооружение, — я не сразу заметил, что оно вообще у них есть. Людей на борту было больше, чем необходимо для управления судном и установки паруса, но я поначалу решил, что это просто гребцы или свита старейшины — может, их прихватили для пущей важности, чтобы не ударить лицом в грязь, когда их господин предстанет перед владельцем замка. У пояса они носили кинжалы с прямым узким лезвием, как у всех рыбаков, а у носа лодки лежал пучок острозубых гарпунов, но я не обратил на это внимания. И лишь когда на горизонте появился один из тех островов, что я так жаждал увидеть, и люди схватились за дубинки с наконечниками из звериных клыков, я понял, что это охрана, а значит, старейшине есть кого опасаться.

Островок казался самым обыкновенным, пока не стало заметно, что он действительно плывет по воде. Он был почти плоским, с пышной зеле-

ной растительностью, а на самом высоком холме стояла маленькая хижина, выстроенная, как и наше судно, из тростника и с тростниковой же крышей. На островке виднелось несколько ив, у самой воды была привязана длинная узкая лодка. Когда мы приблизились, я разглядел, что и сам остров был из тростника, только из живого. Стебли сообщали ему характерную зеленую окраску; корни, переплетаясь, образовывали основание наподобие плота. Поверх этой спутанной массы лежал слой почвы, нанесенной ветром или руками обитателей. Корни растущих на острове деревьев волочились следом за ним по воде. Яркой заплаткой пестрел маленький огород.

Поскольку старейшина и все остальные, за исключением Пиа, бросали в сторону острова злобные взгляды, я испытывал к этому плавучему клочку земли вполне объяснимую симпатию, да и трудно было не проникнуться любовью к этой свежей зелени на фоне холодного, кажущегося безбрежным пространства Диутурна и еще более бездонной и поистине безбрежной теплой синевы небесных просторов, увенчанных солнечным диском и испещренных искрами звезд. Если бы я увидел все на полотне, то символика этой картины произвела бы на меня большее

впечатление, чем произведения, символизм которых вызывает насмешки критиков: прямая линия горизонта, разделяющая холст на две равные части, изумрудное пятно острова, зелень деревьев и коричневая хижина. Но кто бы взялся объяснить ее смысл? Ведь не может быть, чтобы символы, усмотренные нами в пейзажах, существовали только в нашем сознании. Всякий без колебаний навешивает ярлык сумасшедших на солипсистов, искренне верящих, что мир существует постольку, поскольку они созерцают его, и все здания, горы, даже мы сами (к кому они обращались секунду назад) исчезнут сразу, стоит им отвернуться. Не будет ли таким же безумием утверждать, будто смысл этих предметов исчезает сходным образом? Если Текла была символом любви, которой я считал себя недостойным, разве терялась ее символическая сила, когда я закрывал за собою дверь ее камеры? Тогда уж и содержание этой книги, над которой я тружусь уже столько стражей, расплывется багровым маревом, когда я завершу последнюю страницу и отошлю в вечную библиотеку старика Ультана.

Таким образом, великий вопрос, над которым я размышлял, устремив жадный взор на плавучий остров, досадуя на связывавшие меня веревки и

проклиная в душе старейшину, состоит в следующем: что представляют собой (и для нас) эти символы? Мы подобны детям, которые смотрят на исписанную страницу и видят вместо букв то землю, то меч.

Не знаю, какой символ был заключен в простой маленькой хижине и зеленом саде, что зависли между двумя безднами. Я же прочитал в них напоминание о доме и воле и ощутил такое страстное желание свободы, возможности самому выбирать путь в верхние или нижние миры, имея при себе все необходимое, какого не знал, даже будучи узником Обители Абсолюта, даже став клиентом палачей Старой Цитадели.

Когда я сильнее всего жаждал свободы, а расстояние между лодкой и островом было практически минимальным, из хижины вышли двое мужчин и юноша лет пятнадцати. На миг они замерли у двери, пристально глядя на нас, словно оценивая экипаж. На борту, не считая старейшины, находилось пятеро сельчан, и, казалось, было ясно, что жители острова не могли тягаться с нами; однако же они спустили на воду свою легкую лодочку и устремились в погоню: мужчины гребли, а юноша ставил плетенный наподобие циновки парус.

Старейшина сидел рядом со мной, держа на

коленях «Терминус Эст»; время от времени он оборачивался в сторону преследователей. Чувствовалось, что он готов отбросить меч и поспешить к человеку, стоявшему у румпеля, или к четверке, расположившейся на носу. Мои руки были связаны спереди, и хватило бы кратчайшего мига, чтобы вытащить клинок из ножен хотя бы на дюйм и перерезать веревки, но такая возможность все не представлялась.

Показался еще один остров, и теперь нас преследовали уже две лодки; во второй сидели двое мужчин. Мы почти утратили численное преимущество, и старейшина, не выпуская из рук мой меч, подозвал к себе одного из сельчан и отступил шага на два к корме. Они открыли металлический ящик, спрятанный под мостиком рулевого, и достали незнакомое мне оружие — лук, состоявший из двух связанных между собой на расстоянии в пол-ладони и закрепленных распорками луков, каждый из которых имел свою тетиву. Обе тетивы тоже были связаны посередине, и узлы образовывали петлю для какого-то метательного снаряда.

Пока я разглядывал это хитроумное приспособление, Пиа придвинулась ближе.

— За мной наблюдают, — прошептала она, — я

не могу развязать тебя прямо сейчас. Но, может быть… — И она бросила многозначительный взгляд на следовавшие за нами лодки.

— Они нападут?

— Только если к ним присоединятся другие. У них ведь нет ничего, кроме гарпунов и пачо. — Встретив мой непонимающий взгляд, она пояснила: — Палка с зубьями — здесь у одного тоже такая есть.

Мужчина, которого подозвал к себе старейшина, тем временем достал из ящика нечто завернутое в стеганое одеяло. Из свертка он извлек несколько серебристо-серых металлических брусков маслянистого вида и разложил их на крышке ящика.

— Огненные пули, — пролепетала Пиа, еле живая от страха.

— Ты считаешь, что приплывут еще озерные люди?

— Если на пути попадутся другие острова. Если один или двое преследуют лодку с земли, присоединяются все, чтобы потом участвовать в дележе добычи. Однако скоро снова покажется берег…

Груди под ее рваной рубахой заволновались, ибо человек старейшины вытер ладонь о куртку, взял один из серебристых брусков и заложил в

петлю двойного лука.

— Но ведь это все равно что тяжелый камень… — начал я.

Он натянул обе тетивы до самого уха и отпустил; брусок со свистом пролетел в промежутке между луками. Пиа так перепугалась, что я было подумал, что брусок вот-вот превратится в одного из тех пауков, которые привиделись мне в наркотическом опьянении, когда меня опутали рыбацкой сетью.

Но ничего подобного не произошло. Брусок промелькнул как молния над водой и шлепнулся в озеро в десятке шагов от носа ближайшей лодки.

Одно мгновение казалось, что на этом все и закончилось. Потом раздался грохот, и из воды вырвался дымный столп пламени. Что-то темное, очевидно тот самый снаряд, все еще целый, под воздействием им же вызванного взрыва вылетел из озера и снова упал, на этот раз между преследовавшими нас лодками. Грянул новый взрыв, несколько меньшей силы, чем первый, чуть не потопив одну из лодок. Вторая увернулась. Прогремел третий взрыв, потом четвертый, однако металлический брусок, какими бы иными возможностями он ни обладал, казалось, был не способен гнаться за лодками, как ночницы

Гефора гнались за мною и Ионой. Каждый взрыв отбрасывал брусок все дальше, и на четвертом мощность его иссякла. Лодки-преследователи безнадежно отстали, но я все равно был восхищен смелостью гребцов, продолжавших погоню до последнего.

— Огненные пули высекают пламя из воды, — сказала Пиа.

— Вижу, — кивнул я, ощупывая ногами днище в поисках устойчивой опоры среди связок тростника.

Даже с руками, связанными за спиной, плыть невелика хитрость — Дротт, Рош, Эата и я, бывало, упражнялись в плавании со сцепленными за спиной пальцами, — и я знал, что с руками, связанными спереди, продержусь на плаву столько, сколько потребуется. Я беспокоился о Пиа и приказал ей отойти как можно дальше к носу лодки.

— Но тогда я не смогу тебя развязать.

— Ты все равно не сможешь этого сделать, потому что за нами следят, — шепнул я ей. — Иди вперед. Если судно перевернется, держись за связку тростника. Тростник не тонет. Не возражай.

Ее никто не остановил, и она дошла до самого форштевня, представлявшего собою сплетенный из тростника канат. Я набрал в легкие воздуха и

прыгнул за борт.

При желании я мог бы нырнуть, не поднимая брызг, однако я прижал колени к груди и обхватил их руками, чтобы вызвать как можно больший всплеск, и благодаря тяжести сапог ушел под воду гораздо глубже, чем если бы разделся для плавания. Я встревожился, ибо помнил, что когда лучник старейшины выпустил снаряд, он взорвался не сразу. Знал я и то, что, ныряя, окатил водой не только их обоих, но и все разложенные на пропитанной маслом тряпке бруски, — но не был уверен, что они взорвутся до моего появления на поверхности.

Чем глубже я погружался, тем холоднее становилась вода, которая и при первом соприкосновении с ней показалась ледяной. Открыв глаза, я увидал вокруг себя вихреобразные потоки великолепной кобальтовой сини, сгущавшейся по мере приближения ко мне. Меня охватила паника, и я чуть не сбросил сапоги, но вовремя сообразил, что без них быстро всплыву; тогда я быстро переключился на созерцание этого насыщенного цвета. Мне вспомнились неразлагающиеся трупы на кучах мусора у шахт Сальтуса — трупы, навсегда погрузившиеся в синие потоки времени.

Я медленно вращался, не предпринимая никаких действий, пока не увидел над головой коричневый корпус лодки старейшины. Некоторое время мы пребывали в таком положении: я словно мертвое тело и судно словно птица-падальщик, что, распластав на ветру крылья, зависает под неподвижными звездами.

Мои легкие готовы были лопнуть, и я устремился наверх.

Вдруг я услыхал первый взрыв, прозвучавший словно некий сигнал, далекий неясный гром. Я, как лягушка, работал ногами, а взрывы не утихали: раздался второй, потом третий, и каждый был резче и ближе предыдущего.

Высунув голову из воды, я увидел, что корма лодки старейшины пробита, а тростниковые связки торчат по краю дыры, как метелки. Слева прогремел взрыв, брызги, как градины, больно ударили мне в лицо, и я на время лишился слуха. Неподалеку барахтался лучник старейшины, а сам старейшина (к моей великой радости, сжимавший в руке «Терминус Эст»), Пиа и остальные ухватились за останки корпуса лодки, еще державшегося на плаву благодаря легкости материала, из которого был сделан, хотя задняя часть полностью погрузилась в воду. Я тщетно теребил

зубами связывавшие мне руки веревки, но вскоре двое островитян втащили меня в свою лодку и перерезали их.

31. ОЗЕРНЫЕ ЛЮДИ

Мы с Пиа провели ночь на одном из плавучих островов, и я соединился с нею, хоть и в оковах, но уже свободной, как когда-то с Теклой, не скованной, но все же узницей. Потом она лежала у меня на груди и рыдала от счастья — думаю, не столько из-за полученного со мной удовольствия, сколько из-за обретенной свободы, хотя среди ее родичей, островитян, не имевших иных металлических орудий, кроме тех, что они покупали или воровали у людей с берега, не нашлось кузнеца, чтобы разбить ее кандалы.

Я слышал от мужчин, познавших многих женщин, что в конце концов они начинают замечать сходство в любви с некоторыми из них. Впервые я убедился в этом на собственном опыте, ибо жадный рот и гибкое тело Пиа напомнили мне Доркас. Но в их сходстве крылся обман; в любви Доркас и Пиа походили друг на друга, как иногда походят друг на друга лица сестер, спутать которые, однако же, невозможно.

Когда мы добрались до острова, я был слишком бессилен, чтобы сполна оценить его красоты, да

и ночь уж наступила. Сейчас я помню лишь то, как мы вытащили на берег маленькую лодочку и направились в хижину, где один из наших спасителей разжег лучину, которые здесь добывались из выловленных из воды бревен, а я смазал маслом «Терминус Эст», отнятый островитянами у взятого в плен старейшины и возвращенный мне. Когда же Урс вновь обратил к солнцу свой лик, я испытал истинное блаженство, стоя подле стройного ивового дерева, опершись рукой о его изящный ствол и чувствуя, как колышется под ногами живая плоть острова.

Гостеприимные хозяева приготовили на завтрак рыбу, и не успели мы расправиться с угощением, как появилась лодка, а в ней еще двое островитян, которые привезли с собой еще рыбы и корнеплодов, каких я раньше никогда не пробовал. Мы запекли овощи в золе и съели горячими. Вкусом они более всего напоминали каштаны. Приплыли еще три лодки, а следом остров с четырьмя деревьями, в ветвях каждого из которых пузырились квадратные паруса; увидав его издали, я принял его за флотилию. Капитаном оказался старик — похоже, вождь островного народа. Звали его Ллибио. Когда Пиа рассказала ему обо мне, он по-отечески меня обнял, а я про

себя подивился, ибо еще никогда и ни у кого не встречал такого приема.

Когда он разомкнул объятия, все, включая Пиа, отошли прочь, чтобы мы могли побеседовать с глазу на глаз, — одни скрылись в хижине, другие (всего на острове было человек десять) удалились к противоположному берегу.

— До меня дошли слухи, что ты великий воин и убийца людей, — начал Ллибио.

Я ответил, что я действительно убийца людей, но отнюдь не великий.

— Это так. Каждый отвечает ударом на удар и убивает. Но победа добывается не уничтожением других, а уничтожением определенных частей самого себя.

Желая показать, что я понял его, я ответил:

— Ты, должно быть, убил все худшие части себя. Твои люди тебя любят.

— И этому верить не стоит. — Он помолчал, глядя на воду. — Нас мало, мы бедны, и если бы в эти годы мой народ слушал кого-нибудь другого… — Он покачал головой.

— Я много странствовал, и, по моим наблюдениям, бедные люди обычно мудрее и добродетельнее богатых.

Он улыбнулся моим словам.

— Ты добр. Однако сейчас наш народ сделался столь добродетелен и многомудр, что может вымереть. Мы никогда не были многочисленны, а в прошедшую зиму, когда большая часть озера замерзла, много людей погибло.

— Я и не задумывался, как тяжело вам должно быть зимой, ведь у вас нет ни шерстяной, ни меховой одежды. Теперь я вижу, что трудности у вас немалые.

Старик покачал головой.

— Мы натираемся салом, что хорошо спасает, а тюлени дают одежду гораздо лучшую, чем даже у береговых людей. Но когда озеро замерзает и острова не могут плавать, береговые люди приходят к нам всем скопом — ведь лодки им уже не нужны. Каждое лето мы воюем с ними, когда они приходят отнимать у нас рыбу. Но каждую зиму они убивают нас и забирают в рабство.

Я подумал о Когте, который старейшина отобрал у меня и отослал в замок, и сказал:

— Береговые люди подчиняются владельцу замка. Возможно, если бы вы заключили с ним мир, он бы запретил им нападать на вас.

— Когда я был молод, эти стычки уносили две-три жизни в год. А потом явился тот, кто построил замок. Ты знаешь легенду?

Я покачал головой.

— Он пришел с юга, откуда, как мне сказали, пришел и ты. С собою он принес вещи, которые понравились береговым людям: одежду, серебряную утварь и разные искусно выкованные орудия. Под его руководством они построили ему замок. То были отцы и деды нынешних береговых людей. Работая на него, они пользовались его орудиями, а потом он позволил им, как и обещал, забрать их себе вместе со многими другими вещами. Когда они занимались строительством, отец моей матери пришел к ним и спросил, неужели они не видят, что сажают над собою правителя: ведь он уже тогда обращался с ними как хотел, а поселившись в замке, стал бы к тому же недосягаем. Но они только посмеялись над моим дедом и сказали, что их много, а хозяин замка один. И то и другое было правдой.

Я поинтересовался, случалось ли ему видеть владельца замка и если да, то как он выглядел.

— Видел однажды. Я проплывал на лодке мимо большого камня, а он стоял наверху и разговаривал с береговыми людьми. Роста он небольшого, скажу я тебе; если вас поставить рядом, он и до плеча тебе не достанет. Такой не испугает. — Ллибио снова умолк, и его затуманенный взгляд

устремился не в глубокие воды озера, но во времена, давно прошедшие. — Однако настало время, и страх все-таки охватил нас. Внешняя стена была закончена, и береговые люди вернулись к своим обычным занятиям: охоте, постройке плотин, скотоводству. Однажды к нам явились их вожди и обвинили нас в краже детей и скота; они сказали, что, если мы не вернем украденного, они перебьют нас.

Ллибио посмотрел мне в лицо и схватил мою руку. Его рука была жесткой как камень. Глядя на него, я тоже обозревал канувшие в небытие годы. Мрачное было время, но и будущее, что было тогда посеяно и где я сейчас сидел рядом с ним, положив на колени меч, и слушал его историю, — это будущее оказалось мрачнее, чем он мог тогда предположить. В те годы он был молод и силен, он был счастлив, и, хотя теперь он, возможно, и не думал об этом, глаза его помнили все.

— Мы им ответили, что детей мы не едим, а рабы в нашей рыболовной общине не нужны, да и скот пасти негде. Даже тогда они наверняка знали, что это не мы, потому что войной на нас не пошли. Но когда наши острова приближались к берегу, до нас доносились рыдания их женщин в ночи.

В те времена, — продолжал он, — день после каждого полнолуния считался торговым, и любой из нас мог сойти на берег за ножами и солью. Когда наступил очередной торговый день, нам стало ясно, что береговые люди знают, куда делись их дети и где их скот, — они только об этом и шептались. Мы спросили, почему бы им не взять замок штурмом, ведь их так много. Вместо этого они стали отнимать детей у нас, забирали мужчин и женщин всех возрастов и приковывали снаружи у дверей — чтобы их людей не трогали; иногда они сгоняли пленников прямо к воротам замка и связывали там.

Я отважился спросить, долго ли это продолжалось.

— Много лет, со времен моей молодости. Иногда береговые люди вступали в схватку, но чаще обходилось без боя. Дважды с юга приходили воины — их насылал гордый народ, что живет в высоких домах на южном побережье. Пока воины были здесь, схватки прекращались, но что об этом говорилось в замке, мне неизвестно. Его хозяин, с тех пор как замок был отстроен, никому не показывался.

Он умолк, ожидая моей реакции. У меня родилось чувство, которое часто посещает меня, когда

я беседую со стариками, будто слова, сказанные им, совсем не то, что слова, услышанные мной, ибо его рассказ изобиловал намеками, догадками и скрытыми смыслами, незримыми, как его дыхание, словно само Время встало между нами, подобно белому духу, и смело длинными струящимися рукавами большую часть сказанного, прежде чем слова достигли моего слуха. Наконец я осмелился заговорить:

— А что, если он уже умер?

— В замке обитает злобный великан, но его никто не видел. Я не без труда подавил улыбку.

— Но, по-видимому, само его присутствие пугает береговых людей, и они не решаются напасть на замок.

— Пять лет назад они осадили его — столпились ночью вокруг, как рыбья молодь вокруг трупа, сожгли замок и перебили всех, кто в нем находился.

— Значит, с вами они воюют по привычке? Ллибио покачал головой.

— В этом году, когда лед растаял, возвратились те, кому удалось бежать из замка. Они навезли даров: драгоценностей и оружия — тех странных предметов, что ты обратил против береговых людей. Сюда приезжают и другие, но слуги они

или господа — того я не знаю.

— С севера или с юга?

— С неба, — ответил он и поднял палец вверх, туда, где тусклые звезды едва виднелись в величавом сиянии солнца. Я, однако, решил, что упомянутые им гости прилетают на флайерах, и потому не стал расспрашивать подробнее.

Целый день к нам стекались озерные жители. Многие прибыли в лодках, подобных тем, что преследовали судно старейшины, но большинство приплыли прямо на островах, так что в конце концов мы оказались в центре плавучего континента. Меня ни разу прямо не попросили вести их на замок. Однако к вечеру мне стало ясно, что они хотят именно этого и понимают, что я им не откажу. Наверное, в книгах в подобных случаях произносятся пламенные речи, жизнь решает все иначе. Их восхищал мой рост, они любовались моим мечом, а Пиа сообщила им, что я послан самим Автархом, чтобы освободить их. Ллибио сказал:

— Мы страдаем больше всех, к тому же береговые люди сумели сговориться с хозяевами замка. В битве они сильнее нас, но сгоревшие части замка восстановлены не полностью, да и вождя с юга у них нет.

Я расспросил его и остальных об окружавших замок землях и сказал, что до ночи атаковать нельзя, иначе часовые на стенах заметят наше приближение. Была и другая причина дожидаться темноты, хотя о ней я умолчал: ночью трудно вести прицельный огонь, а уж если хозяин замка снабдил старейшину огненными пулями, он, несомненно, хранил у себя и более мощное оружие.

Когда мы отплыли, под моим началом оказалось около сотни воинов, но все они были вооружены только гарпунами с наконечниками из плечевой кости моржа, пачо и ножами. Я не хочу льстить самому себе и утверждать, что стал во главе этого маленького войска из сострадания к бедствиям озерных людей — это неправда. Сделал я это и не из страха перед местью с их стороны в случае моего отказа, хоть и подозревал, что, не прояви я достаточно хитрости и изворотливости, выдумывая оправдание для отсрочки штурма или выгодный для островитян предлог не штурмовать замок совсем, они бы круто обошлись со мною.

Дело в том, что у меня имелись свои причины идти на замок, причем более веские, чем у них. На шее Ллибио носил вырезанное из зуба изображе-

ние рыбы; когда я поинтересовался назначением предмета, он ответил, что это Оанн, и прикрыл амулет рукой, чтобы мой взгляд не осквернил его: он знал, что я не верю в Оанна, этого рыбьего божка, которому поклонялся здешний народ.

Я действительно в него не верил, однако знал об Оанне все, что представлялось важным. Он, должно быть, жил в глубинах озера, но во время шторма выходил на поверхность и прыгал по волнам. Он был пастырем рыб и наполнял сети островитян. Никто со злым умыслом в сердце не мог безнаказанно пуститься по воде: Оанн всегда появлялся рядом, с глазами, огромными, как две луны, и переворачивал лодку.

Я не верил в Оанна и не боялся его. Но, как мне казалось, я знал, откуда он явился, — во вселенной существует всепроникающая сила, рядом с которой все прочее только тень. Я понимал, что в конечном счете мои представления об этой силе столь же смешны (и столь же серьезны), сколь и Оанн. Я знал хозяина Когтя и чувствовал, что от Когтя исходит все мое знание, от него одного, сколько бы ни было на свете священников и алтарей. Множество раз я держал его в руках, поднимал его над головой в Винкуле, касался им улана из войска Автарха и больной девушки в

нищей лачуге Тракса. Я владел бесконечностью и распоряжался ею. Как знать, смогу ли я безропотно возвратить его Пелеринам, если когда-нибудь их разыщу, но я никогда не позволю кому-либо еще завладеть им-в этом я был твердо уверен.

Более того, я чувствовал, что избран хранить — пусть недолгое время — эту силу. Пелерины утратили ее по моей вине: это ведь я позволил Агии подгонять возницу; поэтому я считал своим долгом беречь Коготь, пользоваться им, возможно, возвратить назад, а пока я был обязан вызволить его из рук, несомненно, жестоких, в которые он попал по моей оплошности.

Когда я начинал свое жизнеописание, у меня и в мыслях не было раскрывать секреты своей гильдии, переданные мне мастером Палаэмоном и мастером Гурло на празднестве Святой Катарины перед моим посвящением в ранг подмастерья. Однако один из них я раскрою, ибо без него невозможно понять мои действия в ту ночь на озере Диутурн. Секрет прост: наш, палачей, удел — повиноваться. В колоссальной конструкции государственной иерархии, во всей пирамиде человеческих жизней, которая неизмеримо выше любого рукотворного сооружения, выше Колокольной Башни и Стены Нессуса, выше горы

Тифон, в пирамиде, нисходящей от Автарха на Троне Феникса к самому жалкому приказчику, гнущему спину на прожженного ворюгу-торговца, — что много хуже, чем просить милостыню, — мы в этом здании единственный надежный камень. Тот не повинуется, кто не исполнит самый немыслимый приказ господина, и никто, кроме нас, не свершит немыслимое.

Так мог ли я отказать Предвечному в том, в чем по доброй воле присягнул Автарху, отрубив голову Катарине?

32. НА ПУТИ К ЗАМКУ

Острова, которые мы оставляли позади, отделились один от другого, и мы плыли между ними на всех парусах, однако когда я смотрел на бегущие по небу облака, мне казалось, что мы не двигаемся с места и наш ход — всего лишь прощальная насмешка тонущей земли.

Большая часть плавучих островов, виденных мною в тот день, остались на озере, чтобы послужить убежищем женщинам и детям. На полдюжине других мы отплыли; я стоял на острове, принадлежащем Ллибио, — самом высоком из шести. Помимо нас со стариком, здесь было еще семеро воинов. На каждом из остальных разместилось по четверо-пятеро человек. Кроме того, у нас было около тридцати лодок с экипажем по два-три человека.

Я и не пытался утешать себя мыслью, что сотня людей, вооруженных ножами и гарпунами, представляет собою грозную силу: небольшой отряд димархиев Абдиеса раскидал бы их, как щенков. Но это были мои солдаты, а чувство, которое испытываешь, ведя людей в бой, ни с

чем не сравнимо.

Ни искорки, ни огонька не вспыхивало на глади озера, и лишь зеленый отраженный свет Лунного Леса падал с высоты пяти тысяч лиг на его неподвижную поверхность. Воды озера напоминали мне отполированную, смазанную маслом сталь. Слабый ветерок не вспенивал их добела, а лишь пускал по воде длинную рябь, похожую на металлические барханы.

Прошло немного времени, и луна исчезла за тучей; мной овладело мимолетное беспокойство, не потопят ли озерные люди друг друга. Однако они управляли судами так, словно стоял светлый полдень, и, хотя лодки и острова нередко сближались, угроза столкновения ни разу не возникла.

Находясь посреди моего плавучего архипелага, то погруженного во мрак, то осиянного звездами, в полной тишине, нарушаемой лишь мерным плеском весел, подобным тиканью часов в абсолютном покое, когда легкое набухание волн поглощало всякое иное движение, я мог бы поддаться их Убаюкивающему эффекту, ибо, несмотря на то что перед отплытием мне удалось немного поспать, я чувствовал сильнейшую усталость, но холодный ночной воздух и мысль о том, что нас ожидало, не давали мне уснуть.

Ни Ллибио, ни другие островитяне не смогли представить мне сколь-нибудь точных сведений о внутренней архитектуре замка, который мы собирались штурмовать. Он состоял из основного здания и крепостной стены. Я так и не получил представления о том, было ли основное здание настоящей крепостной башней — то есть оборудована ли она бойницами и достаточно ли высока, чтобы обозревать стену. Я также не знал, имелись ли там другие постройки (например, барбакан), были ли на стене вышки и орудийные надстройки и сколько человек защищало крепость. Замок возводился два-три года, причем силами непрофессиональных строителей, поэтому не мог быть так грозен, как, скажем. Замок Копья, но, окажись он даже в четверть столь мощен, нам его не взять.

Я отлично понимал, что вести подобную кампанию не мое дело. Я и не видел никогда настоящего боя и уж тем более не сражался сам. Все мои познания в военной архитектуре были почерпнуты из детства, проведенного в Цитадели, да еще я кое-что узнал во время достаточно беглых осмотров укреплений Тракса; все же мои знания о тактике — если это вообще можно назвать знаниями — пришли из книг, которые я столь же бегло

пролистывал. Я вспомнил наши детские игры в некрополе — мальчишеские схватки на деревянных мечах, — и мне чуть не сделалось худо. Не то чтобы я особенно боялся за свою жизнь, но любая моя ошибка могла привести к гибели этих доверчивых невежественных людей, избравших меня своим полководцем.

Из-за туч ненадолго показалась луна, перечеркнутая темными силуэтами летящих журавлей. На горизонте, словно сгусток мрака, показался берег. Новая туча закрыла источник света. На лицо упала капля воды, и я неожиданно и беспричинно обрадовался — вероятно, где-то за границами сознания всплыло воспоминание о дожде в ту ночь, когда мне удалось отбить нападение альзабо. А может быть, мне вспомнились холодные воды, бившие из шахты обезьянолюдей.

Но даже помимо этих случайных ассоциаций дождь был бы как нельзя кстати. У нас не было луков, а если размокнет тетива у наших противников — что ж, тем лучше. К тому же они не смогут воспользоваться огненными пулями. И, наконец, благодаря дождю мы сможем застать их врасплох — единственный способ атаки, оставлявший хоть какую-нибудь надежду на успех.

Я был погружен в размышления, когда из-за туч

снова показалась луна, и я увидел, что нас несет течением вдоль берега, поднимавшегося справа темной чередою камней. Впереди в озеро вдавался скалистый полуостров, еще более высокий. Я подошел к краю острова и спросил у часового, не там ли находится замок. Он покачал головой.

— Мы сейчас обогнем эти скалы.

Что мы и сделали. Шкотовые углы на всех парусах были распущены, а паруса перевязаны на другие ветки. Утяжеленные камнями шверты были погружены в воду по одну сторону острова, а трое мужчин налегли на боковой румпель. Я подивился мудрости Ллибио, который организовал подход к берегу так, чтобы охрана замка со стороны озера не могла нас заметить. Однако если в этом заключался его замысел, мы все равно рисковали обнаружить себя, когда между замком и нашей маленькой флотилией уже не будет заграждения в виде полуострова. Мне также пришло в голову, что раз хозяин замка не выстроил его на этой высокой скале, выглядевшей такой неприступной, значит, он подобрал для него место по-надежней.

Мы обогнули мыс, и перед нами, не дальше четырех чейнов вглубь, предстала конечная цель нашего плавания — скала, еще выше и круче

прежней, увенчанная стеной и башней, по форме напоминавшей немыслимо громадный гриб-поганку.

Я не верил своим глазам. На огромной конусообразной Центральной колонне, круглой башне из неотесанного камня, лежал металлический купол, раз в десять шире диаметром и, очевидно, столь же прочный, как сама башня.

Все, кто был на нашем острове, гребцы в лодках и воины на других островах указывали на замок и перешептывались. По-видимому, это грандиозное зрелище было так же ново для них, как и для меня.

Мутный свет луны — поцелуй, посылаемый младшей сестре ее умирающей старшей, — отражался на поверхности этого огромного диска. Под ним в густой темноте сияли оранжевые искры. Они перемещались вверх и вниз, но так медленно, что мне пришлось долго смотреть, прежде чем я заметил это движение. Наконец одна из них достигла основания диска и пропала; пока мы подплывали к берегу, две другие успели подняться на ее место.

На узкой полоске берега лежала тень отвесной скалы.

Остров Ллибио, не достигнув суши, сел на мель,

и мне пришлось прыгать в воду, на этот раз держа «Терминус Эст» над головой. Прибоя, на наше счастье, не было, да и дождь еще не начался, несмотря на угрожающе нависшие тучи. Я помог озерным людям вытащить лодки на гальку, а те, что приплыли на островах, пришвартовались у валунов с помощью сплетенных из сухожилий тросов.

После скитаний в горах никакая даже самая узкая и крутая тропинка не показалась бы мне неприступной, если бы не ночь. Но, поскольку было темно, я бы скорее преодолел спуск от мертвого города к дому Касдо, хотя тот путь был раз в пять длиннее.

Когда мы наконец взобрались на вершину, до стены еще оставалось некоторое расстояние, и от нее нас отделяла густая пихтовая рощица. Я собрал вокруг себя островитян и спросил их (без всякой надежды на вразумительный ответ), не знают ли они, откуда над замком появился летательный аппарат. Они признались в своем неведении, и тогда я сказал, что это известно мне (так оно и было, ведь Доркас предупреждала меня об их существовании, хотя сам я никогда их не видал), и раз он там находится, будет лучше, если я разведаю обстановку, прежде чем мы начнем

атаку.

Никто не возразил, но я чувствовал на себе их беспомощные взгляды. Они думали, что нашли себе героя-полководца, и вот теряют его перед самым боем.

— Я попытаюсь пробраться в замок, — сказал я им, — а потом, если смогу, вернусь к вам, открыв все двери, какие только удастся открыть.

— А если ты не вернешься? — спросил Ллибио. — Как мы узнаем, в какой момент браться за оружие?

— Я подам какой-нибудь знак, — ответил я, напрягая ум в поисках способа подать сигнал, если меня схватят и заточат в башню. — В такую темную ночь у них должны гореть факелы. Я посвечу факелом в окне и, если смогу, сброшу его вниз, чтобы вы видели огонь. Если сигнала не будет и я не вернусь, считайте, что меня взяли в плен, и начинайте атаку с первым лучом солнца.

Вскоре я уже стоял у ворот замка и стучал железным дверным молотком (отлитым, как мне удалось определить на ощупь, в форме человеческой головы) по плите того же металла, оправленной в дуб.

Ответа не последовало. Подождав немного, я снова постучал. На стук отозвалось лишь эхо, бес-

смысленный рокот, подобный пульсации сердца, но голосов не было слышно. Гнусные личины, виденные мною в саду Автарха, заполонили мое сознание, и я с ужасом ожидал услышать выстрел, хоть знал, что если иеродулы выстрелят в меня (а все энергетическое оружие приходит именно от них), я уже ничего не услышу. Ни единый порыв ветра не нарушал тишины, словно сама природа ждала вместе со мной. На востоке ударил гром.

Наконец я уловил звук шагов, быстрых и легких, как у ребенка, и смутно знакомый голос спросил:

— Кто здесь? Что тебе нужно? И я ответил:

— Мастер Северьян из Ордена Взыскующих Истины и Покаяния. Я десница Автарха, справедливость которого — лучший хлеб для его подданных.

— Так это ты! — воскликнул доктор Талос, распахивая ворота.

Я застыл в немом удивлении, глядя на него.

— Расскажи, чего Автарх от нас хочет? Когда я видел тебя в последний раз, ты направлялся в Город Кривых Ножей. Удалось ли тебе туда добраться?

— Автарх желает знать, зачем ваши вассалы захватили в плен его слугу? То есть меня. Послед-

нее придает делу несколько.

— Вот-вот! Именно так. Поверь, мы тоже так думаем. Я и не знал, что таинственный гость в Мюрене — это ты. Да и старина Балдандерс тоже наверняка понятия об этом не имел. Заходи, потолкуем.

Я шагнул в ворота, доктор толкнул тяжелые двери и задвинул за моей спиной железный засов.

— Толковать нам особенно не о чем, — заметил я, — но что меня действительно интересует, так это судьба драгоценного камня, который отняли у меня силой и, насколько я знаю, переслали вам.

Произнося эти слова, я не столько вдумывался в их смысл, сколько смотрел на огромный корпус корабля иеродулов, нависшего прямо над моей головой, стоило мне войти в крепость. Его вид вызывал во мне чувство некоего пространственного смещения, какое я иногда испытываю, глядя сквозь увеличительное стекло: выпуклое основание корпуса корабля казалось чужим не только для мира людей, но и для всего видимого мира вообще.

— Ах да, — вспомнил доктор Талос, — твоя безделушка у Балдандерса. То есть она была у него, но он куда-то ее засунул. Да вернет он тебе твой

камень, не сомневайся.

Из круглой башни, которая, сколь это ни казалось невероятным, служила кораблю опорой, донесся приглушенный крик, жуткий и одинокий, словно волчий вой. Я не слыхал ничего подобного с тех пор, как оставил Башню Сообразности, но прекрасно знал, что это значило.

— Вы здесь держите узников, — сказал я. Он кивнул.

— Да. Я сегодня был так занят, что забыл их, бедняжек, покормить. Столько всяких дел, знаешь ли. — Он неопределенно махнул рукой в сторону корабля. — Надеюсь, ты не расстроишься, если встретишь здесь какогенов? Если ты захочешь войти и попросить у Балдандерса свой камень, боюсь, тебе придется с ними столкнуться. Он сейчас как раз с ними беседует.

Я ответил, что не возражаю, хотя с трудом сдержал дрожь отвращения.

Доктор улыбнулся, обнажив над рыжей бородой ряд острых блестящих зубов, которые я так хорошо помнил.

— Вот и отлично. К счастью, ты никогда не страдал предрассудками. Рискну предположить, что подготовка, которую ты прошел, научила тебя принимать всех такими, какие они есть.

33. ОССИПАГО, БАРБАТУС И ФАМУЛИМУС

Башни такого рода строятся примерно по одному образцу; у этой тоже не имелось входа на первом уровне. К узкой двери, находившейся на высоте в десять кубитов от основания, вела такая же узкая лестница без перил, прямая и почти отвесная. Дверь уже была открыта, и я с облегчением отметил про себя, что доктор Талос не запер ее за нами. Мы миновали короткий коридор, который скорее всего был только проходом сквозь толстую стену, и оказались в комнате, занимавшей (как и все комнаты в этой башне) всю площадь этого уровня. Комната была заставлена механизмами, на мой взгляд, такими же старинными, как те, что имелись дома, в Башне Сообразности, но их предназначение оставалось для меня загадкой. Сбоку другая узкая лестница вела на следующий этаж, а на противоположной стороне находился лестничный колодец, служивший входом в помещение (чем бы оно ни было), где содержался воющий узник, ибо его голос доносился именно из черной пасти колодца.

— Он сумасшедший, — заметил я, кивнув в сторону.

— И не он один, — подтвердил доктор Талос. — По крайней мере, почти все, кого я осматривал. Я прописываю лечебный отвар из чемерицы, но он не особенно помогает.

— Таких клиентов мы содержали на третьем уровне нашего подземелья, к этому нас принуждал закон. Их попросту сбагривали нам, и никто из властей так и не санкционировал их освобождение.

Доктор вел меня к лестнице, уходящей наверх.

— Сочувствую вашим трудностям.

— Со временем они умирали, — упрямо продолжал я. — От последствий пыток или по другим причинам. А вообще-то не имело особого смысла их держать.

— Да уж наверное. Осторожно, наш новый механизм с крючком хочет поймать тебя за плащ.

— Тогда зачем вы его держите? У вас наверняка нет законного права иметь помещение для этих целей — в том смысле, в каком мы его имели, разумеется.

— Ради запасных органов, полагаю. Ради них Балдандерс и собирает сюда весь этот мусор. — Доктор Талос поставил ногу на ступеньку и

обернулся ко мне. — Запомни, ты должен быть вежлив. Им не нравится, когда их называют какогенами. Обращайся к ним по именам — как их там сейчас зовут? А, сами скажут, — только не надо грязи. Короче, не говори им неприятного. После того, как бедняга Балдандерс вспылил в Обители Абсолюта, он столько трудился, чтобы наладить с ними дружбу. Если ты все в последний момент испортишь, ты его просто убьешь.

Я обещал, что буду сама любезность.

Поскольку корабль завис прямо над башней, я предположил, что Балдандерс с капитанами находится в самой верхней комнате. Я ошибся. Поднимаясь по лестнице на следующий этаж, я услышал приглушенное бормотание и следом за ним низкие раскаты голоса великана, напоминавшие, как я заметил еще во время наших с ним странствий, грохот камней обрушившейся вдалеке стены.

В этой комнате тоже стояли машины. По-видимому, они были такие же старые, что и те, внизу, но, судя по всему, находились в рабочем состоянии; к тому же они были расставлены в каком-то непонятном мне логическом порядке, как механизмы в зале у Тифона. Балдандерс и его гости расположились в дальнем конце комнаты; голо-

ва великана, в три раза больше головы обычного человека, возвышалась над нагромождением металла и хрусталя, как голова тираннозавра над кронами деревьев. Направляясь к ним, я увидал под блестящим колоколообразным куполом останки молодой женщины, которая могла бы приходиться Пиа сестрой. Ее брюшная полость была вскрыта острым скальпелем, часть внутренностей извлечена и разложена вокруг тела. Труп находился на ранней стадии разложения, однако губы женщины шевелились. Когда я проходил мимо, она открыла глаза и снова закрыла их.

— Привет честной компании! — воскликнул доктор Талос. — Угадайте, кто пришел.

Великан медленно повернул голову, но его взгляд, устремленный на меня, был так же невыразителен, как и в то первое утро в Нессусе, когда доктор Талос его разбудил.

— С Балдандерсом ты знаком, — продолжал доктор, обращаясь ко мне, — а наших гостей я тебе сейчас представлю.

Три человека, или существа, казавшиеся людьми, учтиво поднялись мне навстречу. Один из них, окажись он и в самом деле человеком, был бы низкорослым и плотным. Двое других были на добрую голову выше меня, почти как экзультан-

ты. Все трое носили маски благородных людей средних лет, сдержанных и задумчивых, но я заметил, что глаза высоких, смотревшие сквозь прорези, были больше человеческих, низенький же вовсе не имел глаз, и в прорезях чернела пустота. Все трое были одеты в белое.

— Ваши Милости! Перед вами наш друг, мастер Северьян из гильдии палачей. Мастер Северьян, позволь представить тебе почтенных иеродулов Оссипаго, Барбатуса и Фамулимуса. Эти благородные особы несут мудрость в мир людей, который здесь представляет Балдандерс, а теперь и ты.

В ответ заговорило существо, которое доктор Талос назвал Фамулимусом. Его голос был совсем похож на человеческий, только звонче и музыкальней, чем слышанные мною доселе настоящие человеческие голоса, словно ожил и заговорил струнный инструмент.

— Добро пожаловать, — пропел он. — Приветствовать тебя, Северьян, для нас величайшее счастье. В ответ на твой вежливый поклон мы преклоним колени.

И он быстро опустился на колени, а двое других последовали его примеру. Я был так поражен его словами и поступком, что мог лишь молча стоять и смотреть на них.

В образовавшейся паузе раздался голос другого высокого какогена, Барбатуса, который, словно учтивый придворный, поспешил загладить неловкость. Этот голос был ниже, чем у Фамулимуса, в нем слышались властные нотки.

— Мы приветствуем тебя здесь — приветствуем искренне, как уже сказал мой дорогой друг и подтвердили мы все. Однако пока мы здесь, твои друзья должны оставаться снаружи. Ты, конечно, это понимаешь. С моей стороны напомнить об этом — всего лишь формальность.

Третий какоген голосом столь низким, что смысл его слов приходилось скорее угадывать, проговорил:

— Все это не имеет значения.

И, словно испугавшись, что я замечу пустые прорези его маски, отвернулся и сделал вид, будто смотрит в узкое окно позади него.

— Может, и не имеет, — сказал Барбатус. — Оссипаго виднее.

— Так у тебя здесь друзья? — шепнул мне доктор Талос. В обществе он редко обращался ко всем сразу, как это делает большинство людей, но либо к кому-то одному, словно больше никого вокруг не было, либо ораторствовал, как перед многотысячной аудиторией.

— Это островитяне, они подвезли меня сюда, — ответил я, пытаясь представить обстоятельства в наилучшем свете. — Ты, должно быть, слышал о них. Они живут на озере, на плавучих связках тростника.

— Они восстали против тебя! — воскликнул доктор Талос, обращаясь к великану. — Я предупреждал, что так случится.

Он бросился к окну, в которое якобы смотрело существо по имени Оссипаго, оттолкнул его плечом в сторону и устремил взгляд в ночную темноту. Затем повернулся к какогену, пал на колени, схватил его руку и поцеловал. Рука представляла собой перчатку из какого-то эластичного материала, раскрашенного под плоть; однако то, что находилось в перчатке, не было рукой.

— Ты ведь поможешь нам, твоя Милость, ведь поможешь? На твоем корабле наверняка есть волны. Надо только выпустить на стену ужасы, и мы целый век будем жить спокойно.

— Победителем выйдет Северьян, — отвечал Балдандерс своим тягучим голосом. — Иначе зачем им было опускаться перед ним на колени? Так будет, даже если он умрет, а мы останемся живы. Тебе известен их обычай, доктор. Грабеж

— тоже средство распространения знаний.

Доктор Талос в ярости развернулся к нему.

— Это когда же так было? Отвечай!

— Как знать, доктор?

— Сам знаешь, что никогда этого не было. Они темные, суеверные твари и всегда такими оставались! — Он повернулся к какогенам. — Ответьте мне, досточтимые иеродулы. Если вы не знаете, не знает никто.

Фамулимус махнул рукой, и в этот миг мне явственней, чем когда-либо прежде, открылась правда, скрываемая под маской, ибо ни одна человеческая рука не могла бы совершить такой жест: в этом бессмысленном движении не содержалось ни согласия, ни возражения, ни утешения, ни гнева.

— Я не стану говорить о том, что тебе и так известно, — сказал он. — Что те, кого ты боишься, стали мудрее и могут превзойти тебя. Наверное, они так же простодушны, как и раньше. И все же, если они кое-что увезут с собою домой, они могут обрести мудрость.

Он обращался к доктору, но я больше не мог себя сдерживать и спросил:

— О чем ты говоришь, сьер?

— О тебе, Северьян, обо всех вас. Теперь мои

слова не смогут навредить тебе.

— Только если ты не станешь высказываться чересчур прямо, — вставил Барбатус.

— Существует символ некоего мира, в котором наш старый корабль когда-нибудь обретет покой. Это змей с головами на обоих концах туловища. Одна из голов мертва, вторая ее грызет.

Не поворачиваясь от окна, Оссипаго заметил:

— Пожалуй, это тот самый мир.

— Я не сомневаюсь, что Камоэна могла бы сама обнаружить свой дом. Но в таком случае уже неважно, знаешь ты об этом или нет. Тем лучше ты меня поймешь. Живая голова — это разрушение. Мертвая — созидание. Первая пожирает вторую и тем поддерживает свое существование, однако, насыщаясь сама, питает свою пищу. Ребенок мог бы предположить, что если умрет живая голова, то созидательное начало восторжествует, превратив своего собрата в себе подобного. Истина же в обратном: оба скоро умрут.

— Как обычно, мой дорогой друг изъясняется более чем туманно, — сказал Барбатус. — Вы следите за ходом его мысли?

— Я — нет! — вскипел доктор Талос. Он повернулся, словно происходящее вызывало у него отвращение, и побежал вниз по лестнице.

— Это неважно, — сказал мне Барбатус. — Достаточно того, что его хозяин все понял.

Он помолчал, словно ожидая от Балдандерса возражении, потом продолжил, обращаясь по-прежнему ко мне:

— Мы стремимся развить вашу расу, а вовсе не насадить среди вас свою доктрину.

— Развить береговых людей? — спросил я. Из окна доносился жалобный ночной шепот волн. На его фоне голос Оссипаго был едва различим.

— Всех вас…

— Так это правда! Не напрасны подозрения столь многих мудрецов: нами правят. Вы следите за нами на протяжении всей нашей истории, каждый век которой для вас все равно что день… Это вы подняли нас из дикого состояния. — Увлекшись, я выхватил коричневую книгу, все еще влажную после моего утреннего прыжка в воду, несмотря на обертку из промасленного шелка. — Послушайте, что здесь написано:

«Человек, не обладающий мудростью, все же испытывает ее воздействие. Если же мудрость находит его достойным объектом, не мудро ли с его стороны обнаружить свою глупость?» Что-то в этом роде.

— Ты ошибаешься, — сказал Барбатус. — Ваша

история для нас целая вечность. Мой друг и я работаем с вашей расой меньше, чем ты живешь на свете.

— Да они живут всего два десятка лет, как собаки, — вмешался Балдандерс.

Его тон сказал больше, чем может быть здесь написано, ибо каждое слово уподоблялось камню, брошенному в глубокий резервуар.

— Невероятно, — пробормотал я.

— Вы суть работа, ради которой мы живем, — пояснил Фамулимус. — Человек, которого ты называешь Балдандерсом, живет ради получения знаний. На наших глазах он накапливает мудрость прошлого — суровые факты, семена, которые взрастут и наделят его властью. В свое время он погибнет от рук немудрых, но его смерть принесет вам всем некоторую пользу. Подумай о дереве, что расщепляет камень. Оно вбирает в себя воду, животворящее тепло солнца… все, что ему нужно для жизни. Со временем оно умирает и сгнивает, обогащая почву, которую своими же корнями сотворило из камня. От него не остается даже тени, но прорастают его семена, и вот на том самом месте уже зеленеет лес.

Из лестничного колодца возник доктор Талос, издевательски медленно хлопая в ладоши.

— Это вы оставили им эти машины? — спросил я.

— Нет, — ответил Барбатус. — Эти он сам нашел либо сконструировал. Фамулимус сказал, что он хотел учиться, хотел, чтобы мы лишь следили за обучением, не вмешиваясь. Мы ж никого ничему не учим, а такие приспособления продаем, поскольку они слишком сложны, чтобы вы, люди, смогли их скопировать.

— Все эти чудовища, эти ужасы и пальцем для нас не пошевелят, — сказал доктор Талос. — Ты их видел и знаешь, что они собою представляют. Когда в театре Обители Абсолюта мой бедный пациент прокладывал меж ними дорогу, они чуть не убили его из пистолетов.

Великан заерзал в кресле.

— Не стоит разыгрывать сочувствие, доктор. У тебя это плохо получается. Валяешь перед ними дурака… — Он пожал громадными плечами. — Зря я тогда вспылил. Они уже согласились забыть.

— Мы вполне могли прикончить твоего создателя в ту ночь, ты сам знаешь, — сказал Барбатус. — А мы только слегка подпалили его, чтобы он поумерил свой пыл.

Я припомнил слова великана, произнесенные

им при расставании в лесу, за пределами садов Автарха. Он сказал, что он хозяин доктора. Не соображая, что делаю, я схватил доктора за руку — она была теплая и живая, как моя собственная, но странно сухая. Доктор моментально отдернул ее.

— Кто ты? — вскричал я и, не получив ответа, повернулся к существам, называвшим себя Фамулимусом и Барбатусом. — Когда-то, сьеры, я знавал человека, чье тело лишь частично состояло из человеческой плоти…

Они молча обратили взгляды на великана, и, хотя вместо лиц у них были только маски, я ощутил властную требовательность их молчаливого вопроса.

— Гомункул, — пророкотал Балдандерс.

34. МАСКИ

Стоило ему произнести это слово, как начался дождь; холодные капли ударили по грубым серым камням замка миллионами ледяных кулачков. Я сел, зажав «Терминус Эст» между коленями, чтобы скрыть их дрожь.

— Я уже понял, — произнес я, призывая на помощь все свое самообладание, — что низенький человечек, оплативший строительство замка, о котором рассказывали островитяне, был доктор. Но они также сказали, что великан, то есть ты, явился позже.

— Это я был низеньким человечком. А доктор явился позже.

В окне показалось жуткое мокрое лицо какогена и исчезло. Вероятно, он передал что-то Оссипаго, хоть я ничего и не слышал. Не оборачиваясь, Оссипаго сказал:

— Рост имеет свои недостатки, но для подобных вам это единственный способ вернуть молодость. Доктор Талос вскочил на ноги.

— Мы преодолеем эти недостатки! Он отдал себя в мои руки.

— Мне ничего другого не оставалось, — пояснил Балдандерс. — Ведь больше никого не было. Я сам создал себе врача.

Я переводил взгляд с одного на другого, пытаясь вернуть мысли в спокойное русло; внешность и поведение обоих оставались прежними.

— Но он же бьет тебя, — удивился я. — Я его видел.

— Я как-то раз подслушал твой доверительный разговор с маленькой женщиной. Ты погубил другую женщину, которую любил. И тем не менее ты был ее рабом.

— Понимаешь ли, мне приходится постоянно его подстегивать, — вздохнул доктор Талос. — Он должен упражняться, и это часть моих обязанностей по отношению к нему. Я слышал, что у Автарха — да пребудет он здоров во благо своим подданным! — в спальне имеется изохрон, подарок другого автарха, что из-за края света. Может быть, даже владыки этих господ, почем мне знать. Так вот, он боится, как бы его не зарезали, и, когда спит, никого к себе не пускает, а эта штуковина сообщает ему ночные стражи. На рассвете она его будит. Как же властелин Содружества допускает, чтобы простая машина нарушала его сон? Балдандерс создал меня, как он тебе только что

сказал, своим врачом. Северьян, ты же меня знаешь. Вот и скажи, повинен ли я в каком-нибудь низком злодеянии или в ложной скромности?

Я выдавил улыбку и покачал головой.

— Тогда я должен тебе признаться, что в моих добродетелях, какие они есть, нет моей заслуги. Балдандерс поступил мудро, создав меня как свою противоположность, как противовес своим порокам. К примеру, я не люблю деньги. С точки зрения пациента, это замечательная черта характера в личном враче. К тому же я предан своим друзьям, ибо он первейший из них.

— И все-таки, — заметил я, — меня всегда удивляло, как он тебя не убил.

В комнате было очень холодно, и я поплотнее завернулся в плащ, хоть и не сомневался, что разговор только кажется мирным и долго этот обман не продлится.

Великан сказал:

— Тебе, должно быть, понятно, почему я сдерживаю ярость. Ты уже видел меня в припадке гнева. Когда они все сидели и смотрели на меня, словно я цепной медведь…

Доктор Талос тронул его за руку; в этом жесте было нечто женственное.

— Это все его железы, Северьян. Эндокринная

система и щитовидная железа. За ними нужен самый тщательный уход, иначе он будет расти чересчур быстро. И потом я должен следить, чтобы под его весом не поломались кости, и за массой Других вещей.

— Мозг, — прогремел великан, — вот что хуже всего. И лучше всего.

— Разве Коготь тебе не помог? — спросил я. — Если нет, то, может, в моих руках он подействует? За короткое время он сделал для меня больше, чем для Пелерин за долгие годы.

Судя по выражению лица Балдандерса, он не понял, о чем идет речь.

— Он имеет в виду драгоценный камень, что нам прислали рыбаки, — пояснил доктор Талос. — Говорят, он творит чудеса исцеления.

Заслышав это, Оссипаго наконец повернулся.

— Чрезвычайно интересно. И он у вас? Можно на него взглянуть?

Взгляд доктора беспокойно заметался от бесстрастной маски вырожденца к лицу Балдандерса и назад.

— Полно же, Ваши Милости, это сущая безделица. Так, осколок корунда.

Все время, пока я находился на этом уровне башни, ни один из какогенов не отдалялся от своего

места больше чем на кубит; теперь же Оссипаго вразвалку, короткими шажками, прошествовал к моему креслу. Я, должно быть, отшатнулся, потому что он сказал:

— Тебе не следует меня бояться, хоть мы и приносим вашему роду много зла. Я хочу услышать про твой Коготь, который этот гомункул называет обыкновенным камнем.

Сначала я испугался, как бы он и его товарищи не отняли Коготь у Балдандерса и забрали его с собой в запредельность, но потом сообразил, что они смогут это сделать, только заставив Балдандерса показать им его, а уж тогда и у меня появится возможность им завладеть, и другой скорее всего не представится. Поэтому я рассказал Оссипаго обо всем, что совершил Коготь, пока находился в моих руках: об улане на дороге, об обезьянолюдях и о других случаях, когда он являл свою силу, о чем я уже здесь поведал. Чем больше я рассказывал, тем суровее становилось лицо великана, на лице же доктора все явственней проступала печать тревоги.

Когда я закончил, Оссипаго сказал:

— А теперь мы должны увидеть это чудо. Пожалуйста, принеси его сюда.

Балдандерс встал и прошествовал через огром-

ную комнату; все машины рядом с ним казались игрушками. Он выдвинул один из ящичков маленького стола с белой крышкой и достал камень. Коготь лежал на его ладони тусклый, как никогда, — словно осколок синего стекла.

Какоген взял его и некоторое время держал в раскрашенной перчатке, не поворачивая, однако, к нему лица, как это сделал бы человек. Камень улавливал желтый свет ламп с потолка и в этом свете источал чистое лазурное сияние.

— Он очень красив, — сказал какоген, — и чрезвычайно интересен, хотя и не мог совершить всех деяний, которые ему приписывают.

— Несомненно, — пропел Фамулимус и снова сделал рукой движение, столь напоминавшее мне о статуях в садах Автарха.

— Он мой, — сказал я им. — Береговые люди отняли его у меня силой. Можно получить его назад?

— Если он твой, — отрезал Барбатус, — скажи, где ты его взял.

Я начал рассказывать о встрече с Агией, о разрушении алтаря Пелерин, но он оборвал меня:

— Это все твои домыслы. Ты не видел камня на алтаре и не ощутил прикосновения руки, когда та женщина отдавала его тебе, если это вообще

правда. Так где ты его взял?

— Нашел в одном из отделений моей ташки.

Мне больше нечего было ответить.

Барбатус отвернулся, словно мои слова разочаровали его.

— А ты… — Он посмотрел на Балдандерса. — Сейчас Коготь у Оссипаго, и он получил его от тебя. А ты откуда взял этот камень?

— Ты видел сам, — пророкотал Балдандерс. — Из ящика стола.

Какоген кивнул, подвигав маску рукой вниз и вверх.

— Надеюсь, Северьян, ты понимаешь, что его объяснение ничуть не хуже твоего.

— Но камень мой, а не его.

— Не наше дело вас судить; вы должны договориться сами, когда мы уйдем. Однако, Балдандерс, позволь спросить тебя — просто из любопытства, которое присуще даже таким, на ваш взгляд, странным существам, как мы: намерен ли ты оставить его у себя?

Великан покачал головой.

— Я не допущу, чтобы в моей лаборатории хранился этот ископаемый источник предрассудков.

— В таком случае вам будет нетрудно достиг-

нуть согласия, — объявил Барбатус. — Северьян, не угодно ли взглянуть, как взлетает наш корабль? Балдандерс всегда выходит проводить нас, и, хоть он не из тех, кто будет сентиментальничать по поводу зрелищ искусственных и естественных, на мой взгляд, посмотреть все же стоит.

Он оправил белые одежды и повернулся, чтобы идти.

— Всемилостивейшие иеродулы, — поспешно обратился я к ним, — я почту за честь проводить вас, но позвольте, прежде чем вы покинете нас, спросить вас кое о чем. Когда я появился здесь, вы сказали, что видеть меня для вас величайшее счастье, и опустились на колени. Как мне понимать ваши слова? И не приняли ли вы меня за кого-то другого?

Балдандерс и доктор Талос поднялись сразу, как только какоген заговорил об уходе. Пока Фамулимус выслушивал мои вопросы, двое других уже направлялись прочь: Барбатус поднимался по лестнице на следующий этаж, Оссипаго, все еще с Когтем в руке, не отставал от него.

Я двинулся следом, поскольку боялся слишком отдаляться от Когтя; Фамулимус шел рядом со мной.

— Хоть ты и не прошел испытания, которому мы тебя подвергли, мои слова следует понимать буквально. — Его голос разливался, подобно пению волшебной птицы, и я ощутил дыхание хаоса недостижимых миров. — Как часто мы держали совет, сеньор! Как часто исполняли волю друг друга! Ты, кажется, знаешь водяных женщин. Так неужели Оссипаго, храбрый Барбатус или я наделены меньшей мудростью, чем они?

— Я вас не понимаю, — набрав побольше воздуха, ответил я. — Но почему-то чувствую, что, несмотря на отталкивающую внешность вам подобных, вы добры. А ундины злобны, хоть и прекрасны; это чудовища, на которых я едва могу смотреть.

— Разве весь мир представляет собой борьбу добра и зла? Тебе не приходило в голову, что в нем может быть нечто большее?

Я об этом не задумывался и мог лишь молча смотреть на него.

— А теперь ты окажешь мне любезность, вытерпев мой внешний вид. Надеюсь, я не оскорблю тебя, если сниму маску? Мы ведь оба знаем, что это маска, а здесь жарко. Балдандерс ушел вперед и ничего не увидит.

Быстрым движением руки, словно испытывая

от этого облегчение, Фамулимус сорвал маску. То, что скрывалось под ней, нельзя было назвать лицом: это были глаза на полуразложившейся оболочке. Новый взмах руки, и эта личина тоже отлетела прочь. Под нею оказался холодный и отстраненный лик красавицы, подобные которому я видел у движущихся статуй в садах Обители Абсолюта, но все же это было лишь относительное сходство лица живой женщины и слепка с него.

— Разве ты не знаешь, Северьян, — произнесла она, — что тот, кто носит одну маску, может носить и другую? Я носила две маски, но третьей на мне нет. Никакой обман более не разделяет нас, клянусь тебе. Коснись моего лица, сеньор.

Меня охватил страх, но она взяла мою руку и поднесла к своей щеке. Щека была прохладной, но живой — полная противоположность сухой и горячей коже доктора.

— Все чудовищные маски, что ты видел на нас, суть маски твоих же сограждан на Урсе. Насекомое, минога, а сегодня умирающий прокаженный. Все это твои братья, сколько бы отвращения ты к ним ни испытывал.

Мы почти достигли верхнего уровня башни; то и дело приходилось перешагивать через обугленные бревна — память о разрушениях,

причиненных пожаром, прогнавшим когда-то Балдандерса и его врача. Когда я убрал руку, Фамулимус снова надела маску.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— Чтобы вы, люди, ненавидели нас и боялись. Если бы не маски, то долго ли, Северьян, простые люди терпели бы иных правителей, чем мы? Мы никогда не лишим вас ваших владык; и не тем ли Автарх удерживает Трон Феникса, что не дает вам нас видеть?

Сходное чувство я иногда испытывал в горах при пробуждении, когда, поднявшись, с удивлением озирался вокруг и видел зеленую луну, приколотую к небу сосновой иголкой, и лица гор, грозно и торжественно смотрящие из-под сломанных венцов, когда ожидал увидеть милые сердцу стены кабинета мастера Палаэмона, или трапезную, или тюремный коридор, где я сиживал за столом дежурного у двери Теклы.

— Тогда почему же вы открылись мне? — только и выговорил я.

И она ответила:

— Пусть ты видишь нас, но мы больше тебя не увидим. Боюсь, что, начавшись здесь, наша дружба здесь и закончится. Прими это как прощальный знак дружеского расположения.

Впереди нас доктор распахнул дверь, и шум дождя превратился в ураганный рев; я ощутил, как холодный, мертвый воздух башни отступает под напором ледяного, но живого ветра снаружи. Чтобы пройти в дверь, Балдандерсу пришлось наклониться и повернуться боком, и мне вдруг стало ясно, что скоро он вообще не сможет проходить в двери, как бы доктор Талос ни старался, — проемы придется расширять, да и лестницы, вероятно, тоже, ибо если великан упадет, он наверняка погибнет. Я понял, отчего так огромны комнаты и высоки потолки в этой башне, что до сих пор ставило меня в тупик. И я задумался, что собою представляют каменные подземелья, где он держит истощенных узников.

35. СИГНАЛ

Корабль, который, как казалось снизу, покоился на крыше башни, на самом деле вовсе не лежал на ней. Он висел в получейне над нашими головами — слишком высоко, чтобы служить укрытием от проливного дождя, и мягкий изгиб его корпуса сверкал черным перламутром. Глядя на него снизу вверх, я невольно задумался, каковы же должны быть паруса у такого судна — паруса, раздуваемые межмировыми ветрами. Потом, стоило мне вспомнить об экипаже и удивиться, как это до сих пор никто не заинтересовался нами, один из тритонов — странных, невиданных существ, что спускались иногда на дно под корпус корабля, — действительно сошел вниз, осиянный оранжевым светом, с головою почти как у белки; он сошел, цепляясь за корпус корабля, хоть корабль был мокрый, как речной камень, и гладкий, как лезвие «Терминус Эст». На нем была маска, какую я здесь часто описывал, но только теперь я был уверен, что это действительно маска. Увидев внизу Оссипаго, Барбатуса и Фамулимуса, он остановился, и в тот же миг

откуда-то сверху ударил тонкий как нить оранжевый луч.

— Нам пора, — обратился Оссипаго к Балдандерсу и отдал ему Коготь. — Подумай хорошо над тем, о чем мы умолчали, и запомни все, что тебе не было показано.

— Я подумаю, — отвечал Балдандерс, и голос его был мрачен, как никогда.

Оссипаго ухватился за луч и, скользнув по нему вверх, обогнул корпус корабля и исчез из виду. Казалось, однако, что он скользил не вверх, а вниз, словно корабль был особым миром, в слепой ненасытности пожиравшим все, что ему принадлежит, — впрочем, таков и Урс. Возможно также, что Оссипаго стал легче нашего воздуха, как всплывает на поверхность нырнувший в воду моряк, как сам я всплыл, выпрыгнув из лодки старейшины.

Как бы то ни было на самом деле, Барбатус и Фамулимус последовали за ним. Прежде чем исчезнуть за бортом корабля, Фамулимус помахала рукой; доктор и Балдандерс наверняка решили, что она прощалась с ними, но я знал, что жест предназначался именно мне. В лицо, заливая глаза, ударил дождь; даже капюшон не спасал от него.

Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее корабль начал подниматься вверх, уплывая все дальше и дальше, и наконец пропал, однако, как только он скрылся из глаз, я уже не мог с уверенностью сказать, в каком направлении он удалился — на север, юг, восток или запад.

Балдандерс повернулся ко мне.

— Ты слышал их.

Я его не понял и ответил:

— Я действительно говорил с ними. Доктор Талос сам открыл мне ворота замка, пригласив меня тем самым на беседу.

— Они ничего мне не сказали. И ничего не показали мне.

— Видеть их корабль, — возразил я, — беседовать с ними — разве это ничего?

— Они гонят меня вперед. Все время вперед. Они гонят меня, как быка на бойню.

Он подошел к зубчатому парапету и устремил взгляд на бескрайнее пространство озера; вспененные ливнем воды казались белыми, как молоко. Зубцы возвышались на несколько пядей над моей головой, а он оперся о них локтями, словно о перила, и я заметил, как из его сжатого кулака пробивается голубое сияние Когтя. Доктор Талос подергал меня за плащ, бормоча, что лучше

бы нам вернуться в башню и не мокнуть, но я уходить не хотел.

— Все началось, когда тебя еще на свете не было. Сначала они мне помогали, хоть вся помощь ограничивалась наводящими вопросами и подсказками. Теперь остались одни намеки. Они стали так изворотливы, что сообщают лишь о вероятных вещах, но не о действительных. Сегодня не было даже этого.

Я хотел потребовать, чтобы он больше не использовал островитян в своих экспериментах, но не знал, с чего начать. Я заговорил об огненных пулях, заметив, что это поистине великое изобретение.

— Это всего лишь натрий, — ответил он, оборачиваясь ко мне, и его огромная голова поднялась на фоне темного неба. — Ты ничего не понимаешь. Натрий — элементарное вещество, способное в воде расщепляться до бесконечности. Неужели ты думаешь, я дал бы его рыбакам, не будь он обыкновенной игрушкой? Нет, мое истинное великое изобретение — это я сам. И единственное великое изобретение!

— Оглянись вокруг, — прошептал доктор Талос, — неужели не видишь? Он ведь правду говорит!

— Что вы хотите этим сказать? — прошептал

я в ответ.

— А замок? А чудовище? А ученый муж? Я только сейчас об этом подумал. Ты не можешь не знать, что, подобно тому как случайные события прошлого бросают тени на последующие века, так и сейчас, когда солнце меркнет, наши собственные тени устремляются в прошлое, чтобы блуждать в сновидениях человечества.

— Ты безумец, — сказал я. — Или ты шутишь.

— Безумец? — прогрохотал Балдандерс. — Это ты безумец. Ты с твоими фантазиями о магии и волшебстве. Как они, должно быть, потешаются над нами! Считают нас варварами… И меня, который три жизненных срока провел в тяжких трудах.

Он вытянул руку и разжал кулак. Теперь Коготь светил для него. Я хотел было взять камень, но Балдандерс неожиданным резким движением выбросил его. Как он просверкал в пронизанной ливнем темноте! Словно сама ясная Скальд упала с ночного неба.

В тот же миг я услыхал крики озерных людей, ожидавших за крепостной стеной. Я не подавал им никакого сигнала; и все же сигнал был дан, ибо свершилось то единственное деяние, которое могло повлечь его, — кроме, пожалуй, нападения

на меня самого. Ветер еще не успел развеять их крик, а «Терминус Эст» уже покинул ножны. Я занес его для удара, но прежде чем я успел сойтись с великаном в схватке, между нами возник доктор Талос. Я было решил, что он парирует мой удар тростью; если бы мое сердце не разрывалось от потери Когтя, я бы посмеялся, разрубая ее. Но мой клинок лязгнул о сталь, и, хотя его натиск отбросил доктора назад, тому все же удалось меня сдержать. Не успел я опомниться, как Балдандерс пронесся мимо и ударом отшвырнул меня к парапету.

Доктор сделал выпад, от которого я не смог увернуться, но черный плащ обманул его, и, скользнув острием по моим ребрам, его оружие чиркнуло о камень. Я ударил его рукоятью меча, и он покатился в сторону.

Балдандерса нигде не было видно. Я быстро сообразил, что скорее всего он рванулся к находившейся позади меня двери, а ударил меня машинально — так человек, погруженный в размышления, гасит свечу, когда выходит из комнаты.

Доктор лежал распростертый на каменном полу, служившем крышей башне; при солнечном свете камни, наверное, были обычными, серыми,

но сейчас, омытые дождем, казались черными. Я разглядел его рыжие волосы и бороду: он лежал на животе, голова была свернута набок. Я и не предполагал, что ударил его так сильно, хотя я, может быть, и впрямь сильнее, чем сам о себе думаю, — по крайней мере, так мне порой говорят. Видимо, несмотря на свое бахвальство, доктор Талос был не так крепок, как считали все мы, за исключением Балдандерса. Теперь я мог бы с легкостью его прикончить, взмахнув «Терминус Эст» таким образом, чтобы лезвие погрузилось в его черепушку как в масло.

Вместо этого я поднял оружие доктора — узкий серебристый клинок, выпавший из его руки. Это был отточенный с одного края нож, не шире моего указательного пальца, — таким мог бы пользоваться хирург. Осмотрев рукоятку, я понял, что она служила набалдашником его трости, которую я так часто при нем видел. Он прятал в ней свое оружие, как Водалус — свой меч, обнаженный им однажды в нашем некрополе; и, стоя под дождем, я улыбнулся при мысли о том, сколько же лиг пути доктор пронес его вот так, а я ничего и не подозревал об этом и нес свой меч закинутым за спину. Острие было сломано при ударе о камни, когда доктор бросился на меня; я швырнул нож за

парапет, как Балдандерс — Коготь, и направился в башню на смертельную схватку.

Когда мы с Фамулимусом поднимались по лестнице, я был слишком поглощен беседой, чтобы обращать внимание на комнаты, которые мы миновали. Самую верхнюю я запомнил лишь потому, что вся она была задрапирована алым материалом. Теперь я смотрел на красные шары — лампы, горевшие без огня, как те серебряные цветы, что распускались на потолке большой комнаты, где я повстречал троих существ, которых больше не мог называть какогенами. Шары покоились на стойках из слоновой кости, тонких и легких, словно выраставших из пола, который был и не полом вовсе, но морем тканей различной текстуры и самых разнообразных оттенков красного. Через комнату был протянут полог, поддерживаемый атлантами. На его алую основу были нашиты тысячи серебряных пластин, столь гладко отшлифованных, что казались они зеркалами; нечто подобное я наблюдал, глядя на доспехи преторианцев Автарха.

Спустившись еще на полпролета, я вдруг понял, что видел спальню великана и опущенную до уровня пола саму кровать, в пять раз больше обычной, выстланную багровым ковром, поверх

которого были в беспорядке разбросаны вишневые и карминно-красные покрывала. Внезапно меж этих смятых простыней мелькнуло лицо. Я поднял меч, и лицо исчезло, но я взлетел обратно по лестнице и сорвал одно из этих мягких покрывал. Мальчик-любовник (если это действительно был любовник) встал и взглянул мне в лицо с наивным бесстрашием, как иногда смотрят маленькие дети. Он действительно был мал, хоть ростом почти равнялся со мной, — нагой мальчик, и такой пухлый, что его отвисший живот закрывал крошечные гениталии. Руки походили на розовые подушки, увитые золотыми шнурками; золотые кольцеобразные серьги с маленькими колокольчиками оттягивали уши. Волосы тоже отливали золотом, и из-под вьющихся прядей на меня смотрели огромные голубые глаза ребенка.

Несмотря на размеры мальчика, я и сейчас не верю, что Балдандерс был педерастом в обычном смысле этого слова, хотя не исключено, что он надеялся сойтись с ребенком, когда тот подрастет еще. Скорее всего, сдерживая свой собственный рост и позволяя себе расти лишь настолько, насколько это было необходимо, чтобы уберечь такое громадное тело от разрушительного воздействия лет, он как мог ускорял рост этого

несчастного мальчика ради накопления антропософских знаний. Я потому берусь это утверждать, что, когда мы с Доркас путешествовали вместе с великаном и доктором Талосом, мальчика при нем еще не было, и появился он, вероятно, лишь спустя некоторое время после того, как наши пути разошлись.

(Я оставил мальчика там, где нашел, и по сей день не знаю, что с ним сталось. Не исключено, что он погиб, но возможно также, что озерные люди либо старейшина и его племя сохранили ему жизнь и выкормили его.)

Не успел я спуститься еще на этаж, как начисто забыл о мальчике. Комната была заполнена густыми клубами тумана (а я точно помнил, что, когда проходил через нее раньше, никакого тумана в ней не было), как предыдущая — красными тканями. Клубы колыхались, словно живые, и бурлили, будто логос, исходящий из уст Панкреатора, каким я его представлял. Пока я стоял и смотрел, передо мною, угрожающе размахивая острым копьем, возник туманный человек, белый, как могильный червь. Прежде чем я осознал, что это просто призрак, мой меч прошел сквозь его запястье, как сквозь дымовой столб. Он сразу осел, словно сгусток тумана, и теперь едва доста-

вал мне до пояса.

Я двинулся вперед и, пройдя несколько шагов, очутился среди холодной мутной белизны. Вдруг над ее поверхностью Показалось мерзкое чудовище, также из тумана, и скачками понеслось ко мне. Мне приходилось видеть гномов: у них голова и туловище обычных размеров или даже крупнее, конечности же, сколь ни сильны, напоминают детские. У этого все было наоборот: из скрюченного хилого тела росли руки и ноги куда больше моих.

Этот антигном размахивал короткой шпагой и, разинув в немом вопле рот, метнул ее в туманного человека, не обращая ни малейшего внимания на копье, уже торчащее в его собственной груди.

Раздался хохот, и я сразу узнал голос, хоть редко видел этого человека в веселом расположении духа.

— Балдандерс! — крикнул я.

Над туманом поднялась его голова, как вершины гор на заре появляются над облаками.

36. БОЙ ВО ДВОРЕ ЗАМКА

— Вот настоящий противник, — сказал я, — с настоящим оружием.

Я шагнул в туман, прокладывая себе путь обнаженным мечом.

— В моем облачном зале ты видишь и других настоящих противников, — прогрохотал Балдандерс, при этом голос его оставался совершенно спокоен. — Хоть они и снаружи, во дворе. Первый был твоим другом, второй — моим врагом.

Пока он говорил, туман рассеялся, и я увидел его почти в центре зала, сидящим в массивном кресле. Когда я повернулся к нему, он вскочил и, схватив кресло за спинку, легко, словно корзину, швырнул в меня. Кресло пролетело мимо в пяди от меня.

— Теперь ты попытаешься убить меня, — сказал он. — И все из-за какого-то глупого амулета. Мне следовало убить тебя той ночью, когда ты спал на моей кровати.

Я мог бы сказать ему то же самое. Но решил проигнорировать его слова. Было ясно, что, притворяясь беспомощным, он надеялся спро-

воцировать меня на неосторожное нападение, и, хотя оружия при нем я не замечал, он был в два раза выше меня и, по моим отнюдь не безосновательным предположениям, по меньшей мере вчетверо сильнее. Приближаясь к нему, я не мог отделаться от чувства, что мы разыгрываем марионеточный спектакль, виденный мною во сне той самой ночью, о которой он мне сейчас напомнил, а в том сне деревянный великан орудовал дубинкой. Он шаг за шагом отступал, но в то же время был готов в любой миг со мной схватиться.

И вдруг, когда мы отдалились от лестницы на три четверти длины зала, он повернулся и бросился бежать. Зрелище поразило меня, словно побежало дерево.

Передвигался он очень быстро. Сколь ни был он нескладным, каждый его шаг покрывал два моих, и он оказался около стены с похожим на щель окном, в которое смотрел Оссипаго, гораздо раньше меня.

Сначала я не понял, что он задумал. Окно было слишком узким, пролезть в него он не мог. Он просунул в него обе ручищи, и я услыхал скрежет камня о камень.

Меня вовремя осенило, и я успел отскочить на

несколько шагов назад. Через миг он уже держал вывороченный из стены громадный валун. Он поднял его над головой и швырнул в меня.

Я увернулся, он вырвал следующий камень, потом еще. После третьего я в отчаянии покатился по полу, чтобы не попасть под четвертый; меч я крепко сжимал в руках. Камни летели один за другим все быстрее и быстрее, в то время как стена, лишаясь опоры, начинала разрушаться. По чистой случайности я подкатился к лежащей на полу шкатулке — в такой благопристойная мать семейства могла бы хранить кольца.

Шкатулка была украшена шишечками, формой напоминавшими те рычаги, которыми пользовался мастер Гурло, пытая Теклу. Не успел Балдандерс вырвать очередной камень, как я схватил шкатулку и повернул одну из шишечек. В тот же миг из пола снова повалил дым, быстро накрыв меня с головой, и в этом белесом море я словно ослеп.

— Нашел все-таки, — проговорил Балдандерс своим низким голосом. — Надо было ее отключить. Теперь я тебя не вижу, но и ты не видишь меня.

Я промолчал, ибо знал, что он держит в руках камень и ждет только звука моего голоса, чтобы

бросить его в меня.

Помедлив немного, я начал подбираться к нему, стараясь двигаться как можно тише. Я был уверен, что при всей его ловкости он не может ходить совершенно бесшумно. Когда я сделал четыре шага, за моей спиной обрушился камень, и я услышал, как Балдандерс отрывает от стены следующий.

Этот камень оказался решающим. Раздался оглушительный грохот, и кусок стены над окном полетел вниз. Во мне сверкнула надежда, что он убил Балдандерса, но туман начал быстро рассеиваться, устремляясь в образовавшуюся брешь и растворяясь в ночной темноте и ливне, и у самой зияющей дыры я увидал великана.

Должно быть, когда стена упала, он уронил вывороченный камень, поскольку стоял с пустыми руками. Я рванулся к нему, надеясь напасть прежде, чем он успеет среагировать. Но Балдандерс опять оказался проворней. Он ухватился за остаток стены и выпрыгнул; когда же я подоспел к дыре, он уже спустился довольно низко. Казалось, он совершил невозможное; но, приглядевшись к этой части башни, освещенной из комнаты, где я находился, я понял, что камни, из которых она сложена, грубо вытесаны и уложены без це-

мента, так что между ними зачастую оставались широкие щели, а сама стена, чем выше она поднималась, тем сильнее клонилась внутрь.

Меня охватило желание спрятать «Терминус Эст» в ножны и броситься вдогонку, но я понимал, что окажусь в крайне невыгодной позиции, поскольку Балдандерс, разумеется, достигнет основания башни раньше меня. Я бросил в него шкатулкой и вскоре потерял его из виду за пеленой дождя. Выбора у меня не оставалось: я зашагал к лестнице и спустился на нижний уровень, который видел, когда впервые вступил в башню.

Тогда здесь было тихо и пустынно, если не считать древних механизмов. Теперь же здесь царил ад кромешный. Повсюду кишели толпы отвратительных существ, похожих на призрака, явившегося мне в комнате, которую Балдандерс назвал облачным залом. У некоторых было по две головы, как у Тифона, некоторые имели по четыре руки; у многих были безобразные непропорциональные конечности — ноги в два раза длиннее туловища, руки толще ляжек. Все были вооружены и, насколько я мог судить, безумны, ибо набрасывались друг на друга так же охотно, как и на своих противников-островитян. Я

вспомнил слова Балдандерса: двор внизу полон моих друзей и его врагов. Он знал, что говорил: эти твари напали бы на него, едва завидев, как кидались теперь друг на друга.

Я уложил троих, пока добрался до двери, и собрал вокруг себя озерных людей, ворвавшихся в башню; им я сообщил, что враг, которого мы ищем, находится снаружи. Я заметил, что они до смерти боятся этих безумных чудовищ, продолжавших выпрыгивать из темного колодца (они не узнали в них своих обезображенных братьев и детей), и удивился, как они вообще отважились войти в замок. Мне было приятно видеть, что мое присутствие воодушевляет островитян; они поставили меня во главе и, судя по их взглядам, последовали бы за мной куда угодно. Я впервые по-настоящему понял, какое удовольствие, должно быть, получал мастер Гурло от своего положения, которое доселе представлялось мне лишь приятной возможностью навязывать другим свою волю. Я также понял, почему столь многие юноши при дворе оставляли своих невест — моих подруг в жизни, которую я вел, будучи Теклой, — и принимали назначение в самые отдаленные полки.

Дождь немного унялся, хоть его серебряная пе-

лена по-прежнему застилала все вокруг. Ступени были завалены телами людей и еще более многочисленными трупами великановых чудовищ — мне пришлось столкнуть несколько вниз из опасения, что упаду сам, если пойду прямо по ним. Внизу, во дворе, продолжался бой, но никто из чудовищ не нападал на нас, а тех, кто оставался в башне, успешно сдерживали озерные люди. Балдандерса нигде не было видно.

Оказывается, описать сражение не так-то просто, хотя в битве всегда забываешься, и потому она возбуждает. Когда же бой заканчивается, в памяти остаются не удары и рукопашные схватки — ибо битва слишком отвлекает сознание воина, чтобы он мог что-нибудь запомнить, — а перерывы между ними. Во дворе замка Балдандерса я отчаянно бился с четырьмя чудовищами, которых он измыслил и сотворил, но сейчас я не могу сказать, плохо или хорошо я сражался.

Из-за темноты и дождя сражение принимало беспорядочный характер, что как нельзя лучше подходило для стиля боя, навязанного мне строением «Терминус Эст». Хорошего освещения требует не только учебное фехтование, но и любая напоминающая его игра мечом или копьем, поскольку соперники должны видеть оружие

друг друга. Здесь же ни о каком освещении говорить не приходилось. Более того, чудовища Балдандерса бились с безоглядной храбростью, словно желали себе гибели, и этим наносили вред самим же себе. Они старались уворачиваться от прямых ударов или ныряли под меч, но неминуемо попадали под повторные удары слева. В этой бойне участвовали и озерные люди, однажды они даже прикончили моего противника. В остальных же случаях они отвлекали врагов или ранили их, прежде чем те нападали на меня. С точки зрения хорошо сработанной казни, ни одну из этих стычек нельзя было назвать даже удовлетворительной.

Четвертая схватка оказалась последней; повсюду валялись тела мертвых и умирающих. Я собрал островитян вокруг себя. Мы пребывали в том состоянии эйфории, какое сопутствует всякой победе, и мои люди были готовы биться с любым великаном, даже самым громадным; однако даже те, кто находился во дворе замка, когда вниз летели камни, клялись, что никого не видели. Я уже называл их про себя слепцами, а они, несомненно, были готовы счесть меня сумасшедшим, но в этот миг выглянула спасительная луна.

Как странно! Все обращаются за мудростью к

небу — либо желают объяснить тот или иной земной расклад влиянием созвездий, либо, подобно Балдандерсу, дерзко стремятся отбить знание у существ, которых невежды зовут какогенами; крестьяне же, рыбаки и им подобные ищут в небе предсказаний погоды. И никто не обращает к нему взор, чтобы испросить сиюминутной помощи, хотя помощь приходит оттуда; так часто — вот и я получил ее в ту ночь.

Видение луны в разрыве между облаками было мимолетным. Дождь то утихал, то обрушивался с новой силой; зыбкий лунный свет, падавший с большой высоты, очень яркий (хоть луна и не была полной), ненадолго озарил двор велика-нова замка, подобно свету одного из величайших светил, посылаемому на сцену и в зал совещательного уровня Обители Абсолюта. Гладкие мокрые камни мерцали, точно темные, застывшие озера; и отраженным в них я увидел зрелище столь фантастическое, что теперь мне удивительно, как я вообще не застыл на месте и не принял смерть, которая не заставила бы себя долго ждать.

Ибо на нас падал Балдандерс, но падал он медленно.

37. «ТЕРМИНУС ЭСТ»

В коричневой книге есть картинки с изображением ангелов, которые точно так же, запрокинув голову и выставив грудь, устремляются к Урсу. Я помню смешанное чувство восхищения и ужаса, с которым смотрел во Второй Обители на величественное существо из книги, спускавшееся подобно им; однако не думаю, что их я испугался бы меньше. Когда я вспоминаю Балдандерса, перед моим мысленным взором возникает прежде всего эта картина. Застывшее лицо и поднятый жезл, увенчанный фосфоресцирующим шаром.

Мы бросились врассыпную, как воробьи, на которых с вечернего неба падает сова. Спиной я ощутил толчок сжатого воздуха от его удара и, вовремя обернувшись, увидел, как он приземлился, удерживая равновесие свободной рукой, и выпрямился, как это делают уличные акробаты. На нем был пояс, которого я прежде не замечал, — толстый, из скрепленных между собою металлических призм. Я так и не понял, каким образом он ухитрился вернуться в свою башню и взять пояс и жезл; я-то думал, что он в это время

спускался по стене. Наверное, там имелось окно, больше, чем те, что я видел, или даже дверь, через которую можно было попасть в помещение, не разрушенное пожаром, учиненным когда-то береговыми людьми. Не исключено также, что он просто запустил руку в какое-нибудь окно.

Ах, какая стояла тишина, когда он плавно опустился на землю, с какой грацией он, огромный, как дом, простер для Равновесия руку и выпрямился. Лучший способ описать тишину — это хранить молчание… но сколько грации!

Я развернулся к нему; ветер рвал за спиной плащ, и мой меч был занесен для привычного удара, ибо мне часто случалось поднимать его. И я понял в тот миг то, о чем не давал себе труда задумываться раньше, — зачем я послан судьбой в странствие, зачем исходил полконтинента и подвергался опасностям в огне, в недрах Урса и в воде, а вот теперь опасность упала на меня с воздуха, потрясая этим огромным, тяжелым оружием, идти с которым на обыкновенного человека все равно что срезать лилии топором. Балдандерс увидел меня и поднял жезл, сияющий белым золотом; я принял это за своего рода приветствие.Пятеро или шестеро озерных людей с гарпунами и острозубыми дубинками окружили

его, однако вплотную приблизиться опасались. Он словно оказался в центре сплошного кольца. Когда мы сблизились, на этот раз — мы двое, я понял причину: меня охватил ужас, который невозможно было ни уразуметь, ни обуздать. Нет, я не боялся ни его, ни смерти — ничего конкретного, это был просто страх. Я чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове, словно некий призрак запустил в них свою руку; я и раньше слышал о такой реакции, но не придавал ей значения, считая метафорой, переросшей в ложь. Колени мои ослабли и задрожали, и я был рад, что темнота скрывала их. Мы шли друг другу навстречу.Величина жезла и сжимавшей его руки не оставляла сомнений в том, что удара мне не выдержать; я мог лишь уворачиваться и отскакивать назад. Балдандерс, в свою очередь, также опасался удара «Терминус Эст», ибо, несмотря на его величину и силу, которая выдержала бы тяжелые доспехи боевого коня, лат на нем не было, а мой увесистый, остро заточенный клинок, способный до пояса разрубить человека, мог зараз нанести ему смертельную рану.

Он это понимал, и мы стояли друг против друга, подобно актерам на сцене, размахивая оружием, но не решаясь вступить в настоящую схватку. Все

это время я был скован ужасом, и мне казалось, что, если я не обращусь в бегство, сердце мое разорвется. Мой слух улавливал какое-то пение, и, глядя на осиянный бледным нимбом набалдашник жезла, приковывавший взор именно этим сиянием, я понял, что пение исходило от него. Оружие издавало высокий монотонный звон, похожий на хрустальный замирающий звон бокала, по которому ударили ножом.

Это открытие, пусть на краткий миг, ввело меня в заблуждение. Вместо ожидаемого щадящего удара жезл с размаху опустился вниз, словно киянка на колышек для палатки. Я отскочил в сторону — и вовремя, потому что звенящий сверкающий набалдашник полыхнул у самого моего лица и врезался в камень у моих ног, расколов его на куски, будто глиняный горшок. Один осколок раскроил мне лоб, и по лицу хлынула кровь.

Балдандерс увидел это, и его тусклые глаза победно засверкали. Он начал крушить камни, и при каждом ударе в стороны разлетались осколки. Мне пришлось отступить, и пятился я до тех пор, пока не уперся спиной в сплошную стену. Я двинулся вдоль стены, великан же воспользовался преимуществом и теперь размахивал своим оружием горизонтально, нанося удар за ударом

по каменной кладке. Иногда острые, как кремень, осколки летели мимо, но слишком часто попадали в цель, и вскоре кровь уже застила мне глаза, а грудь и руки окрасились в красный цвет.

Когда я в сотый, наверное, раз уворачивался от жезла, то наткнулся на что-то каблуком и чуть не упал. Это была ступенька лестницы, что вела на стену. Я двинулся наверх, что дало мне некоторые преимущества, однако недостаточные, чтобы я мог прекратить отступление. На вершине стены имелся узкий проход. Противник теснил меня назад шаг за шагом. Теперь я бы точно бежал, если бы посмел, но я помнил, как быстро передвигался великан, когда я застал его врасплох в облачном зале, и знал, что он нагонит меня одним прыжком — так я мальчишкой гонял крыс в подземелье под башней и палкой перебивал им спины.

Однако не все обстоятельства благоприятствовали Балдандерсу. Между нами сверкнуло что-то белое, потом в огромную руку вонзилась стрела с костяным наконечником — как иголка в шею быка. Озерные люди стояли достаточно далеко от поющего жезла и были неподвластны внушаемому им ужасу, а потому ничто не мешало им метать орудия. Балдандерс на мгновение остановился и отступил, чтобы вытащить стрелу. Но тут

вторая попала ему в лицо.

Надежда взыграла во мне, и я прыгнул вперед, но, прыгая, поскользнулся на мокром от дождя каменном обломке.

Я чуть не упал со стены, но в последний момент ухватился за парапет — как раз вовремя, чтобы увидеть, как светящийся набалдашник жезла обрушивается мне на голову. Я машинально вскинул «Терминус Эст», защищаясь от удара.

Раздался вопль, как если бы разом закричали все, кого мой меч когда-либо поражал, и следом громовой взрыв.

Я упал, оглушенный. Но и Балдандерс также был оглушен, и озерные люди, чувствуя, что чары, насылаемые жезлом, спали, устремились к нему по стене с обеих сторон. Возможно, стальной клинок моего меча, имевший собственную природную частоту, в чем я всегда мог убедиться, постучав по нему пальцем, — он отзывался волшебным сладостным звоном, — этот клинок превзошел жезл великана, какой бы мудреный механизм ни был в него заложен. А может быть, просто его лезвие, острое, как скальпель, и твердое, как обсидиан, прошло сквозь набалдашник жезла. Как бы то ни было, жезла больше не существовало, а я сжимал в руках лишь рукоять

моего меча, из которой торчал обломок металла длиною не более кубита. Ртуть, так долго прослужившая мне в темноте, стекала теперь с него серебряными слезами.

Я еще не нашел сил подняться, а озерные люди уже перепрыгивали через меня. Из груди великана торчала стрела, брошенная кем-то дубинка попала ему в лицо. Он махнул рукой, и два озерных воина с криками полетели вниз со стены. Другие тут же накинулись на него, но он стряхнул их с себя. Я с трудом встал на ноги, не вполне понимая, что происходит.

На миг Балдандерс задержался на парапете. Потом он прыгнул. Я не сомневался, что пояс, который он носил, немало ему помог, но и сила его ног была непомерна. Медленно и тяжело он описывал дугу над берегом, а те трое, что висели, вцепившись в него, упали на камни мыса и разбились насмерть.

Наконец упал и он, словно потерявший управление летучий корабль. Белое как молоко озеро всколыхнулось и сомкнуло над ним свои воды. На поверхность поднялось что-то змеевидное и блестящее, взвилось в небо и исчезло в низко нависающих облаках — скорее всего это был пояс. Но сколько островитяне ни стояли, держа

наготове гарпуны, голова великана так и не появилась над водой.

38. КОГОТЬ

В ту же ночь озерные люди обшарили весь замок и разграбили его. Я не пошел с ними и ночевать в стенах замка не остался. В пихтовой роще, где мы собирались на совет, я обнаружил укромное место, где колючие лапы разрослись так густо, что ковер из опавших иголок не намокал. Там, промыв и перевязав раны, я и уснул. Рукоять меча, некогда принадлежавшего мне, а до меня — мастеру Палаэмону, лежала рядом, и меня не покидало чувство, будто я сплю с мертвым; снов, однако же, я не видел.

Я проснулся, пропитанный ароматом пихты. Урс уже обратил свой лик к солнцу. Тело мое превратилось в сгусток жгучей боли, резаные раны от осколков камней нестерпимо саднили, но я упивался солнечным теплом — такого ласкового дня не было с тех пор, как я оставил Тракс и углубился в горы. Я вышел из рощи и увидел искрящееся на солнце озеро Диутурн и свежую зелень травы, пробивавшейся между камней.

Я сел на вдающийся в озеро камень; за моей спиной высился замок Балдандерса, у ног плеска-

лись голубые волны. В последний раз я отделил то, что раньше было клинком «Терминус Эст», от его красивой рукояти из серебра и оникса. Ведь меч — это прежде всего клинок, а его-то у «Терминус Эст» больше не было; однако рукоять я хранил весь остаток пути и расстался лишь с ножнами из человеческой кожи — их я сжег. Ибо когда-нибудь рукоять будет держать новый клинок — пусть не столь совершенный, пусть даже не мой.

Я коснулся губами обломка клинка и бросил его в воду.

После этого я занялся поисками. У меня не было ясного представления, куда именно Балдандерс зашвырнул Коготь, и лишь одно я знал наверняка: он бросил его в сторону озера. Я видел, как камень перелетел через стену, однако даже столь мощная рука, как у Балдандерса, вряд ли могла закинуть такой маленький предмет далеко от берега.

Скоро у меня не осталось сомнений в том, что, если камень упал в воду, он потерян навсегда: даже вдоль берега глубина озера достигала нескольких элей. Но я не терял надежды, что он все-таки не долетел до воды и закатился в какую-нибудь щель, откуда не было видно его сияния.

Я все бродил и бродил в поисках камня, не решаясь попросить озерных людей помочь мне, не осмеливаясь прервать поиски, чтобы отдохнуть и подкрепить силы, ибо опасался, как бы кто-нибудь не подобрал его. Наступила ночь, чей приход возвестил крик гагары, и озерные люди предложили мне плыть с ними к островам, но я отказался. Они боялись, что придут береговые люди и нападут на них, чтобы отомстить за Балдандерса (подозрение, что Балдандерс жив и прячется в водах озера, я оставил при себе), и наконец, подчинившись моим настоятельным просьбам, они оставили меня одного на мысе рыскать на четвереньках по острым камням.

Вскоре поиски в кромешной темноте утомили меня, и я устроился на отлогой каменной плите дожидаться рассвета. То и дело мне чудилось, будто я вижу лазурный свет, пробивающийся из какой-нибудь расщелины неподалеку или из-под воды; но всякий раз, как я протягивал руку, чтобы схватить драгоценность, или приподнимался, желая дойти до края плиты и взглянуть вниз, оказывалось, что это всего лишь сон.

Сотни раз я спрашивал себя, не нашел ли камень кто-то другой, пока я спал под соснами, и проклинал себя за слабость. И сотни раз говорил

себе: пусть бы нашел его кто угодно, только бы он не был потерян навсегда.

Подобно тому, как мухи слетаются на загнившее на солнце мясо, так ко двору правителя стекаются мудрецы — шарлатаны, псевдофилософы и акосмисты — и остаются там, покуда хватает ума и денег. На первых порах они питают надежду получить должность при Автархе, а спустя некоторое время — должность учителя в какой-нибудь высокопоставленной семье. Когда Текле было лет шестнадцать, ее, как, по-видимому, многих молодых женщин, привлекали лекции этих людей по теологии, теодицее и прочим подобным наукам; одну я помню особенно хорошо: одна фебада выдавала за непреложную истину древний софизм о существовании трех Царств: Царства города (или людей), Царства поэтов и Царства философов. Она утверждала, что с тех пор, как зародилось человеческое сознание (если такой момент вообще был), во всех трех категориях появлялось огромное количество людей, стремящихся проникнуть в сущность божественного. Если божественное не существует, они бы давно это обнаружили. Если же оно есть, то не может быть, чтобы сама Истина обманула их. И все-таки верования черни, провидения

рапсодов и теории метафизиков до сего времени столь разнятся, что лишь немногие из этих людей в состоянии воспринять идеи других; что же до человека совершенно постороннего, он может и вовсе не увидеть между ними связи.

А вдруг, спрашивала она (я и отныне не уверен, что смог бы ответить ей), вместо того чтобы двигаться к единой цели по трем дорогам, они движутся в трех совершенно разных направлениях? Ведь когда в жизни мы видим три дороги, исходящие из одного перекрестка, нам и в голову не приходит предположить, что они ведут в одно и то же место.

Тогда я нашел (и сейчас нахожу) эту мысль столь же рациональной, сколь и отталкивающей; я усматриваю за ней переплетение безумных доказательств, столь густое, что ни малейшее возражение, ни искра света не проникнет сквозь эту сеть, в которой запутывается человеческое сознание всякий раз, когда не может обратиться за помощью к фактам.

Как явление действительности, Коготь был ни с чем не соизмерим. Никакие деньги, никакие пространства и империи не могли сравниться с ним ценностью, подобно тому как произведение всех мыслимых расстояний по горизонтали земной

поверхности никогда не приблизится к уходящей в бесконечность вертикальной прямой. Если б он, как я полагал, явился из-за пределов вселенной, то его сияние — чаще всего едва заметное и лишь иногда яркое — было бы, в определенном смысле, единственным для нас источником света. А если б его уничтожили, мы бы навеки остались блуждать во мраке.

Пока я носил Коготь при себе, я всегда считал, что ценю его достаточно высоко, но теперь, сидя на плоском камне и глядя на ночные воды озера Диутурн, понял, что мне, с моей превратной судьбой и безрассудной тягой к приключениям, хранить его было чистым безумием; и вот я его потерял; Перед восходом солнца я поклялся покончить с собой, если не найду его до наступления темноты.

Исполнил бы я свою клятву или нет — не знаю. Сколько я помню себя, я всегда любил жизнь. (Пожалуй, именно этой любви я был обязан мастерству, которого достиг в своем ремесле, ибо столь лелеемая мною искра могла быть загашена только безупречно.) Конечно же, я любил свою жизнь и растворенную в ней жизнь Теклы не меньше, чем жизнь других людей. Если бы я нарушил данную себе клятву, это было бы не в

первый раз.

Но нарушать клятву мне не пришлось. Занимался день — самый чудесный в моей памяти: солнце дарило тепло и ласку, внизу нежно пели волны. В это утро я нашел Коготь — или то, что от него осталось.

На камнях лежали его осколки: большие, как самоцветы в перстнях тетрарха, и крошечные, как слюдяные искорки. Больше ничего. Я зарыдал и принялся собирать кусочки. Они покоились в моей ладони, безжизненные, будто драгоценные камушки, которые старатели каждый день поднимают из шахт, грабя сокровищницы давно умерших властителей. Я отнес их к озеру и бросил в воду.

Трижды я спускался к озеру с горстью голубоватых осколков и возвращался назад для новых поисков, и, лишь поднявшись в четвертый раз к тому месту, где я нашел Коготь, я обнаружил крепко вклинившееся меж двух камней — так крепко, что пришлось идти в сосновую рощу за прутьями, чтобы извлечь это из щели, — нечто, что нельзя было назвать камнем, сиявшее не лазурным светом, но ослепительно белым, как звезда.

Доставая этот странный предмет из щели, я

испытывал скорее любопытство, чем благоговение. Он был так не похож на сокровище, которое я искал — по крайней мере, на собранные мною осколки, — что, пока он не оказался у меня в руке, мне и в голову не приходило, что они как-то связаны друг с другом. Не знаю, как может черный предмет источать свет, но он действительно светился. Возможно, его вырезали из гагата — так темен он был и так гладко отшлифован; но он сиял, этот коготь, длинный, как верхняя фаланга моего мизинца, хищно изогнутый и острый, как иголка, — таким оказалось черное ядро камня, который служил для него лишь вместилищем, защитной оболочкой, дарохранительницей.

Я долго стоял на коленях, повернувшись спиною к замку, смотрел то на удивительную сверкающую драгоценность, то на волны и пытался проникнуть в смысл своего сокровища. Теперь, когда оно лежало в моей ладони, лишенное сапфировой оболочки, я ощущал его воздействие с особой полнотой, чего никогда не испытывал до того, как его отобрали у меня в доме старейшины. Каждый раз, когда я устремлял на него взгляд, оно пробуждало во мне мысль. Вино и некоторые снадобья тоже могут растревожить нестойкий к ним разум, но этот предмет возводил мышление

на новый уровень, название которому я не знаю. Снова и снова я ощущал это состояние, поднимаясь с каждым разом все выше, пока не испугался, что никогда не смогу вернуться к прежнему, нормальному образу мыслей; снова и снова я сбрасывал с себя наваждение и чувствовал, что проник в необъятную реальность, описать которую я не в силах.

Наконец, после многих дерзких атак и трусливых отступлений, я понял, что никогда не постигну смысла этой крошечной вещицы; стоило мне так подумать (ибо это была именно мысль), я познал третье состояние — радостную покорность сам не знаю чему, бездумную покорность, ибо размышлять было больше не о чем, — покорность, против которой я не имел ни малейшего желания бунтовать. В этом состоянии я пребывал до заката и почти весь следующий день, но к тому времени я уже забрался далеко в горы.

Здесь, мой читатель, я сделаю паузу. Ты прошел со мною от крепости до крепости — от раскинувшегося в верховьях Ациса Тракса до замка великана на северном берегу далекого озера Диутурн. Тракс стал для меня воротами в нехоженую горную страну. Так и эта одинокая башня

оказалась вратами, порогом войны, и схватка, бушевавшая здесь, была лишь слабой ее искоркой. С тех пор и поныне все мое внимание безраздельно занято войной.

Здесь, перед сражением, самое время сделать привал, и если ты, читатель, откажешься ринуться в битву бок о бок со мной, я не виню тебя. Битва предстоит жестокая.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАМЕТКА О ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Краткие записки Северьяна о его жизни в Тракссе являются лучшим (хотя и не единственным) имеющимся у нас свидетельством о деятельности правительства эпохи Содружества, поскольку выводят далеко за пределы сверкающих коридоров Обители Абсолюта и переполненных улиц Нессуса. Несомненно, наши собственные разграничения между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти тут неприменимы — администраторы типа Абдиеса только посмеялись бы, услыхав от нас мнение, что законы должны издаваться одной группой людей, приводиться в исполнение — другой, а интерпретироваться — третьей. Они бы сочли такую систему нежизнеспособной — впрочем, практика доказывает их правоту.В период создания этих рукописей архоны итетрархи назначались Автархом, который от имени народа сосредоточивал в своих руках всю власть. (Небезынтересно, однако, замечание Фамулимуса на этот счет в беседе

с Северьяном.) Эти чиновники были обязаны следить за соблюдением приказов Автарха и вершить правосудие в соответствии с обычаями, принятыми у подвластных им народов. Кроме того, они были уполномочены издавать местные законы — имевшие силу лишь на территории, управляемой законодателем, и лишь в период его правления — и проводить их в жизнь под страхом смертной казни. В Траксе — как и в Обители Абсолюта, и в Цитадели — не имели представления о таком распространенном у нас виде наказания, как заключение на определенный срок. Узники томились в Винкуле в ожидании пыток или казни либо содержались там в качестве заложников, как гарантия законопослушного поведения их родственников и друзей.Из рукописей со всей очевидностью следует, что надзор за Винкулой (Домом цепей) являлся лишь одной из обязанностей ликтора («налагающего оковы»). Этот чиновник, занимавший самое высокое положение в иерархии подчиненных архона, следил за отправлением уголовного правосудия. На некоторых торжественных церемониях он выступал впереди своего господина с обнаженным мечом в руках — убедительное напоминание о власти последнего. На заседаниях суда архона (как сету-

ет Северьян) ему предписывалось стоять слева от судей. Казни и прочие серьезные наказания, назначаемые судом, приводились в исполнение им лично; он же являлся начальником стражи («хранителей ключей»).

Охрана Винкулы была не единственной обязанностью стражников; они также выступали как сыскная полиция, что значительно облегчалось возможностью силой добывать сведения у заключенных. Каждый из стражников имел при себе ключ, достаточно большой, чтобы использовать его как дубинку, и служивший, помимо своего прямого назначения, еще и символом власти.Димархии («воины двух армий») были и регулярной полицией архона, и его войском. Их название, однако, происходит не от двойственности их должностных обязанностей, а от снаряжения и подготовки, позволявших им при необходимости выступать и как кавалерия, и как пехота. Их ряды, по всей видимости, пополнялись из числа профессиональных солдат, ветеранов крупных сражений на севере — при условии, что они не являлись коренными жителями данной местности.Не вызывает сомнений, что Тракс — это город-крепость. Конечно, он бы и дня не выстоял против врагов-асциан; скорее он был

выстроен для отражения разбойничьих набегов и подавления мятежей местных экзультантов и армигеров. (Муж Кириаки, которого в Обители Абсолюта сочли бы персоной, недостойной внимания, безусловно, являлся важным и даже внушавшим страх лицом в окрестностях Тракса.) Хотя экзультантам и армигерам, очевидно, запрещалось иметь собственные армии, почти не вызывает сомнений предположение, что многие последователи этих людей, называвшиеся егерями или лакеями, прошли серьезную военную подготовку. Они были необходимы для защиты поместий от мародеров и при сборе ренты, но во время гражданских смут они представляли немалую угрозу правителям типа Абдиеса. Укрепленный город, контролирующий верховья реки, давал правителю безусловные преимущества в любом конфликте.

Маршрут, избранный Северьяном для побега, свидетельствует о том, сколь тщательно охранялся выезд из города. Личная крепость архона, Замок Копья («укрепленный лагерь на скале»), контролировала северную оконечность долины. Крепость никак не сообщалась с дворцом архона на территории собственно города. Южную оконечность закрывал Капулюс («рукоять ме-

ча»), представлявший собой крепостную стену сложной конструкции, некоторое подобие Стены Нессуса. Даже вершины скал были снабжены укреплениями, соединенными между собой стенами. Имея неиссякаемый источник пресной воды, город мог выдержать длительную осаду любого противника, не применявшего тяжелое оружие.